



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

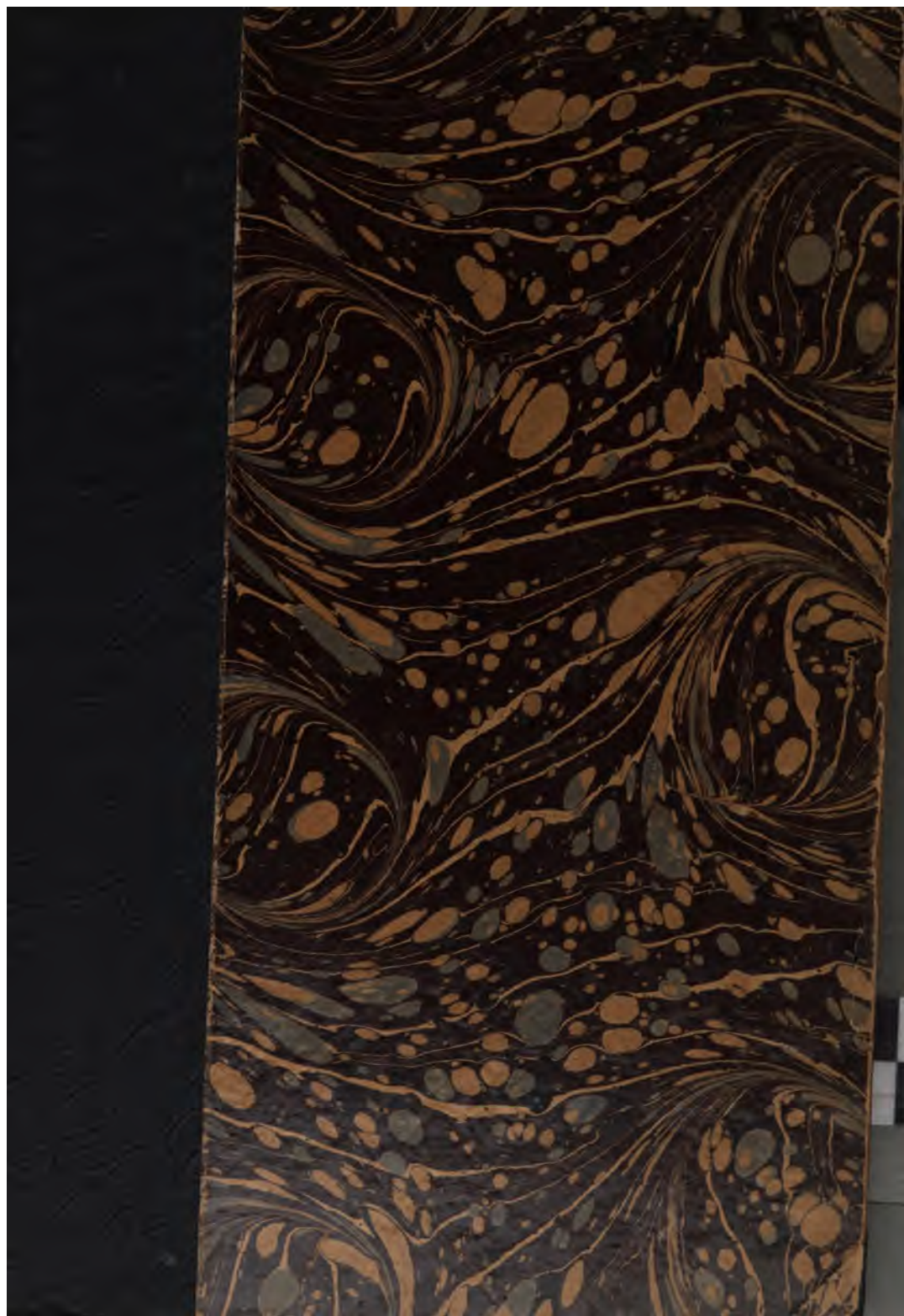
Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические записи.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические записи.
Не отправляйте в систему Google автоматические записи любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

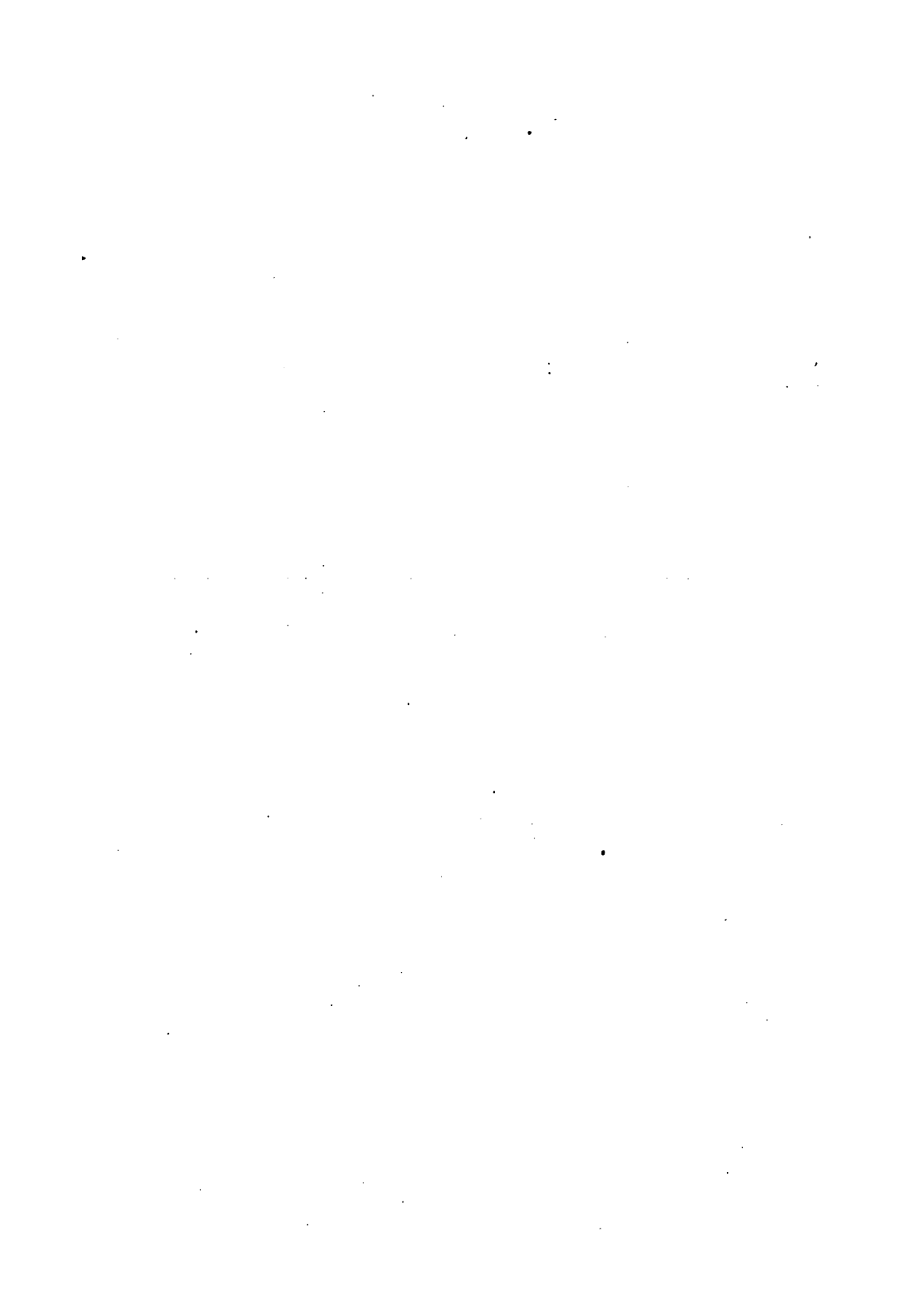
О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>



379.

ВЪ МОЊХЪ СКИТАНЬЯХЪ.



А. Алфитеатровъ.

ВЪ МОИХЪ

СКИТАНЬЯХЪ

Балканскія впечатлѣнія.

Изданіе И. В. Райской.

БИБЛИОТЕКА

При книжномъ магазинѣ

А. А. Иванова.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

въ г. Выборгъ.

Типографія Товарищества «Общественная Польза»,

Большая Подъячская, 39.

1903.

1. The first step in the process of creating a new product is to identify a market need. This involves conducting market research to determine what consumers want and need. Once a need is identified, the next step is to develop a concept for a product that meets that need.

2. The second step is to develop a business plan for the product. This includes determining the costs of production, the pricing strategy, and the marketing strategy. The business plan also outlines the timeline for development and launch.

3. The third step is to create a prototype of the product. This allows the company to test the product and make any necessary adjustments before moving forward with production.

4. The fourth step is to produce the product. This involves manufacturing the product in a factory or workshop. Once the product is produced, it can be distributed to retailers or sold directly to consumers.

5. The fifth step is to market the product. This involves creating a marketing campaign to promote the product and attract customers. The marketing campaign can include advertising, public relations, and social media.

6. The sixth step is to monitor the product's performance. This involves tracking sales, customer feedback, and other metrics to determine how well the product is performing in the market.

7. The seventh step is to make any necessary adjustments to the product or marketing strategy. This may involve improving the product, changing the pricing, or adjusting the marketing campaign.

8. The eighth step is to continue to monitor the product's performance and make any necessary adjustments. This is an ongoing process that ensures the product remains competitive in the market.

9. The ninth step is to evaluate the overall success of the product. This involves comparing the product's performance to the company's goals and objectives.

10. The tenth step is to decide whether to continue to produce the product or discontinue it. This decision is based on the product's performance and the company's resources.

СОДЕРЖАНІЕ.

Отъ автора.	Стр.
У румынъ и за Дунаемъ.	1
Софійскія впечатлѣнія 1901 года	45
Бѣлградъ и король Александръ	79
Черногорскій Орелъ	101
Аѣинскіе дни.	113
Константинополь	177
Корфу	199
<i>Приложеніе А.</i> Князь Фердинандъ Болгарскій. . .	221
<i>Приложеніе Б.</i> О королѣ Александрѣ	241



ОТЪ АВТОРА.

Включенные въ эту книжку путешествій рассказы о свиданіяхъ моихъ съ главами балканскихъ государствъ я считаю не лишнимъ сохранить въ отдѣльномъ изданіи отъ забвенія на старыхъ газетныхъ листахъ. Что они не вовсе отжили свое время и еще не бесполезны для характеристики лицъ, съ которыми велись бесѣды, я заключаю изъ многочисленныхъ газетныхъ перепечатокъ моего стараго отчета о свиданіи съ Александромъ Сербскимъ, послѣдовавшихъ за его трагическою гибелью. Бѣлградская катастрофа разразилась, когда книга эта была уже готова къ выходу въ свѣтъ. Въ слѣдующемъ выпускѣ «Балканскихъ Впечатлѣній», я надѣюсь посвятить паденію дома Обреновичей специальный этюдъ.

Текстъ моихъ разговоровъ съ княземъ Фердинандомъ Болгарскимъ (1894) былъ неоднократно цитированъ въ софійскомъ народномъ собраніи, какъ наиболѣе откровенное изложеніе первоначальной программы князя; часто ссылались на текстъ этотъ, какъ на политическій документъ, и органы болгарской печати, не исключая партій, мнѣ враждебныхъ. Искренность со мною князя Фердинанда, вопреки распространенной въ Россіи легендѣ объ его коварствѣ, не подлежитъ сомнѣнію, такъ какъ его слова, подтвержденные мнѣ и въ 1896 и въ 1901 гг.,

оправдывались фактами въ теченіе девяти лѣтъ. Поэтому въ томъ, что я сообщалъ о немъ, я имѣю нравственное право видѣть историческое свидѣтельство положительнаго характера, которое въ будущемъ можетъ оказаться сколько-нибудь пригоднымъ для изслѣдователей современной намъ славянской эпохи.

Другимъ бесѣдамъ нельзя довѣряться съ тою же смѣлостью. Внушенные Вуичемъ и Маринковичемъ, конституціонныя рѣчи Александра Сербскаго разрѣшились, какъ извѣстно, безцеремонною ломкою той самой конституціи, что онъ мнѣ выхвалялъ. Черногорія — въ гораздо худшихъ экономическихъ обстоятельствахъ, а настроеніе народа — далеко не столь патріархально-абсолютическое, какъ изображалъ мнѣ или самъ воображаетъ князь Николай. Современный черногорскій режимъ — «помѣщичій», какъ говорятъ черногорцы, — держится исключительно безпредѣльнымъ уваженіемъ народа къ личности престарѣлаго князя-героя. Со смертью князя Николая, Черногорію ждетъ бурное будущее... Такъ что эти двѣ бесѣды — хотя и документы, но отрицательнаго достоинства: условные показатели временной политики, — «хорошія слова» властныхъ людей эпохи.

А. В. А.

Вологда.
1903. VI. 10.

У румынъ.—За Дунаемъ.

(1894).

I.

По Яссамъ возилъ меня старожилъ-извозчикъ, какъ и всѣ почти извозчики здѣсь—русскій.

— Молоканинъ, что ли?

— Нѣтъ, ужъ если по правдѣ тебѣ говорить, будемъ, такъ называется, скопцы.

Неестественно ожирѣлое туловище, желтое безбородое и безусое лицо, потухшій взглядъ: «злополучно-безполезный мѣняла». Глядя на смѣшного кучера, у меня такъ и запросилось было на языкъ:

— Ахъ, тетенька, тетенька!

«Тетенька» числится въ эмиграціи сорокъ одинъ годъ. Орловскій, изъ-подъ Сѣвска.

— Много васъ здѣсь?

— Ужасно какъ много. Потому намъ здѣсь ужасно какъ хорошо. Здѣшніе господа, молдаване эти, насъ ужасно какъ обожаютъ.

Все у «тетеньки» было почему-то ужасно!

— Такъ что въ Россію васъ уже не тянетъ?

— Нѣтъ, зачѣмъ? Развѣ повидаться съ родными. И то, я думаю, всѣ померли. А, по житію, какое же сравненіе? Я здѣсь могу быть въ думу выбранъ, самъ избиратель.

— Какую это вы газету читаете?

— Мѣстную. Вамъ не интересно: все про здѣшнія, мелкія городскія дѣла. Здѣсь господа только своею политикою занимаются. Настоящія газеты, вся жизнь—въ Букурештѣ. Тамъ большой котель заваренъ.

— Что же, какъ живутъ здѣсь русскіе? въ разбросъ или есть у нихъ свое общество?

— Общества нѣтъ, но единеніе имѣемъ. Если угодно проѣхать, могу показать цѣлую улицу, сплошь заселенную нашимъ братомъ: направо, налево,—все русскіе дома. И клубъ у насъ тоже свой.

— Русскій?

— Нѣтъ, кучерской. Да кучера-то—почти всѣ русскіе. Мы румыновъ на этотъ счетъ ужасно потѣснили. Ихнимъ кучерамъ противъ насъ конкуренцію выдерживать невозможно. Мы и ѣдимъ лучше, и за честность насъ хвалятъ. Съ нами—что трезвый, что пьяный—безопасны. Да и занимаемся мы своимъ дѣломъ исконибѣ, отъ дѣда къ отцу, отъ отца къ сыну. Вѣдь инья семьи живутъ здѣсь уже въ третьемъ, а то и въ четвертомъ колѣнѣ. Еще при царѣ Николаѣ Павловичѣ ушли за рубежъ.

— Вотъ тебѣ разъ! Откуда же у васъ... поколѣнія?!

— Многіе переселялись съ семьями. Сами скопцы были, а семьи остались церковныя... Тоже примаковъ многіе въ домъ берутъ, усыновляютъ...

— А теперь переселяются сюда русскіе?

— Какъ же! Да вотъ вы хотѣли мѣнять деньги,—поѣдете къ русскому лавочнику, онъ купитъ. Всего два года, какъ изъ Россіи. Ермаковъ—фамилія, такъ и на вывѣскѣ значится.

Пріѣхали—и прямо изъ Яссы перенеслись въ бойкую бакалейную лавочку съ окраинъ Москвы или Петербурга. Лавочникъ—русскій рижанинъ—выразилъ свой восторгъ при встрѣчѣ съ компатріотомъ тѣмъ, что наотрѣзъ отказался дать компатріоту больше 265 леевъ за сто рублей.

— Да вѣдь курсъ много выше?

— Очень можетъ быть-съ, но, какъ мы этимъ дѣломъ не занимаемся и не слѣдимъ за курсомъ, то намъ иначе выходить не подходяще.

Дѣло было какъ нарочно въ субботу; лавочки евреевъ,

въ такихъ случаяхъ истинныхъ благодѣтелей рода чело-
вѣческаго, заперты, а въ карманѣ у меня румынскими день-
гами всего пятнадцать леевъ. До Бухареста не доѣдешь.
Прижалъ соотечественникъ! жестоко прижалъ!

Старый румынъ, *commis voyageur* какой-то крупной
фирмы, ѣхавшій со мною отъ Унгени, ахнулъ, когда узналъ,
какую я совершилъ аферу:

— Зачѣмъ не сказали мнѣ? Отдавать русскія деньги
за 265! Да я бы, не глядя на биржевую таблицу, согла-
сенъ былъ дать 268...

«Тетенька», послѣ всѣхъ эклогъ скопческой честности,
тоже сдѣлала легкую попытку къ грабительству заѣзжаго
человѣка, заломивъ 20 леевъ за три часа, проведенныхъ
въ городѣ, при весьма незначительныхъ переѣздахъ, но я
выдержалъ характеръ, разобрался въ румынской таксѣ и
заплатилъ лишь, сколько, слѣдовало. Что меня удивило, отъ
«бѣлаго голубя» страшно несло водкой: у насъ въ Россіи
скопцы не пьютъ.

Жить въ Яссахъ, должно-быть, скучно. Двѣ трети на-
селенія—евреи, подобные нашимъ юго-западнымъ—только
здѣсь они богаче, чѣмъ у насъ, а, слѣдовательно, и са-
мостоятельныѣе. Они фактическіе хозяева города. Въ ша-
башъ Яссы точно вымираютъ. Лучшіе кварталы заперты:
всѣ магазины, банкирскія и другія операціонныя конторы—
еврейскіе. Поэтому, христіанскіе праздники въ Яссахъ,
какъ говорили мнѣ спутники-румыны, гораздо менѣе за-
мѣтны, чѣмъ еврейскіе.

— Хорошо еще, что шабашъ длится только сутки, а то
бы намъ всѣмъ, не евреямъ, пришлось умирать съ голода.

По виѣшнему виду, Яссы—увеличенный Кишиневъ, а
Кишиневъ—увеличенная Смѣла, Шпола, Бѣлая Церковь;
одно изъ тѣхъ обильныхъ населеній торгово-промышлен-
ныхъ мѣстечекъ, какими такъ богата Украина... Кто въ
нихъ бывалъ, легко вообразить Яссы, а кто живалъ, сразу
догадается, и какъ живутъ въ Яссахъ.

II.

Румыны хвастаются своимъ Букурештомъ: по ихъ мнѣнію, онъ чуть-чуть что не «Дунайскій Парижъ». Но хорошая русская поговорка учить насъ, что «чуть-чуть не считается». На мой взглядъ, Букурештъ—уголокъ Москвы, пытающейся, въ пику Петербургу, притвориться Вѣной. Та-же, что въ Москвѣ, смѣсь европейскаго города съ большою деревней. Въ центрѣ города зданія огромны, красивы и новы, но стоятъ они тѣсно и криво—улицы плохо выравнены. Въ самыхъ бойкихъ пунктахъ попадаются сомнительные переулки; развалюги лѣпятся къ громадамъ дворцовъ. И это—не милые *chiassi*, курьезные и прелестные коридоры безъ крышъ, пробѣгающіе отъ улицы къ улицѣ старыхъ итальянскихъ городовъ; это просто—царево-кокшайщина, гнилыя захолустья. Окраины Букурешта—самая добродушная руссiйская провинція, — провинція-черноземъ. Такъ и ждешь, что вотъ-вотъ задребезжитъ за угломъ колымага, и поѣдетъ въ ней Коробочка совѣтоваться съ протопоповымъ сыномъ, почему ходитъ теперь мертвая душа.

Букурештцы страдаютъ нѣсколько маніей величія. По дорогѣ изъ Яссъ, я наслушался чудесъ о букурештскихъ бульварахъ и ждалъ видѣть Семирамидины сады. Ничего особеннаго. Больше: ничего замѣчательнаго. Такіе проспекты съ деревьями имѣются во всѣхъ южно-русскихъ городахъ. О прекрасномъ Головинскомъ проспектѣ въ Тифлисѣ я уже и не говорю. По вечерамъ, букурештскіе бульвары залиты электрическимъ свѣтомъ, людны, шумны и — по наполняющей ихъ ресторанно-кафе-шантанной толпѣ—любопытны. Зеленью они ни въ какомъ случаѣ не могутъ считаться и, такимъ образомъ, въ каменномъ,

раскаленномъ центрѣ Букурешта, буквально, негдѣ схватить глотокъ свѣжаго воздуха.

Букурештъ—истый румынъ: окултуренный дакъ съ плохо вымытой шеей и сомнительнымъ бѣльемъ, но одѣтый по послѣдней картинкѣ парижскихъ модъ. Въ болгарскомъ Рушукѣ, я насчиталъ четыре книжныхъ магазина на одной улицѣ. Въ Букурештѣ они такъ рѣдки и мало замѣтны, что ихъ надо искать по-діогеновски, съ фонаремъ въ рукахъ. Зато на каждомъ шагу—вывѣска: «и вотъ заведеніе», ресторанъ и кафе-шантанъ. Точно румынскую культуру насаждалъ пресловутый бояринъ Пурческо-Манеско изъ оперетки «Апаюнъ»!

Не знаю, каковы букурештскія удовольствія зимою; лѣтомъ очень плохи. Я побывалъ въ двухъ «градинахъ» — на лучшемъ счету въ городѣ. Въ одномъ—вѣнская оперетка, въ другомъ—оперетка еврейской труппы. Я сбѣжалъ послѣ перваго акта «Цыганскаго барона». Если бы эту благозвучную вещицу спѣли такимъ образомъ русскому коту, онъ бы три дня послѣ того съ горя мяукалъ. Но румынская публика невзыскательна: она аплодировала и подносила букеты.

У вѣнцевъ—нѣмецкій языкъ и на сценѣ, и въ саду. Публики масса, и очень приличной публики: сомнительныхъ дамъ и подозрительныхъ пшюттовъ незамѣтно. Столики заняты семьями: папаши, мамыши и дѣтки, включительно отъ грудныхъ ребятъ до трехъ-аршинныхъ парней въ курточкахъ и подростковъ-«ангелочковъ», которымъ давно бы пора подумать о длинномъ платьѣ. Тѣмъ страннѣе невѣроятный цинизмъ спектакля. Въ концертномъ отдѣленіи комики-дуэтисты, взамѣнъ таланта и умѣнья, такъ и сыпать сальностями: не только гнусные намеки, но и гнусныя слова. У насъ что-либо подобное—подчеркиваю: подобное, а не такое—можетъ имѣть мѣсто развѣ лишь въ самомъ отчаянномъ шато-кабакѣ, куда никогда не заглянетъ порядочная женщина, а порядочные мужчины проби-

раются тайкомъ и оглядываясь, не попасться бы кому изъ знакомыхъ. Здѣсь же всѣ—въ восторгѣ, нараспашку. Мамаши скрываютъ за вѣерами и букетами улыбающіяся лица, «ангелочки» стыдливо потупляются и дѣлаютъ видъ, будто у нихъ уши завѣшаны золотомъ, балбесы въ курточкахъ осклабляютъ рты до ушей, а *pater familias*’ы въ азартѣ стучать пивными кружками и требуютъ безконечныхъ *bis*’овъ...

Я засталъ букурештскій Salon. Выставка картинъ національной живописи занимала двѣ небольшія залы въ великолѣпномъ зданіи *Athenaeum*’а. Румынская живопись въ Россіи совсѣмъ неизвѣстна. Новизной, оригинальностью, совершенствомъ техники, содержательностью румынскій салонъ далеко не блисталъ. Золотая середина: ничего особенно дурного, ничего выдающагося, блестящаго. Добропорядочная подражательность не только манерамъ, но и манерности современныхъ французовъ и мюнхенцевъ. Большинство полотенъ, впрочемъ, и помѣчено Мюнхеномъ. Весьма много *pleine air*’истовъ. Безсюжетность—еще большая, чѣмъ у молодыхъ русскихъ художниковъ, а этимъ сказано много. Излюбленная тема большихъ полотенъ—голая розовая женщина на свѣтло-зеленой травѣ.

Лучшая часть salon’а портреты. Въ огромномъ большинствѣ, почти безъ исключеній, они ярки и жизненны; чувствуется не только сходство, но и схваченный художникомъ характеръ оригинала. Мазокъ смѣлый, размашистый, но не грубо-неряшливый. Чтобы любоваться портретомъ, не надо переходить на другую сторону площади, какъ требуетъ того кляксанье импрессионистовъ. Реалистическіе порывы румынскихъ портретистовъ сближаютъ ихъ, пожалуй, со школою Крамского: правда, вылившаяся въ изящество; сила и смѣлость, смягченныя чувствомъ мѣры.

Исключеніе представляетъ — самая крупная звѣзда румынскаго искусства, профессоръ Миреа, человѣкъ уже

немолодой и много поработавшій. Миреа — портретистъ романтикъ; его стиль напоминаетъ Брюллова. Одинаковая твердость рисунка, одинаковое эффекторство; только у Брюллова, какъ портретиста, много больше сока и блеска въ колоритѣ; у Миреа онъ нѣсколько тускловатъ.

Хорошая черта румынской живописи — обиліе свѣта, яркая, чисто-южная красочность. Это качество родится только подъ синимъ небомъ и подъ жаркимъ солнцемъ. Испанцы прославились такимъ письмомъ. Изъ молодыхъ школъ, въ этомъ отношеніи, къ румынамъ близко подходитъ малоизвѣстная группа нашихъ закавказскихъ художниковъ.

Какъ иностранному журналисту, мнѣ не только показали салонъ и зданіе Атенеума бесплатно, но даже приставили ко мнѣ чичероне изъ распорядителей. Но по части именъ и названій этотъ милый малый оказался самъ вполнѣ невиненъ. Зато, водя меня по отдѣлу живописи, онъ тыкалъ пальцемъ въ картины и приговаривалъ:

— C'est un tableau!

Въ отдѣлѣ же скульптуры, хлопалъ статуи по ляжкамъ, просвѣщая мое иноземное невѣжество справедливымъ объясненіемъ.

— Статуя!.. И это статуя!.. И еще...

Къ чести его сказать, различіе между картиной и статуей онъ зналъ твердо и ни статую картиною, ни картину статуей ни разу не назвалъ.

Румыны — народъ живой, и букурештская улица — хорошая, подвижная, веселая улица. Я до страсти люблю толпу и уличную суетню. Послѣ мертвой оцѣпенѣлости нашихъ сѣверныхъ городовъ, пріятно окунуться въ шумную толкотню на Calea Victoria: здѣсь бьется пульсъ букурештской жизни. Похоже въ миниатюрѣ на неаполитанскую Via Toledo: человѣческій муравейникъ, полный матово-смуглыхъ лицъ, сверкающихъ черныхъ глазъ, густыхъ жесткихъ бородъ и страшнѣйшихъ усищъ.

Женщины очаровательны. Въ Италіи встрѣчаются красавицы, какихъ, можетъ-быть, не найти во всей Румыніи, но, въ массѣ, румынки красивѣе итальянокъ. Я говорю, конечно, только про культурные типы; женщинъ народа — по румынскимъ деревнямъ — я не видалъ, а образцы, встрѣчавшіеся въ Букурештѣ, сродни нашимъ російскимъ пейзажамъ. Но женщины «общества» великолѣпны. Видно, справедливы слухи, будто румынка убиваетъ на туалеть ровно девять десятыхъ дня, чтобы ослѣплять своею красотою вечеромъ. Иначе нельзя такъ выходить, такъ выходить себя, какъ замѣтно это на большинствѣ. Нервная, тонкая кожа, розовыя ногти, сверкающіе зубы, тяжелыя груди темныхъ волосъ — все это проходить, съ утра до вечера, цѣлую лѣстницу мытарствъ, предписанныхъ косметической наукой. Почти всѣ онѣ слегка подрисованы, но — съ большимъ искусствомъ: не оставляютъ впечатлѣнія мазанности, какое неизмѣнно выносишь изъ откровенной дамской толпы Петербурга или Москвы. Моды смѣлы; цвѣта матеріи часто ярки и рѣзки, но всегда — къ лицу, такъ что яркость здѣсь, очевидно, плодъ не безвкусія полудикарки, а эффектнаго расчета: кричу о своей красотѣ и не боюсь кричать! Вотъ я какая, — любуйтесь и погибайте!.. Удивительные глаза у румынокъ. Вотъ ужъ — «яснѣе дня, чернѣе ночи». И выраженіе славное — горячее, глубокое. Славянская задумчивость смѣшалась съ романскою страстностью въ этомъ взглядѣ — чувственнымъ, но не безстыднымъ, сулящемъ романъ, но не оргію... А жизнь въ Букурештѣ, сказываютъ, романична, и скандальной хроникѣ города нѣтъ отдыха въ теченіе всѣхъ четырехъ сезоновъ года: всегда новости и новости, одна другой пикантнѣй... Что дѣлать? Слишкомъ много благоприятныхъ факторовъ: и южный темпераментъ, и погоня за парижскими нравами, и вліяніе вѣнцевъ, составляющихъ чуть не тридцать процентовъ букурештскаго образованнаго круга. Единственнымъ недостаткомъ румынокъ, съ точки зрѣнія

строгой красоты, является чрезмѣрная полнота, какою надѣляетъ ихъ судьба годамъ къ 28 — 30. Но даже и этотъ недостатокъ не достигаетъ здѣсь такого уродства, какъ у женщинъ другихъ южныхъ національностей: армянокъ, евреекъ, грузинокъ, гречанокъ, итальянокъ Лигуріи и Ломбардіи. Еще преимущество румынскаго прекраснаго пола: на улицахъ Букурешта почти не встрѣчается уродливыхъ вѣдьмоподобныхъ старухъ, тогда какъ въ Неаполѣ или Римѣ каждую минуту ждешь услышать зловѣщее шамканье:

— Привѣтъ Макбету, тану Кавдора!

Цвѣтъ толпы—нарядное офицерство—производитъ нѣсколько мишурное впечатлѣніе. Румынскіе офицеры—плохой сколокъ съ австрійскихъ. Какіе-то изнѣженные франтики, съ женственными манерами, завитые и надушенные. Въ румынскомъ обществѣ хоть пропадай отъ духовъ: женщины—точно каждая взяла ванну изъ опопонакса или шипра, мужчины тоже безбожно пичкаются ароматами. Для человѣка съ тонкимъ обоняніемъ,—а меня, какъ нарочно, Богъ наградила имъ до болѣзненности,—это несносно. Я понимаю до извѣстной степени ароматоманію въ женщинѣ, но мужчинѣ, да еще офицеру, она какъ-будто даже конфузна. У румынскаго воинства изящныя манеры, но далеко не молодцоватая выправка. Въ салонѣ эти господа, надо полагать, очень милы и кстати; не знаю, таковы ли они въ полѣ... Многого не общаются.

Румыны, кромѣ офицеровъ, оперетки и опереточныхъ нравовъ заимствовали у вѣнцевъ пиво. Оно всюду побѣждаетъ вино несмотря на его изобиліе и мѣстное происхожденіе. Букурештъ имѣетъ уже нѣсколько Bierhallen на вѣнскій и берлинскій образецъ: то-есть—чуть не дворцы, съ прелестными садиками при нихъ. Бѣдный виноградный сокъ! Еще Юліанъ Отступникъ защищалъ его благородную влагу противъ «мутнаго ячменнаго Вакха, приходящаго съ сѣвера», но пятнадцативѣковая борьба разрѣ-

шается повсюду въ пользу этого Вакха. Пивомъ портятъ себя итальянцы, измѣнивъ своему *chianti* — благороднѣйшему изъ всѣхъ *vins ordinaires* на земномъ шарѣ; во Франціи, Испаніи, въ Закавказьѣ, во всѣхъ родинахъ винограда, господствуетъ пиво.

— Замѣьте, — указалъ мнѣ одинъ римлянинъ, — какъ наше населеніе ожирѣло, отупѣло и отяжелѣло за послѣднія шесть-семь лѣтъ. Это отъ проклятаго пива — подарка *triplice alleanza*. Въ нашемъ климатѣ оно ядъ, а мы пьемъ его съ утра до вечера. Увидите, что въ какія-нибудь двадцать пять лѣтъ оно переродитъ націю. Вмѣстѣ съ пивомъ въ насъ переливаются кровь и темпераментъ тедесковъ.

Румыны прилагаютъ всѣ усилія къ такому перерожденію: дуютъ пиво, какъ давай Богъ всякому пруссаку. Вино ихъ не слишкомъ хорошо: одного типа съ бессарабскимъ, т.-е. очень вкусно для укуса, но недостаточно содержательно для вина.

III.

Въ Кишиневѣ я былъ удивленъ, когда лишь въ одной книжной лавкѣ, послѣ долгихъ разспросовъ и поисковъ, нашелъ учебникъ румынскаго языка — старое, очень неудобно и малопрактично составленное изданіе г. Іоанна Данчева. Казалось бы, какъ, на границѣ Румыніи, не нуждаться въ румынской грамматикѣ и румынскомъ лексиконѣ. А, впрочемъ, — такова ужъ доля всякаго русскаго, затѣявшаго учиться какому-нибудь ново-славянскому языку: охота смертная, да участь горькая!

Бдучи въ 1901 г. въ Сербію, Болгарію, Македонію, я старался воскресить въ памяти то, что въ 1894 и 1896 гг. «подучилъ малость» по-болгарски и занялся, совѣмъ наново для себя, сербскимъ языкомъ. Я твердо убѣжденъ, что, при толковыхъ занятіяхъ, русскому достаточно одного

мѣсяца, чтобы овладѣть сербскою или болгарскою рѣчью для бѣглаго разговора, не говоря уже о литературномъ чтеніи; способность къ послѣднему вы легко приобрѣтаете, послѣ самаго поверхностнаго ознакомленія съ грамматиками южно-славянскихъ языковъ. Но поразительно мало сдѣлано нашимъ славянофильствомъ для того, чтобы русскій, желающій изучить братскій славянскій языкъ, могъ приступить къ тому безъ препятствій и затрудненій. Мнѣ нуженъ болгарско-русскій словарь. Что могу я найти и купить въ Петербургѣ? Великолѣпное, какъ научный, спеціально-филологическій трудъ, произведеніе покойнаго А. Л. Дювернуа, —никуда негодное, однако, какъ практическое, ручное пособіе,—хотя бы уже потому, что въ немъ 3,000 страницъ in 8°. Даже австрійскіе таможенныя,—обыкновенно самыя равнодушныя въ мірѣ люди къ литературѣ и книгѣ,—заинтересовались этимъ страшилищемъ въ пагреневомъ переплетѣ и смотрѣли на него съ дикимъ любопытствомъ, которое я истолковывалъ себѣ такъ:

— Хорошо, если это, дѣйствительно, книга. Но, если это динамитная бомба, ея совершенно достаточно, чтобы взорвать на воздухъ половину Бурга и весь Maria-Teresien-Platz!

Въ дополненіе всей своей неуклюжести, книга-бомба стоитъ 20 рублей. Милостивые государи! Скажите, положу руку на сердце: ну, кто въ Россіи,—помимо завязтыхъ любителей-библіомановъ или специалистовъ, одержимыхъ крайнею необходимостью именно къ такому-то и такому-то опредѣленнаго рода и вида чтенію, чего бы оно ни стоило, — ну, кто у насъ платитъ за книгу по 20 рублей?! И еще за словарь?! И еще за болгарскій?! Нѣмецкій словарь Павловскаго стоитъ 6 рублей, макаровскіе идутъ по 5 руб. 50 коп.,—а тутъ вынь да положи два большихъ золотыхъ... За что?! Признаюсь искренно: я «вынулъ и положилъ» со скрежетомъ зубовымъ. Ибо я, во-первыхъ, сознавалъ, что,—вмѣсто желательнаго практическаго, оборот-

наго руководства, — какъ говорить малороссы, покупаю лишь чорта за свои гроши: чорта, который оттянетъ мнѣ руки и ничему меня не научить. А во-вторыхъ... двадцать рублей... Господа! вѣдь это мѣсячный заработокъ многихъ изъ той молодежи русской, которую еще въ «Руси» восьмидесятихъ годовъ наше славянофильство попрекало нежеланіемъ знакомиться съ инославянскими нарѣчіями и литературами. Познакомись тутъ!

Но словарь Дювернуа, повторяю, специальный ученый трудъ, изданный академіей наукъ въ качествѣ филологическаго *chef d'oeuvre*. А вотъ лежитъ предо мною «Русско-сербскій словарь» Лавровскаго, стоящій всего два рубля и выпущенный въ свѣтъ санктпетербургскимъ славянскимъ благотворительнымъ обществомъ специально для облегченія сношеній между русскими и сербами. Удивительное произведеніе! Изъ него вы можете узнать, какъ по-сербски звучать русскія реченія, коихъ никогда не употребляютъ въ обиходъ своемъ русскіе, но не узнаете даже, какъ по-сербски будетъ русскій глаголъ «имѣть». Просматриванье словаря этого доставило мнѣ много веселыхъ минутъ и значительно сократило время путевой тряски въ вагонѣ. Въ результатѣ просматриванья я получилъ тотъ счастливый даръ, что знаю по-сербски весьма много русскихъ словъ, которыхъ, однако, не понимаю по-русски. Такъ напр., я знаю, что русское «малка» есть по-сербски «покретна мѣра угла», но — что такое «малка» — долженъ буду, по возвращеніи, освѣдомиться въ «Толковомъ Словарѣ» Даля. Такъ и не знаю я, какъ по-сербски сказать: «я имѣю, ты имѣешь, онъ имѣеть»; зато никто лучше меня не переведетъ вамъ на сербскій языкъ такихъ насущно-необходимыхъ русскихъ реченій, какъ «дерба», «дѣрбничекъ», «дербовать», «кука», «кубура», «свохлять» и т. д. — особенно, если какой-либо добрый читатель будетъ такъ любезенъ, что сообщить мнѣ ихъ русскій смыслъ и значеніе.

Неудивительно, что при такихъ условіяхъ изъ 1000

русскихъ едва ли одинъ смыслить сколько-нибудь въ одномъ изъ славянскихъ языковъ, и развѣ одинъ изъ 100 южныхъ славянъ владѣетъ языкомъ русскимъ, несмотря на полнѣйшую его для нихъ необходимость—не только литературно-общественную, но и лексическую. А, впрочемъ, Кишиневъ и вся пограничная Бессарабія до Унгени поражаютъ руссификаціей, далеко не привычной для человѣка, знакомаго съ другими порубежными окраинами нашей территоріи. Ёдешь изъ Петербурга или Москвы въ Вѣну, русскій языкъ теряется уже за Брестомъ, а отъ Варшавы до границы—ни слова русскаго, ни русскаго лица. Здѣсь наоборотъ: самый сильный изъ чужеземныхъ элементовъ рѣчи, польскій, ослабѣваетъ уже черезъ нѣсколько перегоновъ отъ Кіева, а къ Раздѣльной пропадаетъ даже еврейскій жаргонъ. Всѣ — молдаване, пѣмцы, евреи, цыгане—говорятъ по-русски. Говорятъ нехорошо, съ грубымъ одесскимъ произношеніемъ, по которому и одессита-то легко принять за иностранца, но говорятъ обязательно и охотно, съ такимъ же обильнымъ запасомъ словъ, какъ на родномъ языкѣ. Нѣсколько интеллигентныхъ молдаванъ ѣхали со мною до Пырлицы, послѣдней станціи предъ Унгени. Ихъ живой разговоръ на румынскомъ языкѣ былъ испещренъ русскими фразами и словами—еще въ большей мѣрѣ, чѣмъ вычурный языкъ нашихъ петербургскихъ декадентовъ унизанъ французскимъ бисеромъ. Это тѣмъ страннѣе, что, едва переѣдешь румынскую границу, нить русской рѣчи обрывается, точно перерѣзанная ножницами. По нашу сторону Прута ни одного слова румынскаго, по румынскую же ни одного слова русскаго. Спрашиваю пѣмца-буфетчика на станціи Унгени:

— Скажите, пожалуйста, какъ по-румынски «артельщикъ», «носильщикъ»?

Выпучилъ глаза:

— Представьте,—не знаю! Какъ-то пикогда не случилось слышать...

Къ стыду почтеннаго германца, оказалось еще, что носильщиковъ на румынскихъ дорогахъ кличутъ по-нѣмецки: Träger! Вотъ что значить граница: живетъ человекъ у самой незримой ея черты и знать не хочетъ, что за этой чертой дѣлается. А еще говорятъ, будто политическія грани — фантастическій бредъ исторіи, когда она больна лихорадкой!..

Букурешть удивилъ меня своимъ безкнижіемъ еще больше Кишинева. Плутая изъ магазина въ магазинъ, я не могъ добиться ни путеводителя по Букурешту, ни русско или французско-румынскаго словаря, ни какой-нибудь разговорной книжки. Спросилъ учебникъ болгарскаго языка: тоже нѣтъ. Что же есть? Французскіе романы, — имя же имъ легионъ, — и сенсационныя изданія въ родѣ толстовскаго «Царства Божія». Мнѣніе, будто тому, кто понимаетъ французскую и итальянскую рѣчь, легко изучить и можно не учась понимать румынскій языкъ, ошибочно. Путаница корней романскихъ и славянскихъ — истинное несчастье румынскаго языка; въ послѣднее время румынскіе литераторы стараются какъ можно болѣе латинизировать свой слогъ, вытѣсняя изъ него славянскія реченія въ народный жаргонъ. Это не хорошо, да и не худо: по крайней мѣрѣ, языкъ пристанетъ къ какому-нибудь берегу, а то онъ какой-то межеумокъ: ни славянинъ, ни латинецъ. Реформа алфавита, какъ извѣстно, давно уже введена въ Румыніи. Кириллица осталась только въ церковныхъ книгахъ. Свѣтскій языкъ давно латинизированъ въ шрифтѣ. Все шаги къ полному дезертирству изъ славянской семьи. Что же? Если славянство потеряетъ румынъ, то, можетъ-быть, утрата будетъ не такъ ужъ огорчительна. Румыны считаютъ себя потомками римскихъ поселенцевъ, отправленныхъ Трояномъ къ дакамъ.

— Да, — со злостью подтвердилъ мнѣ въ Петербургѣ недолголюбивающій румынъ писатель-дипломатъ. Только румыны забываютъ, какіе это были поселенцы. Они по-

томки римскихъ каторжниковъ. А туда же—*civis romanus sum!*

Истинный литературный языкъ Румыніи — французскій: многіе литераторы пишутъ по-французски; нѣсколько букурештскихъ газетъ, между прочимъ, вліятельная «*Indépendance Romaine*», издаются на французскомъ языкѣ, а чисто румынскія газеты полны, какъ говорятъ знатоки, галлицизмовъ не только лексическихъ, но и въ оборотахъ фразъ, въ строеніи рѣчи. Въ Молдавіи французскій языкъ распространенъ мало, но въ Букурештѣ онъ — необходимая принадлежность каждаго прилично одѣтаго человѣка. Даже въ народѣ старинное румынское «*буна сара*» — «добрый вечеръ» уступило мѣсто французскому *bonsoir*. Говорятъ, однако, вовсе не хорошо — съ некрасивымъ акцентомъ и грубыми, тяжеловатыми оборотами: языкъ колоній, какъ выражаются парижане. Итальянскій языкъ также въ большомъ распространеніи. Нѣмецкая рѣчь — повсюду; на желѣзныхъ дорогахъ, по преимуществу, вѣнскій говоръ и еврейскій жаргонъ. Русскаго языка никто не понимаетъ, кромѣ опять-таки извозчиковъ-скопцовъ и молоканъ, — а ихъ въ Букурештѣ вовсе не такъ много, какъ описываетъ Эмиль де-Лавелэ въ своей книгѣ о Балканскомъ полуостровѣ.

Русские эмигранты — простолюдины поразительно легко забываютъ родной языкъ. Старшій кельнеръ прекраснаго «*Hôtel Union*», гдѣ я остановился, оказался русскимъ. Всего семь лѣтъ, какъ онъ эмигрировалъ изъ Одессы, — положимъ, одесскій русскій языкъ — тоже штучка особаго рода! — и уже почти не въ состояніи связно вести русскую рѣчь: сохранилъ лексиконъ, но утратилъ этимологию и синтаксисъ. Языкъ скопцовъ-извозчиковъ тоже совѣмъ невѣроятный: иностранные слова и иностранные обороты затемняютъ рѣчь; произношеніе хуже, чѣмъ даже у бессарабцевъ. А есть чистые русаки: орловцы, калужане. Чудно они ѣздятъ: прекрасные кони, удобные и красивые на видъ

фаэтоны, съ эластическими подушками... Кучера, молдаване и валахи, щеголеватѣ русскихъ; бархатные кафтаны, цѣпочки вдоль груди, наборные пояса и шляпы съ перышками придаютъ имъ видъ театральныхъ пейзажъ или «добрыхъ честныхъ мужичковъ» изъ чувствительной дѣтской книжки, награжденныхъ отъ небесъ за добродѣтель богатствомъ и благоденствіемъ.

Не знаю, какъ дорога въ Букурештѣ жизнь семейная, но отельная не дешева. Какъ ни скупись на франки, они летятъ дождемъ. И, въ отчаяніи удержать ихъ, наконецъ, рѣшаешь:

— Нѣтъ, ужъ лучше убраться вопъ изъ Букурешта и поискать по свѣту, гдѣ опустошенному кошельку есть уголокъ...

Значить, — опять вагонъ и... брр! румынская желѣзная дорога: степи, по которымъ разбросаны свинарники, имѣющіе наглость называться станціями. Спасибо, что хоть вагоны порядочные: австрійскаго типа, съ длинными поперечными купэ и продольнымъ коридоромъ. Движеніе по румынскимъ путямъ не слишкомъ велико, и можно ѣхать съ удобствами. Впрочемъ, однажды, когда въ поѣздъ набралось много пассажировъ, меня отлично выручила моя нѣсколько фантастическая матросская куртка. Лежу и слышу раздраженный голосъ:

— Этого господина надо поднять; онъ занимаетъ слишкомъ много мѣста.

А другой голосъ, кроткій и вѣжливый, возражаетъ:

— Оставь. Развѣ ты не видишь, что это иностранецъ? Намъ ѣхать какихъ-нибудь сорокъ километровъ, а онъ, можетъ-быть, проѣхалъ тысячу... усталъ, нашелъ время и мѣсто уснуть, — какъ же можно его будить?

Раздраженный голосъ утихъ. Я же благословилъ румынскую деликатность и, повернувшись носомъ къ стѣнѣ, благополучно проспалъ всю ночную дорогу.

Не знаю, были ли бы эти добрые люди такъ любезны,

если бы знали, что я русскій. Русскихъ румыны не слишкомъ-то долюбиваютъ.

Впрочемъ, кто насъ искренно любить на Балканскомъ полуостровѣ? Между нами и румынами давно лежитъ черная кошка. Русская политика на Востокѣ всегда отличалась качествомъ чисто - русскаго характера—желаніемъ облагодѣтельствовать. Благодѣтельствовать пріятно потому, что затѣмъ должны бы создаваться обязательныя отношенія благодарности. Говорю «должны бы», потому что на дѣлѣ этого никогда не бываетъ. Благодарность едва ли не самое рѣдкое качество между людьми и совершенно небывалое между народами. Когда французы помогли итальянцамъ раздѣлаться съ австрійцами, пьемонтцы даже о насущныхъ врагахъ своихъ, австріакахъ, говорили съ меньшимъ ожесточеніемъ, чѣмъ о «спасителяхъ»-французахъ. Это происходитъ именно отъ сознанія: мы обязаны быть благодарными, что значить—подчинить свою волю волѣ обязавшаго насъ народа... Но если мы не хотимъ? Тогда насъ будутъ считать неблагодарными и при случаѣ припомнятъ намъ это. Россія обязала всѣ славянскія государства, и всѣ оказались—въ политическомъ смыслѣ—неблагодарными, и всѣ боятся, что рано или поздно Россія ихъ за эту неблагодарность такъ или иначе высѣчетъ. Чистосердечію русской политики они не вѣрятъ: это, молъ, одно притворство, что она бездѣйствуетъ, а, на самомъ дѣлѣ, она сложила наши вины въ сердцѣ своемъ и въ одно прескверное утро потребуесть за нихъ удовлетворенія. Страхъ безъ вины виноватыхъ людей. Какая ужъ тутъ любовь?

У румынъ же есть и другія причины. Они считаютъ себя обиженными еще съ прошлой войны. Ихъ пригласили драться—и драться не давали. Это обижало народное самолюбіе. Наконецъ, пустили — и въ такой тяжелый моментъ, что румыны сгоряча вообразили себя спасителями русской арміи и заважничали. Вѣдь румыны серьезно увѣрены, что это они, а вовсе не русскіе, взяли Плевну. Кон-

чилась война,—начинается исторія съ Измаильскимъ округомъ, которой они переварить не могутъ. Разумѣется, странно было румынамъ рассчитывать на уступку бессарабскихъ земель, тѣмъ болѣе, что никто Румыніи этихъ земель не обѣщалъ. Румыны кричатъ, что у нихъ эти земли отрѣзали. Но,—говорятъ дипломаты,—онѣ никогда Румыніи не принадлежали; онѣ были уступлены Россіей Турціи, и у Турціи были взяты обратно. Румыны того знать не хотятъ и попрекаютъ русскихъ Бессарабіей, при всякомъ удобномъ случаѣ. Затѣмъ воспоминанія военнаго поста въ эпоху турецкой войны. Это всюду и всегда фатальный источникъ непріязни. Страна, гдѣ побывало союзное войско постоемъ, утрачиваетъ, по крайней мѣрѣ, пятьдесятъ процентовъ симпатіи къ союзникамъ.

Румынское правительство дорожить собою въ международныхъ сношеніяхъ. Оно очень формалистично и потому мелочныя пограничныя столкновенія иностранцевъ съ чиновниками, строго исполняющими свои предписанія, довольно часты. Но достаточно коротенькой записки, нѣсколькихъ вѣжливыхъ словъ представителя затронутой державы, чтобы недоразумѣніе уладилось, по возможности, къ обоюдному удовольствію.

Если, съ одной стороны, румыны черезчуръ формалисты, то съ другой,—наши соотечественники слишкомъ безпечны. Въ одномъ округѣ вышли безпорядки. Пошла провѣрка населенія. Между прочимъ, обнаружено было одиннадцать русскихъ коробейниковъ; ни у одного не оказалось свидѣтельства на право торговли въ той мѣстности... Ихъ выслали. Спрашивается: кто виноватъ? Пьяный капитанъ—грекъ, подъ русскимъ флагомъ, лѣзетъ, на зло всѣмъ предупрежденіямъ, куда не велѣно. Ему рѣшительно заявляютъ, что это нарушеніе международнаго права.—Если вы пойдете дальше, мы вынуждены будемъ стрѣлять.

— Ладно! Не будете!

И, спяну ли, молодечества ли ради, идетъ.

Одинъ надурить, а сто умныхъ ломай головы, какъ дурь распутать.

Правда, и румынскіе стражники—порядочные звѣри. Антипатія ли къ сосѣдямъ, просто ли горячая южная кровь, но они хватаются за ружья гораздо скорѣе, чѣмъ требуютъ благоразуміе и человѣколюбіе. Русскій солдатъ мирно рыбачилъ въ своей лодченкѣ и не замѣтилъ, что теченіе унесло его слишкомъ близко къ румынскому берегу. Румынъ-стражникъ его застрѣлилъ.

IV.

Если туристъ желаетъ, — туристамъ свойственно желать много глупостей,—убить цѣлый день и значительную часть ночи на прогулку, безусловно скучную, надоедливую до зѣвоты, досадную до злости, утомительную до лома въ костяхъ, мой ему совѣтъ: пусть онъ сядетъ въ Рушукъ на австрійскій пароходикъ и плыветъ по Дунаю до Ломъ-Паланки. Я ручаюсь за хорошій сплинъ—вполнѣ достаточный для американца, чтобы напиться до положенія ризъ, для англичанина, чтобы застрѣлиться, для русскаго, чтобы чертыхаться, покуда даже пароходная труба — и та покраснѣетъ отъ конфуза. Виды, тоску наводящія: справа — безотрадно-гладкая румынская равнина, слѣва — безотрадно-голые обрывы болгарскаго берега; впереди и позади грязная полоса Дуная—самой некрасивой изъ большихъ рѣкъ, какія случалось мнѣ видѣть. На этой грязной полосѣ черпѣютъ отмели — плоскія, поросшія мелкимъ ивнякомъ и тоже весьма безобразныя. Ученые слависты предполагаютъ, что у древнихъ славянъ слово Дунай обозначало вообще рѣку. Донъ, Дунай, Дуна—все одинъ корень, всегда прилагаемый къ сильной текучей водѣ. Даже Дунай-богатырь русской былины, и тотъ, въ концѣ концовъ, растекся

рѣкою. Надо полагать: слависты правы, потому что надо быть сумасшедшимъ, чтобы пѣть про этотъ Дунай:

Ой, Дунай мой, Дунай!
Ой, *веселый* Дунай!

Очевидно, пѣсня поется о какомъ-то другомъ Дунаѣ: въ этомъ нѣтъ ни веселья, ни красы, ни радости. Впрочемъ, можетъ-быть, старишние славяне лгали и льстили въ своихъ пѣсняхъ богу Дуная такъ же, какъ лгутъ и льстятъ ему современные нѣмцы. Назвалъ же Іоганнъ Штрауссъ лучший свой вальсъ — «An der schönen blauen Donau». А ни голубого, ни прекраснаго, рѣшительно ничего нѣтъ въ этой бурой жидкости на всемъ ея протяженіи отъ Вѣны до Чернаго моря. Скучный Дунай! Бурый Дунай!

У насъ въ Россіи развѣ гдѣ-нибудь на Окѣ или на Мологѣ можно найти пароходы хуже самоварной канфорки, пущенной австрійцами въ дунайскую грязь, подъ громкимъ именемъ «Нептуна». Надо удивляться, какъ старый богъ терпитъ это посрамленіе своего имени. Душная столовая, въ которой негдѣ повернуться, вонючая общая каюта, закуты вмѣсто каютъ частныхъ, кривая палуба, всюду грязь и соръ,—это первый классъ. Воображаю, какъ хороши второй и третій! Прислуга грязная, глупая и грубая; скатерти на столахъ... ахъ, какія скатерти! Къ небу вопіють о прачкѣ, — и небо ихъ не слышитъ. Ъсть можно только рыбу; остального нельзя въ ротъ взять: маргаринъ,—и самый покойницій.

Рыбы, разумѣется, хороши, но, по мѣстному улову, дороги: вы платите гульденъ за стерлядку, какой на Волгѣ красная цѣна двугривенный. Прибавьте къ этому, что дунайская стерлядь и вполовину не такъ вкусна, мягка и сочна, какъ волжская; это, скорѣе, шипъ, а не стерлядь. И готовить ее нѣмцы не умѣютъ; получается что-то студенистое, осклизлое. Волжская стерлядь манитъ себя ѣсть,—вѣрнѣе, впрочемъ, мангла: въ послѣдніе годы волж-

скія стерляди отравлены и весьма пропахли нефтью, — съ дунайскою же надо сперва примириться, а потомъ уже по-лучишь къ ней аппетитъ и отъ нея удовольствіе.

На «Нептунѣ» нашлось нѣсколько болгаръ, говорящихъ по-русски, — и все руссофилы. Стамбуловъ тогда только-что палъ, — и, съ разрѣшенія начальства, руссофиловъ объявилось множество. Въ числѣ ихъ былъ докторъ Т., русскаго воспитанія, изъ Варны, милый собесѣдникъ и — великая рѣдкость въ Болгаріи! — не политикапъ. Докторъ ѣхалъ въ Австрію — жениться.

— Трудно, очень трудно жить одинокимъ холостякомъ въ Болгаріи. — говоритъ онъ. — Возьмите хоть квартирный вопросъ. Если въ городѣ нѣтъ семейства русскаго, нѣмецкаго или еврейскаго, — вы осуждены на жизнь въ гостиницѣ: болгарская семья никогда не сдастъ комнаты холостому человѣку, не приметъ его столоваться, — это почитается неприличнымъ. А болгарскія гостиницы. . въ Европѣ полицейскіе участки лучше!

И вотъ — я, холостякъ, долженъ былъ напимать въ Варнѣ цѣлый домъ, на который требовался не малый штатъ прислуги. А знаете ли вы, что такое болгарская прислуга? Съ нею, мука, каторга! Наши поселяне зажиточны, земля ихъ кормить, они привержены къ родному дому и уходятъ на городской заработокъ крайне неохотно. Надо улаживать, упрашивать, соблазнять безобразно высокою платою, прежде чѣмъ баба покинетъ свой очагъ для вашей кухни. Служить она у васъ въ такомъ сознаніи и съ такимъ видомъ, будто дѣлаетъ вамъ величайшее одолженіе, и безъ нея вы пропади. Два-три замѣчанія, первое недоразумѣніе, — и до свиданья! Обидѣлась и ушла: ступайте на новую муку, ищите себѣ новую кухарку. Кормятъ ужасно. Кто изъ насъ воспитывался въ Россіи и набаловался разнообразіемъ русской кухни, тому отъ болгарскаго стола приходится жутко: наша національная поваренная книга знаетъ всего пять-шесть блюдъ, очень простыхъ,

грубыхъ и тяжелыхъ. Я жилъ студентомъ въ Кіевѣ и, конечно, ѣлъ и пилъ небогато, по кухмистерскимъ. За четвертакъ на обѣдъ разносоловъ не получишь и гурманству не научишься. Однако, даже послѣ кухмистерской ѣды, я ходилъ по цѣлымъ днямъ голодный въ первое время, какъ возвратился въ свое родное Габрово. Это вѣдь совсѣмъ дикое, патріархальное мѣстечко. Вино да баранъ, баранъ да вино,—вотъ и все меню. Бараномъ пахнетъ все: хлѣбъ, супъ... брр!... На первыхъ порахъ—хоть плачь: ничто въ ротъ нейдетъ. Потомъ—голодь не свой братъ, обучилъ кормиться, чѣмъ Богъ послалъ. А жизнь въ Габровѣ? Чуть сумерки, всѣ двери на запоръ. Возьмешься за картузъ, — отецъ окликаетъ:

— Куда?

— Хочу навѣстить товарища.

— Бойся Бога, человѣкъ! какіе по ночамъ товарищи?

Сиди дома!

— Но...

— Сиди, говорятъ, коли отецъ велитъ!

Ну-съ, и вотъ я, тридцатилѣтній докторъ медицины, смиренно вѣшаю картузъ на гвоздь и сажусь къ очагу хлопать глазами на огонь, пока не сморить сномъ,—больше дѣлать нечего. И не думайте, что отецъ мой деспотъ, самодуръ,—добрѣйшей души старикъ, безъ памяти любить насъ, дѣтей, рубашку съ себя сниметъ, если мнѣ понадобится. Но за старообычную жизнь держится крѣпко; велитъ преданіе закрывать двери съ сумерками,—и шабашъ! замыкаетъ. Такъ запирались дѣды и отцы, такъ и онъ запирается. И, я думаю,—не послушайся я его, онъ не задумался бы меня поколотить, хотя бы я былъ не только докторомъ медицины, но даже министромъ-президентомъ. Потому, скажетъ, ты сынъ, а я батька; я тебя родилъ и взялъ за тебя отвѣтъ предъ Богомъ; ты меня не слушаешь,—долженъ я тебя научить, чтобы чтить отца своего и мать свою и долголѣтенъ былъ на земли: ложись!..

Крѣпокъ у насъ семейный строй — что говорить. Но, какъ это ни патріархально, а нашему брату, хватившему европейской цивилизаціи, тяжело. Если бы не баловала меня мать, — извѣстно, всѣ матери потворицы, — не знаю, какъ и выжилъ бы въ Габровѣ. Но, и при материнскомъ потворствѣ, представьте себѣ только, какое красивое для взрослого человѣка положеніе — осуществлять свои самыя невинныя желанія и привычки не иначе, какъ прячась, тайкомъ, съ лганьемъ и притворствомъ, за спиною отца, съ вѣчнымъ страхомъ: ахъ, не замѣтилъ бы старикъ! То-то будетъ буря!.. Совсѣмъ темное царство: точно Тихонъ въ «Грозѣ». А ужъ какъ отцу не хотѣлось, чтобы я покинулъ Габрово для Варны: — Одинъ, говорить, безъ семьи, въ большомъ городѣ... пропадетъ малый! А «малому» четвертый десятокъ! — уже не молоденькій кабанокъ... Когда я учился въ Кіевѣ, — а поѣхалъ въ университетъ я тоже уже парнемъ лѣтъ двадцати пяти, — старикъ пріѣхалъ меня провождать. Что же вы думаете? Даже не предупредить ждаты его. Остановился потихоньку на постояломъ дворѣ и обходилъ всѣхъ знакомыхъ съ развѣдками: какъ я живу и веду себя? Ну, я былъ студентъ изъ смирныхъ, — худа про меня никто не могъ сказать... Возвращаюсь какъ-то домой изъ университета, — вотъ тебѣ разъ! глазамъ не вѣрю: сидитъ мой старикъ.

— Батка! какими судьбами? когда?

— А я, сынокъ, ужъ три дня въ Кіевѣ. Приглядывался, какъ тебя повстрѣчать и какое отцовское слово надо тебѣ сказать: грозное или ласковое. Вотъ теперь здравствуй. Хорошій ты человѣкъ, не позоришь нашу семью, хорошо говорить о тебѣ люди.

Такой характерный старичина! А у самого между тѣмъ слезы на глазахъ, и сѣдые усы такъ и прыгаютъ...

Свечерѣло и заходило. Волею-неволею пришлось спуститься въ клоаку, которую прислуга «Нептуна» выдаетъ за спальную каюту. Духота, міазмы... Лампы чадятъ,

пока горять, и невыносимо смердятъ, погасая; на низкомъ потолокъ притаились кошмары, готовые прыгнуть на грудь засыпающихъ. Ложусь и предаюсь размышленіямъ: много ли капитановъ «Нептунъ» кончило жизнь самоубійствомъ, и послѣ котораго по счету рейса приводили ихъ къ этому искупительному шагу угрызенія совѣсти? На плечахъ моихъ покоятся пятки какого-то толстаго поляка. Онъ несносно мечется и бредитъ во снѣ:

— Вилькъ! вилькъ! вилькъ!

И, удирая отъ воображаемаго волка, топочетъ по моимъ плечамъ. Бужу,—не просыпается. Остается молить Бога, чтобы полякъ поскорѣе увидаль во снѣ ружье и застрѣлилъ своего волка.

Забываюсь дремотой...

— Вставайте! вставайте!

— Что такое?

— Мы уже пять минутъ стоимъ въ Ломъ-Паланкѣ. Скорѣе выбирайтесь съ парохода: сейчасъ тронемся.

— Ахъ, чортъ бы васъ дралъ! а вещи не собраны... Не могли разбудить раньше?

Я и мои спутники - болгары поднимаемъ отчаянную суматоху. Капитанъ оретъ на насъ благимъ матомъ, ругаясь на пяти языкахъ. Но мы такъ спѣшимъ, что и отругиваться некогда. Скручены вещи...

— Träger!

Нѣтъ трэгера. Не въ обычаѣ, въ Ломъ-Паланкѣ, трэгеры. Стоимъ въ недоумѣніи предъ горами нашего багажа.

— Schnell! schnell! bitte schnell, zum Teufel! оретъ капитанъ.—Я пушу пароходъ.

Чувствуя подъ ногами содроганіе готової прійти въ движеніе машины и отчаявшись въ существованіи трэгеровъ, рѣшаюсь воспользоваться отпущенной мгѣ отъ матери-природы силой, перешвыриваю свою корзину и баулы моихъ спутниковъ на пристань и прыгаю съ уже зашевелившагося парохода. Черезъ мгновеніе, отъ «Непту-

на» остается только скверное воспоминаніе. Вдруг... вотъ такъ мысль!

— Господа!—кричу я не своимъ голосомъ.—Я ограбилъ австрійскій пароходъ: я, впопыхахъ, не заплатилъ за свой заборъ въ буфетѣ.

Мои болгары садятся на землю и начинаютъ умирать отъ смѣха.

— Ха-ха-ха! Вотъ будутъ злиться пѣмцы.

— Ха-ха-ха! Такъ швабамъ и надо.

— Однако, господа, какъ же теперь быть?—недоумѣваю я.

— Да никакъ! Чортъ съ ними... Вѣдь вы не знаете, сколько остались должны?

— Не знаю.

— Ну, какъ же вы будете платить?

— Можетъ быть, передать деньги мѣстному агентству пароходства?

— Чтобы управляющій присвоилъ ихъ себѣ?

— Послать на имя капитана «Нептуна»?

— Ну, присвоить капитанъ.

— На имя буфетчика?

— Присвоить буфетчикъ.

— На чье же, наконецъ?

— На чье ни пошлете, ужъ кто-нибудь да присвоить.

Вѣдь это швабы. Все, что не контрактировано, они поровнять утянутъ у общества и положить въ свой карманъ. Вамъ остается примириться съ мыслью, что вы ограбили швабское пароходное общество. Ничего: вы славянинъ,—и только отомстили пемножко за Боснію и Герцеговину. А, если васъ все-таки мучить совѣсть, бросьте франковъ двадцать въ кружку для бѣдныхъ... вотъ и будете квиты!..

Фаэтонъ изъ Ломъ-Паланки въ Софію стѣитъ пятьдесятъ левовъ (франковъ), т.-е. по курсу около восемнадцати рублей. Это—за два дня ѣзды, безсмѣнною четверкою маленькихъ и тощихъ лошадокъ. Дешевизна замѣчательная,

по времени, по огромности разстоянія и по трудности пути: надо одолѣвать Берковецкій Балканъ, подниматься до Петроханскаго перевала. Сравнительно съ Военно-Грузинскимъ шоссе, гдѣ двѣсти верстъ разстоянія отъ Владикавказа до Тифлиса стоятъ, въ отдѣльномъ фэтонѣ, 54 рубля, совсѣмъ благодать. Дешевизна обусловливается конкуренціей ямщиковъ съ государственною почтой; послѣдняя завела было дилижансы, съ платою 25—30 франковъ за мѣсто; ямщики тотчасъ же стали предлагать проѣзжимъ за ту же цѣну цѣлый фэтонъ. Государственная почта еще понизила таксу, — ямщики пошли и на эту уступку, готовясь лучше потерпѣть убытки, чѣмъ сойти съ поля сраженія, такъ выгоднаго для нихъ. Дешевизна кормовъ явилась для нихъ немалою поддержкою. Копчилось дѣло полною побѣдою ямщиковъ: государство спасовало, дилижансы были уничтожены, и сообщеніе между Софіей и Ломъ-Паланкой перешло всецѣло въ частныя руки, на соглашеніе по вольной цѣнѣ. Въ мѣсяцы очень бойкаго движенія цѣна фэтона возрастаетъ до 75 франковъ; въ тихое время падаетъ до 40—30, даже до 25 левовъ... Никакихъ «на чаевъ» по дорогѣ; удивляются, когда даешь:

— За что? съ какой стати?

Пока закладывали лошадей, разсвѣло. Мы сидѣли въ грязномъ хану, сонные, голодные, злые. Хозяинъ принесъ намъ по чашкѣ турецкаго кофе, — мѣсиво, хорошо разгоняющее сонъ, но не убивающее голода. Къ счастью, оказался открытымъ кабачокъ для рабочихъ пристани, гдѣ не нашлось никакой ѣды, но, по крайней мѣрѣ, было вкусное вино. Впервые въ жизни пилъ натошакъ... и трещала же потомъ голова! Не въ обиду будь сказано болгарскимъ винодѣламъ, не пожалѣли они подлить въ виноградный сокъ хлѣбнаго спирта. Пришли разносчики съ лотками, предлагаютъ витушки какого-то жирнаго тѣста.

— Вотъ и закуска! — воскликнулъ одинъ изъ моихъ

спутниковъ. — Кушайте, господа! До станціи съ трактиромъ добрыхъ шесть часовъ.

Господа стали кушать. Видя, что они ѣдятъ и не морщатся, я тоже вооружился было витушкой, куснулъ ее... и долго послѣ того отплевывался, напрасно стараясь запить виномъ ужасный вкусъ болгарскаго лакомства. Трижды правъ былъ варненскій докторъ: здѣсь всюду и все пахнетъ бараномъ. Представьте себѣ сладкое слоеное тѣсто, сваренное въ овечьемъ салтѣ... Ахъ, салыныя свѣчи, ѣдоками которыхъ изображали насъ, русскихъ варваровъ, старинные европейскіе путешественники, — и тѣ, надо надѣяться, не пахнутъ хуже и не поганѣе на вкусъ! Вещи увязаны, фэатонъ устланъ одѣялами, бубенцы звенять... трогай!

Катимся долиною Лома. Южно-русскій пейзажъ — тѣ же мазанныя хатки на кособорѣ, тѣ же неглубокія и сырыя балки, та же цвѣтущая степь машетъ на десятки верстъ кругозора мохнатымъ ковылемъ и дышетъ ароматомъ свѣжаго сѣна. Сѣрая лента дороги безлюдна. Изрѣдка обгоняемъ тяжелую телѣгу на скрипучихъ, деревянныхъ восьмиугольникахъ, вмѣсто колесъ: это — и тормазъ, и колесо вмѣстѣ. Медленно волокутъ допотопный экипажъ безобразные черные буйволы, — въ нихъ есть что-то допотопное; еще медленнѣе шагаетъ вслѣдъ длинноусый шопъ — въ бѣлой свиткѣ, покроя, какой можно видѣть на иконахъ святыхъ южно-русскихъ князей до татарщины, да и то писанныхъ только Васнецовымъ либо Нестеровымъ, подъ редакціей Адріана Прахова.

Тяжело и важно выступаетъ шопъ по пыли въ своихъ опанкахъ, положи на плечо длинный кривой дрюкъ; за нимъ плетется собака — кровь предка, степного волка, ярко сказывается въ породѣ. Говорятъ, будто между собакой и ея хозяиномъ всегда есть сходство. То-есть, — «покажите мнѣ, какова собака, и я скажу, каковъ хозяинъ». Шопъ и его собака-волкъ вполне оправдываютъ эту примѣту: одинаково дикій, и пугливый, и хищный взглядъ; осторожная,

но сильная и широкая походка; въ осанкѣ сказывается привычка къ частой опасности — и оглядчивая боязнь нападенія, и готовность крѣпко и храбро защищаться. Даже въ глубинѣ Кавказа, у сванетовъ, пшавовъ, хевсуровъ — я не встрѣчалъ болѣе типичныхъ полудикарей, чѣмъ шопы, съ ихъ мощными скулами, глазами, косо ушедшими подъ крутые лбы, полными и звѣриной простоты, и звѣринаго коварства: рабочій волъ и лисица — одинаково смотрять изъ этихъ глазъ. На иныхъ телѣгахъ сидѣли женщины; облаченные почти до пояса, онѣ кормили своихъ голыхъ ребятишекъ и, не стыдась проѣзжающихъ, молча глядѣли на фэтонъ, не выражая ни любопытства, ни оживленія; тупой коровій взглядъ, — даже не разобрать, видитъ васъ шопка или, въ своемъ животномъ лунатизмѣ, она за тридцать земель, въ тридесятomъ царствѣ. Меня поразила чистота, соблюдаемая шопами въ одеждѣ: они всѣ въ бѣломъ, бѣлую одежду труднѣе всего сохранить въ свѣжести, въ хатахъ шоповъ тѣсно, грязно, душно, а на свиткахъ и рубахахъ, между тѣмъ, ни пятнышка. Какъ они ухитряются выходить чистыми изъ грязи, — Богъ ихъ знаетъ. Костюмъ шопки напоминаетъ малороссійскій, только въ еще болѣе упрощеніи, хотя, казалось бы, упрощать уже и нечего: черевички, цвѣточный вѣпокъ, короткая бѣлоснѣжная рубаха, надѣтая прямо на голое тѣло, плахта... и конецъ. Шопки некрасивы, но производятъ впечатлѣніе рѣдкостнаго здоровья и большой физической силы. Хорошія, выносливыя и нетребовательныя работники.

Облака пыли встаютъ слѣдомъ за тяжелыми возами шоповъ, и долго слышится ихъ, понемногу затихающій, скрипъ... «Заскрипѣли телѣги половецкія, рцы лебеди распущени», — вспоминается старое сравненіе изъ «Слова о полку Игоревѣ». Кто-то изъ старыхъ кочевыхъ враговъ удѣльной Руси, не то печенѣги, не то половцы, а, можетъ-быть, и тѣ и другіе приходятся предками шопамъ. Много азіатской крови въ болгарскихъ жилахъ. Какихъ только наше-

ствій не претерпѣло это злополучнѣйшее изъ славянскихъ племенъ, начиная съ тюркской орды Аспаруха, основателя Болгаріи, и кончая черкесскими шайками семидесятихъ годовъ. Авары, мадьяры, печенѣги, половцы, татары, турки—вихремъ носились отъ Дуная до Балканъ, всѣ оставляя хоть маленькій слѣдъ въ тысячелѣтней исторіи несчастнаго народа. Въ Добруджѣ, близъ Варны, живутъ какіе то гагоузы—христіане, говорящіе, однако, по-турецки... Откуда взялся этотъ народъ,—историческая загадка; чехъ Иречекъ, историкъ болгарской національности, считаетъ ихъ выродившимися потомками половцевъ-кумановъ.

V.

Путь однообразенъ; дорога—какъ скатерть. Цвѣты да крики орловъ подъ блѣдно-голубыми небесами, съ островами бѣлыхъ облаковъ... только и впечатлѣній въ цвѣтущей пустынѣ. Укачало... сплю... Тряхнуло фаэтонъ — открываю глаза: какъ тучи, плывутъ навстрѣчу горы, купая зелень своихъ лѣсовъ въ голубомъ туманѣ,—это Балканъ! Горы кажутся близкими, а между тѣмъ мы цѣлый день мчимся къ нимъ и, какъ-будто, не можемъ сократить разстоянія; мы къ нимъ, а онѣ отъ насъ. Наконецъ, въ Берковцахъ подпустили къ себѣ. Съ тяжелымъ грохотомъ тянется въ гору артиллерійскій обозъ; сходство офицера и солдатъ въ лѣтней формѣ съ русскими поразительно; кабы не горы на горизонтѣ—легко вообразить себя близъ лагерей, подъ Петербургомъ или Москвою... Такъ и хочется спросить:

— Служивые! Какъ васъ сюда занесло?!

Жаль лошадей: трудно имъ взбираться по песчаной, сыпучей дорогѣ на крутое предгорье...

Эка денекъ!
Эка жара,
Эка песокъ,
Эка гора!..

Вылѣзаемъ изъ экипажей, идемъ пѣшкомъ среди благоухающихъ роцѣ. Онѣ становятся все гуще и прекраснѣе, чѣмъ выше. Цѣлое море алаго шиповника; подѣ кустами — колокольцы, фіалки, незабудки, гвоздики... Пьешь воздухъ, а не дышешь имъ!

Догнали какихъ-то путниковъ, направлявшихся тоже изъ Лома въ Софію. Оказались весьма подозрительными господами. Выдавали себя за эмигрантовъ, возвращающихся на родину, по случаю паденія Стамбулова, но весьма смахивали на шпионовъ. Одинъ изъ нихъ былъ верхомъ. Его малорослый, но крѣпкій и бойкій молодой конекъ расковался. Поднялась суматоха: конекъ крутился, какъ волчокъ, не имѣя ни малѣйшаго желанія сдаться ловившимъ его кузнецамъ. Лазарь, кучеръ моихъ спутниковъ, веселый малый, всю дорогу потѣшавшій насъ дикими пѣснями, приходитъ въ страшную агитацію, кулемъ сваливается съ козель и становится самымъ дѣятельнымъ охотникомъ въ облавѣ на перепуганнаго и озленнаго коня. Послѣдній, между тѣмъ, прыгаетъ, какъ сумасшедшій: кровавые глаза — вкось, поздри трепещутъ, кожа дрожить, точно подѣ нею ртуть перекачивается, а копыта такъ и сверкаютъ въ воздухѣ. Не довольствуясь обыкновенными способами ловли, Лазарь изобрѣтаетъ свой собственный — новый, но нельзя сказать, чтобы очень остроумный. Пристѣлъ сзади коня на корточки и норовитъ опутать ему веревкой ноги. Ноздревъ ловилъ зайцевъ за заднія лапы, не знаю, удалось ли бы ему такое молодечество съ лошадыю: похоже, что лошади этого не любятъ. Трижды взвились копыта, раздалось три глухихъ удара, словно валькомъ по мягкому бѣлью... Конекъ помчался въ пространство, а на землѣ осталось безчувственное тѣло Лазаря, безпомощно свернутое въ клубочекъ. Мы переглянулись, блѣднѣя:

— Готово!. Покойникъ!..

Однако, отдышался, хотя... не думаю, чтобы надолго: удары пришились бѣднягѣ въ грудь и животъ; такіе страш-

ные подарки не проходят даромъ. Когда на другой день въ Софіи Лазарь прощался со мною, его исхудалое лицо съ заостреннымъ носомъ, его лихорадочные пожелтѣлые глаза показались мнѣ призракомъ неизбѣжной и близкой чахотки.

— Какъ тебя угораздило подвернуться подъ копыта?

— Бѣсъ попуталъ.

— На бѣса мы всѣ гораздо бѣду валить. А кто просилъ соваться? Точно безъ тебя не поймали бы коня?

— Нельзя. Ковачъ—мой другарь.

— А, это дѣло другое,—хоромъ согласились спутники-болгары.—Другарство—дѣло великое. Хочешь не хочешь, а другарю ступай помогать. Другарствомъ люди живутъ и земля стоитъ.

Кое-какъ отпоили Лазаря виномъ и водкой настолько, чтобы онъ могъ доѣхать до Клиссуры, гдѣ предполагалась ночевка. Говорятъ, что цинцары, содержащіе ханы по всѣмъ шляхамъ Болгаріи, жадны, корыстолюбивы, не стыдятся обобрать и мертвого. Однако хозяинъ хана, гдѣ приключился несчастный случай съ Лазаремъ, наотрѣзъ отказался отъ платы за издержанныя на раненаго вино, водку и масло для растиранія. Цинцары—насмѣшливая кличка, обратившаяся въ названіе страннаго племени, разсѣяннаго по Болгаріи: это—древнѣйшіе ея обитатели, македонскіе румыны, прямые потомки романированныхъ оракійскихъ племенъ, погибшихъ въ послѣдствіи подъ натискомъ славянъ. Совершенно оболгарившись, цинцары однако сохранили румынскую рѣчь для своего домашняго обихода. Пишутъ же они и счета ведутъ по-гречески, что и между болгарскими стариками не рѣдкость: вѣдь націонализація болгарскаго народнаго просвѣщенія—дѣло всего двадцати лѣтъ.

Цинцары народъ промышленный, предприимчивый, смысленый, ловкій; въ краѣ они играютъ такую же роль, какъ въ Польшѣ и въ юго-западныхъ губерніяхъ Россіи—

евреи. Одинаковость профессій выработала и сходство характера и приемовъ. Цинцарь такъ же навязчивъ и необидчивъ, какъ жидки-факторы захолустныхъ мѣстечекъ; такъ же, какъ они, онъ—необходимость для края, особенно для высшаго класса, работою на который онъ живетъ. Закажите цинцару, что угодно,—хоть птичье молоко,—онъ найдетъ. А, если не найдетъ, принесетъ какое-нибудь самодѣльное мѣсиво и храбро объявить:

— Вотъ самое настоящее птичье молоко, какъ вы желали, и пусть кто другой достанетъ вамъ за такую дешевую цѣну!

И, если заказчикъ, разозлившись на нахальство цинцара, сгоряча выплеснетъ ему «птичье молоко» въ лицо, цинцарь, не смущаясь и не обижаясь, оботрется и сумѣетъ-таки въ концѣ концовъ выпросить за свое мѣсиво левъ-другой.

При всемъ томъ цинцары, какъ, впрочемъ, и наши юго-западные еврейчики, не воры. Притомъ, и не трусы. Народъ красивый; романскія фizioноміи цинцаровъ рѣзко выдѣляются въ болгарской толпѣ. По общности жизни и образа дѣйствій, иные принимаютъ цинцаровъ за обогаренныхъ румынскихъ евреевъ, но Иречекъ объяснилъ ихъ римское происхожденіе. Въ огромномъ большинствѣ, они—христиане; есть и магометане. Иречекъ указываетъ на послѣднихъ, какъ на единственное латинское племя, покоренное Исламомъ. Слово «цинцарь» —искаженное румынское «zapzago», комарь. По шерсти кличка.

Добрались до Клиссуры—ущелья, служащаго сѣверными воротами въ Старую Планину. Солнце было уже за горами, а небо блестѣло еще полными серебрянаго свѣта облаками. Балконъ гостиницы повисъ надъ пропастью: глянешь внизъ,—лѣстница черныхъ, обросшихъ мохомъ камней, а по нимъ, съ грохотомъ, прыгаетъ полоса живого серебра; окрестныя скалы прислушиваются къ реву потока и двоятъ его, троятъ... Все кругомъ полно голосами ве-

сelyхъ водяныхъ духовъ, рѣзво кувyркающyхся вмѣстѣ съ пѣною каскада въ черную бездну, навстрѣчу медленно ползущимъ вверхъ туманамъ.

— Какъ зовутъ рѣку?

— А кто ее знаетъ? Зовутъ по мѣстечку...

— Рѣзва, Рѣзва зовутъ,—вертя сильными плечами, вмѣшиваясь въ бесѣду служанка, красивая и проворная Пѣнка, по смѣлости глазъ и рѣчей не похожая на болгарку; онѣ всѣ такія смирныя и застѣпчивыя.

Разговорились. Оказывается, — воспитанница матери Скобелева, такъ трагически погибшей подъ разбойничьимъ ножомъ. Скобелева воспитывала въ Одессѣ нѣсколькихъ болгарскихъ дѣвочекъ; когда Узатисъ зарѣзалъ свою и ихъ благодѣтельница, за болгарочекъ стало некому платить, и, отосланныя на родину, онѣ возвратились къ пенатамъ своимъ и снова одичали... А, впрочемъ, люди свѣдущіе, хотя и безправственные, увѣряли меня, будто слытъ «скобелевскою воспитанницею» — это своеобразная мода болгарскаго полусвѣта; изъ десяти дѣвицъ легкаго поведенія девять готовы божиться, что генеральша Скобелева воспитывала ихъ въ Одессѣ, но злодѣй Узатисъ фатально закрылъ для нихъ честныя русскія перспективы и заставилъ ихъ свернуть съ пути добродѣтели на стезю порока. Но въ горной глухой Кліссурѣ нѣтъ полусвѣта, нѣтъ его модъ, и я охотно вѣрю красной Пѣнкѣ и протягиваю ей стаканъ, полный чернымъ виномъ:

— На вѣчную память бѣлаго генерала!

Рѣзва — не отвѣтъ. Рѣзва значитъ Скорая, Быстрая — скорѣе парицательное, чѣмъ собственное имя чуть не каждой горной рѣчки. Все равно, какъ въ Грузіи. Спросишь:

— Раквіанъ цкаро? Какъ звать ручей?

— Чкери, батона! Быстрый, баринъ.

Хоть померамъ ихъ помѣчай: быстрый первый, быстрый второй и такъ далѣе до безконечности.

— Знаете ли вы, что мы уже на двѣ тысячи футовъ

надъ уровнемъ моря?—спрашиваютъ меня,—а полѣземъ еще выше, много выше... вонъ куда!

Зеленая зубчатая стѣна Балкана не смотритъ сердитою. Кудрявая растительность одѣваетъ ее отъ подошвы до маковки и смягчаетъ впечатлѣніе строгаго величія горныхъ громадъ. Врѣзанное въ нихъ ущелье смотритъ весело подъ радугой, раскинутой на прощанье уходящимъ спать солнцемъ. Пейзажъ дикій, но не мрачный. Это не полная сверхъестественнаго ужаса скалы Дарьяла, гдѣ тучи спятъ на голыхъ камняхъ, а безустанный вихрь крутитъ надъ бѣшеной рѣкой легіоны проклятыхъ дьяволовъ, оглушающихъ путника воплями, стонами, проклятіями, хохотомъ и плачемъ... Дарьялъ—застылый хаосъ: не то остатки разрушеннаго міра, не то—остовъ міра недостроеннаго. Въ немъ жутко. Отовсюду глядитъ на путника неподвижными холодными глазами стихійная творческая сила—враждебная, злая, презрительная:—Зачѣмъ ты здѣсь? Кто тебя звалъ? Уходи, пока цѣль, жалкій муравей! Ты способенъ только ползати по ступенямъ скаль-лѣстницъ, воздвигнутыхъ мною для вѣчныхъ духовъ, съ громомъ и молніями летающихъ по вершинамъ, въ непроглядномъ мракѣ грозowychъ тучъ... Я не поклонникъ А. Г. Рубинштейна, какъ опернаго композитора, по нельзя не сознаться, что въ первыхъ тактахъ вступленія къ «Демону» ему хорошо удалось выразить грозное настроеніе, какимъ наполняетъ душу Дарьялъ. Это тѣмъ страннѣе, что Рубинштейнъ писалъ Демона, еще не видавъ Кавказа. Онъ пріѣхалъ познакомиться съ Кавказомъ уже послѣ того, какъ написалъ кавказскую оперу. Клисурскій Балканъ—совсѣмъ не то. Налюбовавшись его зубцами, вы спокойно ложитесь спать въ чистенькой гостиницѣ, а онъ добродушно заглядываетъ къ вамъ въ окно и—будто шепчетъ:

— Спи. Будь гостемъ. Я люблю людей и не даю ихъ въ обиду. Спи! Вотъ тебѣ теплый вѣтеръ въ окно. Слышишь, какъ шумятъ водопады? Слушай ихъ сказки.

Онѣ навѣютъ тебѣ волшебныя грезы о вилахъ, живущихъ въ моихъ ущельяхъ... Съ первымъ свѣтомъ, онѣ полетятъ купаться въ румяномъ заревомъ туманѣ...

Вокругъ тебя станутъ играть и летать,
Играя, летая, тебя усыплять...

Старикъ, впрочемъ, только нахвасталъ. Никакихъ виль ко мнѣ не прилетѣло, если не считать проклятой Пѣнки, которая, въ пятомъ часу утра, ворвалась будить меня въ дорогу съ такимъ воплемъ, что и впрямь — даже вила, невзначай раненая Маркомъ Кралевичемъ, врядъ ли кричала громче.

Клиссуря сіяла утромъ. Она напоминала мнѣ Котерэ, воспѣтый Генрихомъ Гейне въ первыхъ стихахъ Атта-Траля:

„Межъ зелеными горами,
Что стремятся гордо къ небу,
Шумомъ дикихъ водопадовъ
Убаюканъ, спитъ въ долинѣ
Эlegantный Котерэ.
Вѣлыхъ домиковъ балконы,
А на нихъ стоять...

болгарки въ пестрыхъ вѣнкахъ изъ горныхъ цвѣтовъ и готовятъ форель памъ на завтракъ... или ужъ, право, не знаю, какъ назвать эту ѣду ни свѣтъ, ни заря. Клиссурская форель — я забылъ ея мѣстное названіе — славится по всей Болгаріи. Крупная, веселая рыбка, въ бархатной, испещренной пятнышками одеждѣ. Изъ нея должна выходить отличная уха, но... хорошо, что я еще не дошелъ до гастрономическаго возраста! Истый гурманъ пришелъ бы въ неистовство отъ грубаго жарева, въ какое превращаютъ пѣжную форель невзыскательные болгары. Есть народный анекдотъ. Одесскій грекъ увидалъ однажды, какъ русскій несетъ чудесную рыбу.

— Что ты будешь дѣлать съ этой рыбой?

— Съѣмъ ее.

— Какъ же ты ее приготовишь?

— Извѣстно. какъ: сварю, да съѣмъ.

При такомъ невѣжественномъ отвѣтѣ, грекъ повалился на-земь, какъ подкошенный, въ глубокомъ обморокѣ. Сбѣжались другіе греки и набросились на изумленного москаля:

— Что ты сдѣлалъ съ нашимъ товарищемъ?

— Ничего я ему не дѣлалъ; онъ меня спросилъ, какъ я намѣренъ готовить эту рыбу; я сказалъ: сварю, да съѣмъ; а онъ повалился и сталъ умирать.

— Ай-ай-ай! — закачали головами греки, — какъ же можно говорить такія неосторожныя слова, когда дѣло идетъ о такой прекрасной рыбѣ? Чувствительный человѣкъ можетъ отъ этого не только упасть въ обморокъ, но и умереть.

И, присѣвъ на корточки вокругъ безчувственного гастронома, они припались расписывать ему на ухо, какой соусъ русскій приготовить къ чудесной рыбѣ, сколько будетъ положено маслинъ, капорцевъ, пикулей, томата...

— Перчику, перчику не забудь, — простоналъ горемыка и очнулся.

Клиссурскаго способа приготовленія форели вполне достаточно, чтобы уморить цѣлый отрядъ греческихъ сластолюбцевъ.

VI.

Блѣдно-голубое утро; небо трепещетъ нѣжными, дѣвственными тонами; горы, еще не озаренныя солнцемъ, лѣниво просыпаются, зѣвая черными пастями лѣсистыхъ ущелій; плывутъ туманы; по лысынамъ дальнихъ вершинъ бѣгаютъ румяные зайчики... свѣжо и сыро въ воздухѣ, бодро на душѣ.

Четверня отдохнувшихъ за ночь коней мчитъ меня изъ Клиссуры въ разинутое ущелье къ Петроханскому перевалу. Красивая Пѣнка что-то кричитъ вслѣдъ съ крыльца

гостиницы... Обернулся, но не успеваю ничего разоб-
брать. Пѣнка исчезаетъ за облакомъ пыли, оставляя въ
моей памяти смутный, но прекрасный образъ, въ которомъ
все—улыбка: заспанное личико, бойкіе каріе глазки, ямочки
на щекахъ, ямочки на подбородкѣ, ямочки на локтяхъ...
Addio, mia bella, addio!

И вотъ наконецъ она—священная глушь и тишь Ста-
рой Планины, неприступныя тущобы Балкана, за кото-
рыя еще такъ недавно гайдуки спорили съ волками и мед-
вѣдями. Конямъ трудно. Они шагаютъ мѣрно и медленно,
и бубенцы ихъ тихо и таинственно позвякиваютъ въ зеле-
номъ святилищѣ природы... Тонкія пленки тумана колеб-
лятся на горныхъ скатахъ, подъ ногами—милліоны брил-
ліантовъ, яхонтовъ, изумрудовъ, зажженныхъ первымъ лу-
чомъ солнца, выплывающаго изъ-за голаго гребня, въ
росѣ на цвѣтахъ. Какія краски! какіе запахи! какой хоръ
птицъ!..

Я вышелъ изъ экипажа и побрелъ пѣшкомъ, прыгая
черезъ сердитые, да не сильные ручьи, пробираясь сквозь
цѣпкій орѣшникъ; вѣтки брызгали мнѣ въ лицо водою,
сверкавшей, какъ огонь, и освѣжавшей, какъ ледъ... Нога
вязла въ коврѣ изъ царскихъ кудрей, башмачковъ, ногот-
ковъ, незабудокъ. Такую пышную цвѣточную растительность
я видалъ раньше только по горнымъ ручьямъ Грузіи. Часть
Старой Планины отъ Клиссуръ до Петрохана вообще на-
поминаетъ Млетскую долину и ущелье Пасапура: тѣ же
краски курчавыхъ опушекъ, та же ласковость тоновъ зе-
лени, разнообразныхъ, но гармоничныхъ.

Только—лѣсъ не тотъ. Чѣмъ дальше углубляешься въ
Балканъ, тѣмъ меньше кудрявыхъ кустарниковъ на горахъ,
тогда какъ въ Грузіи они заростили всю Карталинію. Ихъ
смѣняетъ высокій могучій мачтовикъ—дубы, буки, ясень,
вязъ, клѣнъ, платаны: дерево—къ дереву, одно красивѣе и
стройнѣе другого. Время отъ времени попадаются лѣсо-
пилки—первобытнаго устройства, зато очень живописныя,

съ длинными деревянными водопроводами, брызжущими изъ трубъ яркіе фонтаны жидкаго серебра.

Это—преимущества пейзажа Старой Планины предъ пейзажемъ Грузіи. Но здѣсь нѣтъ главной прелести Закавказья: его удивительнаго неба, безмолвно прославляющаго Бога своею глубокою и радостною синевою; здѣсь нѣтъ Арагвы, царицы горныхъ рѣкъ, съ ея капризнымъ ропотомъ и лепетомъ, переходящимъ то въ плачь, то въ смѣхъ, то въ болтовню, то въ хныканье. Кто не жилъ у Арагвы, тотъ и вообразить не можетъ, какъ краснорѣчива вода, сколько она знаетъ и умѣетъ разсказать, когда одиноко призадумался надъ нею въ жаркій полдень или на закатѣ солнца... Заря умираетъ, пѣна волнъ кипитъ красною кровью, а Арагва поетъ и поетъ...

Здѣсь—много «сѣвернѣ». Похоже на Штирію, Каринтію, преобладаютъ зеленые тона. Нѣтъ страсти въ пейзажѣ, зато — много стыдливой, дѣвственной свѣжести. Я шелъ и воображалъ легенду о добромъ королѣ Гунтрамѣ, какъ именно въ такое утро и въ такомъ горномъ лѣсу онъ встрѣтилъ юную дріаду, которая стала его женою и породила его съ древними богами.

Выше! выше!—вдоль зеленыхъ отвѣсовъ, кудрявыхъ крѣпколистымъ дубнякомъ... Немножко кружится голова. Какъ, однако, столичная жизнь портитъ человѣка! Давно ли я взбирался на Казбекъ до одиннадцати тысячъ футовъ надъ уровнемъ моря, ползалъ по чертовымъ тропинкамъ Куросцери, гдѣ иной разъ, вися надъ бездною, приходилось довѣряться больше рукамъ, чѣмъ ногамъ, храбро прыгалъ съ камня на камень по кипящимъ горнымъ рѣченкамъ Кавказа? Кипучая и нервная городская жизнь отстранила отъ природы и внушила ей бояться. Вотъ тебѣ зато — и головкруженіе!

Мои спутники не обращаютъ вниманія ни на зеленныя горы, ни на дѣвственную прелесть стыдливаго утра, ни на птицъ, ни на потоки. «Не обращаютъ» не въ томъ смыслѣ,

что не выражаютъ восхищенія вслухъ, — это-то слава Богу! Нѣтъ ничего тошнотворнѣе громкихъ восторговъ предъ природой, какими, среди туристовъ, щеголяютъ по преимуществу нѣмцы — изъ мужчинъ и англичанки — изъ женщинъ. Нѣтъ, — мои спутники просто *не замѣчаютъ* своей природы и проходятъ мимо чудесъ мірозданія, точно мимо кирпичнаго склада — не удостоивая ихъ ни однимъ взглядомъ. Думаю: свыклись съ пейзажемъ, приглядѣлся онъ имъ слишкомъ. Спросилъ: нѣтъ; одинъ дѣлаетъ эту дорогу впервые въ жизни, другой — во второй разъ. До того, чтобы свыкнуться или приглядѣться, значить, очень далеко. Просто, — какъ замѣчалъ я не разъ и впоследствии, — въ болгарской натурѣ нѣтъ эстетической жилки или; по крайней мѣрѣ, очень ужъ слабо она бьется. Болгаре заѣдены политикой и политиканствомъ. Мои спутники всю дорогу чуть не дрались между собою изъ-за Каравелова. Король Гунтрамъ улетѣлъ изъ моихъ мыслей, спугнутый именемъ Стамбулова, съ аккомпаниментомъ всѣхъ ругательствъ, какія существуютъ на болгарскомъ языкѣ. А послѣдній въ этомъ отношеніи много богаче русскаго. По-болгарски можно такъ выругаться, что послѣ того самый грубый русскій извозчикъ будетъ три дня краснѣть, какъ дѣвушка, при одномъ воспоминаніи. Однако, и болгары, и турки, и даже итальянцы — невинныя дѣти сравнительно съ греками: брань этихъ послѣднихъ особенно гнусна тѣмъ, что крайній цинизмъ ея уступаетъ лишь ея же крайнему богохульству.

Въ Петроханѣ, тычкомъ торчацій на безлѣсной вершинѣ, пріѣхали голодные и холодные. Набросились на захваченныя изъ Клиссуры форели. Не ѣдимъ, пожираемъ. Тотъ, у кого въ рукахъ остался только хвостикъ, съ жадною завистью смотритъ на тѣхъ, кто еще принимается за головку.

— Пейте вино, пейте вино! — поощрялъ цинцарь. — Теперъ лѣсъ кончился, холодно будетъ... Много надо вина!..

Дѣйствительно, не успѣли выбраться изъ Петрохана, какъ изъ cadaго ущелья лысыхъ горъ стало насъ обдавать ледянымъ дыханіемъ далекихъ снѣговъ — точно изъ крещенской проруби. Сперва натянулъ на плечи легкое пальто, потомъ — осеннее, потомъ пожалѣлъ, что не захватилъ съ собою шубы... Это въ іюнѣ-то мѣсяцѣ!

Скоро, однако, пришлось согрѣться — поневолѣ. На крутомъ довольно спускѣ я замѣтилъ, что аллюръ моего фэтона странно ускоряется. По части лошадей я невиненъ, какъ младенецъ: ровно ничего въ нихъ не понимаю; когда я пробовалъ быть всадникомъ, то не я управлялъ лошадыю, а лошадь управляла мною. Помню одну, которая систематически сбрасывала меня на песокъ и потомъ, погарцовавъ вокругъ меня малую толику, начинала меня не безъ любопытства обнюхивать: чтѣ молъ это за человѣкъ? Зачѣмъ онъ, собственно, на меня взбирался и почему, разъ взобравшись, не усидѣлъ на мнѣ, а лежить на землѣ, охаетъ и ругается? Привыкнувъ быть жертвой лошадиной тираніи, я и теперь рѣшилъ, что — разъ лошади скачутъ, значить, и надо скакать, значить, имъ такъ нравится... Однако, скокъ становился все безпорядочнѣе и неистовѣе; фэтонъ швыряло изъ стороны въ сторону. Ямщикъ принялся вопить, какъ зарѣзанный. Ага! стало быть, неблагополучно! Стало быть, лошади несутъ! Раньше меня никогда лошади не носили и я рѣшительно не зналъ, что дѣлать предписываетъ въ этомъ случаѣ сѣдоку кодексъ благоразумія.

— Прыгайте, прыгайте! слышалъ я крики позади себя изъ другихъ фэтоновъ.

Однако, прыгать я не имѣлъ ни малѣйшаго желанія, имѣя слабость дорожить членами своего тѣла и ничуть не стремясь разбить ихъ о камни балканскаго шоссе. Кучеръ, продолжая голосить, выпустилъ изъ рукъ возжи и сталъ валиться съ козелъ... Какъ я успѣлъ перехватить возжи, какъ ухитрился осадить лошадей — право, не помню. Знаю

только, что была секунда, когда я ничего не видалъ, а когда снова все увидѣлъ,—то я стоялъ въ фэзтонѣ, и въ рукахъ моихъ дрожали натянутыя, какъ струны возжи. У присмирѣвшаго коренника была морда въ крови, а я чувствовалъ боль въ груди, въ спинѣ, въ рукахъ и страшную усталость во всемъ тѣлѣ, точно меня палками избили. Болѣла спина, тѣснило въ груди. Къ вечеру мои руки вспухли, какъ бревна, недѣли двѣ я не могъ отдѣлаться отъ послѣдствій этого непомѣрнаго напряженія...

Дальше уже не было никакихъ приключеній—если не считать ометѣ на овечьемъ салѣ, испеченный на какой-то станціи однимъ изъ спутниковъ, сербомъ-рестораторомъ изъ Клиссуры... Вотъ ужъ сочеталъ-то несочетаемое! Брилья де Саваренъ перевернулся въ гробу, когда изумительное кушанье появилось на столѣ, а мы зажали носы. Это кулинарное злодѣйство было продѣлано изъ рыцарскаго желанія угодить догнавшимъ насъ въ пути дамамъ—матери съ дочерью; онѣ тоже ѣхали въ Софію.

По-польски кушанье—«потрава»; я впервые попалъ глубокой смыслъ этимологіи этого слова, когда увидалъ отчаянныя лица бѣдняжекъ, принужденныхъ проглотить стряпню наивнаго ухаживателя. Мать была русская, но уже лѣтъ пятнадцать изъ Россіи, замужемъ за болгарскимъ офицеромъ. Болгаръ ненавидѣла, надъ Болгаріей смѣялась, а дочь ея, между тѣмъ, не знала ни слова по-русски. Совсѣмъ російскій патріотизмъ: ругать чужое, не уча своему!

Лысыя горы переходятъ въ лысые холмы, лысые холмы—въ лысую равнину. Совсѣмъ—какъ будто отъ Мцхета ѣдешь въ Тифлисъ. Такая же скука, даже еще хуже!.. Вдали щетинится крутымъ горбомъ огромная гора—тоже на видъ совсѣмъ тифлисскій Св. Давидъ, а подъ нею бѣлѣютъ, какъ овцы, бѣлые домики... Гора—Витуша, домики—городъ Софія. Вотъ я и уцѣли...

**Продолженіємъ служитъ статья «Софійское Житье-Бытье» въ
моей книгѣ «Недавніе Люди» (1902).**

Софійскія впечатлѣнія 1901 года.

**О покойной княгинѣ Маріи Луизѣ. — Князь Фердинандъ.—
Разговоръ съ Борисомъ Сарафовымъ.**



I.

Вотъ уже третій день я въ Софіи, подъ сѣнью Витушской горы, еще снѣжной и грозной. Но снѣга и морозы—высоко наверху, а внизу гуляемъ безъ пальто, въ лѣтнихъ пиджакахъ, да въ полуденную сіэсту и тѣ рады снять. Софія мало измѣнилась за пять лѣтъ, что я ея не видалъ. Экономическій кризисъ, переживаемый городомъ съ 1893 года, конечно, мало содѣйствовалъ его украшенію. Колоссальная ломка, совершенная въ кметство извѣстнаго стамбуловца Петкова, съ цѣлью сразу превратить старый Срѣдецъ въ европейскую Софію, разорила мѣстныхъ торговцевъ, обрушившись на нихъ тяжелою квартирною повинностью, которой не знали лавковладѣльцы стараго города, въ простотѣ чувствъ своихъ превосходно уживавшіеся въ грошовыхъ мазанкахъ. Мазанки эти давнымъ-давно исчезли съ лица земли, площадь изъ-подъ нихъ подверглась отчужденію, — выросли европейскія улицы, за право ютиться на которыхъ софійскій купецъ долженъ платить бѣшенныя деньги. За весьма дрянное помѣщеніе магазина, въ два окна, платять здѣсь 1500 — 2000 левовъ въ годъ. Между тѣмъ, потребитель софійской торговли если не количественно, то качественно остался тотъ же, что и въ восьмидесятихъ годахъ: небогатое офицерство и чиновничество, живущее скромными жалованьями. Это — покупательская среда какой-нибудь нашей Смѣлы, Шполы, Умани, Бѣлой Церкви. Да и торговый элементъ Софіи схожъ съ тор-

говымъ элементомъ русскихъ юго-западныхъ мѣстечекъ, хотя болгары больше купцы, чѣмъ хохлики, и половина лавокъ здѣсь — болгарская. Другая половина подѣлена евреями и цинцарами. Словомъ, ни покупатели, ни продавцы, ни характеръ торговли особеннаго великолѣпія не требуютъ, и, я полагаю, купцы были бы предовольны, если бы изъ дорогихъ съ зеркальными окнами магазиновъ ихъ перевели обратно въ старую «чарджію» — грязную, но дешевую.

Людностью Софія выросла весьма значительно. Со времени русской оккупации здѣсь было четыре переписи: первая, въ 1880 году, дала цифру всего въ 20,501 жителей, послѣдняя, въ 1900 году, дала ихъ 67,920; такимъ образомъ Софія на 8,000 жителей опередила даже Бѣлградъ, чѣмъ болгары, разумѣется, весьма горды и утѣшены, хотя скептики изъ нихъ и прибавляютъ:

— Народу-то много, да ѣсть ему нечего.

Городское самоуправленіе въ Болгаріи и въ Софіи, какъ главномъ ея политическомъ центрѣ, въ особенности, — мало сказать: тормозится, но прямо губится давленіемъ, какое оказываетъ на него неустойчивость высшихъ правительственныхъ властей, съ опереточно-быстрыми смѣнами министерствъ. Кметъ, т.-е. городской голова гор. Софіи, — лицо не только общественное, но и политическое. По этому каждое министерство, становясь у кормила власти, спѣшитъ отстранить кмета, избраннаго во время торжества прежняго правительства, и — впредь до новыхъ выборовъ — замѣняетъ его трехчленнымъ временнымъ совѣтомъ по городскимъ дѣламъ, назначаемымъ, конечно, изъ своихъ людей. Поэтому всѣ софійскіе кметы чувствуютъ себя на почетной должности своей калифами на часъ, и — «суждены имъ благіе порывы, но свершить ничего не дано». Изъ безчисленныхъ кметовъ, перемѣнившихся въ болгарской столицѣ за недолговѣчную исторію ея самоуправления, съ наибольшою похвалою отзываются обыватели о Д. М.

Яблонскомъ. Сейчасъ Софія опять безъ головы, и бодрствуетъ надъ нею церберъ трехчленнаго совѣта, весьма часто мѣняющаго свой персоналъ.

Безденежье городской кассы сказывается наглядно полнымъ отсутствіемъ общественнаго строительства въ Софіи, особенно замѣтнымъ въ виду того, что во времена оны было начато стройкою много прекрасныхъ зданій, пребывающихъ, однако, и по-сейчасъ, если не въ видѣ кирпичныхъ и бутовыхъ грудъ, беспорядочно сваленныхъ на землѣ, то—и это въ лучшемъ случаѣ—въ видѣ фундаментовъ, уныло торчащихъ надъ землей, какъ бы въ недоумѣніи: когда же насъ надстроятъ? Въ минуты политическихъ удачъ и счастья, хотя бы миражнаго, нашимъ братьямъ-славянамъ въ весьма значительной степени свойственно впадать въ *mania grandiosa* и удивлять міръ злодѣйствомъ созидательнаго воображенія. Софія раскинута сейчасъ на площади, которая, — даже если допустить, что населеніе столицы будетъ расти непрерывно все съ тою же американскою быстротою, — придется по мѣркѣ истиннымъ потребностямъ города развѣ лѣтъ черезъ пятьдесятъ. Понятно, при условіяхъ такой разбросанности, городское хозяйство — да еще столь ограниченное въ средствахъ — безсильно услѣдить даже за чистотою столицы, и лишь три-четыре квартала ея сносны въ этомъ отношеніи. Остальные напоминаютъ окраину захолустнаго губернскаго города, а многіе — увы! до сихъ поръ!—все та же турецкая грязь.

Городъ съ населеніемъ менѣе 75,000 человекъ окружаетъ себя паркомъ, который, когда разростется, будетъ предметомъ зависти для столицъ съ сотнями тысячъ жителей. Но — вотъ вопросъ: хватитъ ли у софійцевъ средствъ вырастить этотъ свой Булонскій Лѣсъ, эти Острова, затѣянные такъ широко? Поросли и разсады софійской Градины княжича Бориса распланированы по огромной площади, упирающейся въ предхолмья Витуши. Но выполненіе этой бумажной планировки и засталъ едва ли не въ точно

такомъ же бѣдномъ положеніи, какъ видѣлъ въ 1894 году. Покуда Градина ознаменована для Болгаріи лишь однимъ достопримѣчательнымъ происшествіемъ, да и то не радостнымъ: здѣсь покойная княгиня Марія-Луиза схватила роковую простуду, которая, разрѣшась воспаленіемъ легкихъ, свела эту замѣчательную женщину въ могилу въ два-три дня: болѣзнь осложнила и безъ того тяжелую беременность и вызвала преждевременные роды.

Имя Маріи-Луизы, первой княгини болгарской, останется вѣчно памятнымъ для страны, гдѣ рокъ судилъ ей сыграть историческую роль краткую, но знаменательную. Она вступила въ Болгарію въ эпоху трудную и сомнительную; когда она вручила руку и сердце свои князю Фердинанду, этотъ умный и энергичный государь былъ еще только потенциальнымъ княземъ и, какъ истинный «сынъ судьбы», бравировалъ предъ Европою и Россією желаніемъ и временною возможностью обойтись безъ Европы и Россіи. За плечами князя Фердинанда стоялъ могучій Стамбуловъ—человѣкъ безсовѣстный, но съ огромными способностями, въ числѣ которыхъ едва ли не главною являлся талантъ политической наглости, равно угнетавшей и тѣхъ, противъ кого работалъ Стамбуловъ, и тѣхъ, для кого онъ, повидимому, работалъ, начиная, въ послѣднемъ случаѣ, съ самого князя Фердинанда. Какими бы преступленіями ни очернилъ себя Стамбуловъ, какими бы выходками ни умалилъ онъ значеніе первоначальной заслуги своей передъ княземъ Фердинандомъ, исторія Кобургскаго дома, однако, не откажетъ покойному диктатору въ признаніи, что именно ему Болгарія обязана основаніемъ своей династіи. И не только основаніемъ, но и утвержденіемъ. Онъ избралъ принца Кобургскаго, наперекоръ желанію Европы и огромной части населенія самой Болгаріи, въ болгарскіе князья, онъ же—по картинному выраженію одного русскаго дипломата—и «вколотилъ его, какъ гвоздь» въ сердце Болгаріи. Гвоздь вошелъ глубоко и засѣлъ крѣпко, хотя раскачивали его и



Князь Фердинандъ Болгарскій.

старались выдернуть всевозможныя руки. Чтобы гарантировать самовольный болгарскій тронъ отъ ихъ прикосновенія, надо было спѣшить основаніемъ династіи. Между тѣмъ, династія не давалась въ руки. Всѣмъ памятенъ метанія Стамбулова по Европѣ въ политическомъ сватовствѣ для кн Фердинанда. Но, несмотря на богатство принца Кобургскаго, несмотря на личную его обаятельность, сватовства не удавались: высокопоставленныхъ невѣстъ пугало шаткое политическое положеніе его—князя, не признаннаго Европою, обзываемаго даже въ официальныхъ органахъ многихъ государствъ «авантюристомъ» и «узурпаторомъ». Какъ извѣстно, во имя династіи, желѣзная воля Стамбулова посягнула даже на конституцію,—былъ отмѣненъ 38-й пунктъ, устанавливавшій для болгарскаго престолонаслѣдника обязательность православнаго вѣроисповѣданія. Марія-Луиза, принцесса Пармская, оказалась, или за нее оказались, болѣе дальновидною политически, чѣмъ многія другія принцессы—она угадала въ Фердинандѣ ту скрытую и гибкую силу крупнаго политическаго таланта, которая съ полнымъ блескомъ проявилась въ немъ для всѣхъ, начиная съ 18-го мая 1894 года, а раньше сказывалась лишь для немногихъ. Она поняла, что, каково бы ни сложились обстоятельства, Фердинандъ не только сейчасъ князь Болгаріи, но и всегда имъ останется, что этотъ человекъ—скромное на видъ облачко, таящее въ себѣ весьма яркія молніи, стальная пружина, способная сгибаться подъ нажимомъ обстоятельствъ хоть въ кольцо, чтобы потомъ, быстро распрямившись, мѣтко и сильно ударить въ цѣль. И она отдала руку свою князю Фердинанду и стала основательницей болгарской княжеской династіи. И, если вѣрить въ примѣты, можно смѣло утверждать, что она «принесла счастье» своему державному супругу. Начиная съ брака съ Марією-Луизою, Фердинанду во всемъ «везетъ» столько же, сколько не везло въ пять лѣтъ княженія до брака.

Въ двѣ мои побывки въ Болгарію (1894 и 1896 гг.) я встрѣтилъ среди софійскаго населенія два разныя отношенія къ Маріи-Луизѣ. Въ первую—прямо послѣ стамбуловскаго паденія — она была необычайно популярна. Умная, высоко-образованная, чувствительная, молодая княгиня прониклась непреодолимою антипатіею къ всемогущему диктатору, едва его узнала. Князь Фердинандъ, понимая полную для себя политическую необходимость Стамбулова, пять лѣтъ искусно маневрировалъ, чтобы ужиться съ заносчивостью и своеволіемъ подданнаго, который чувствовалъ себя сильнѣе государя. Но сравнительно спокойное согласіе Болгаріи на отмѣну 38 пункта, одобрительное отношеніе къ его браку, радостная встрѣча молодыхъ во всѣхъ городахъ княжества—все это дало понять кн. Фердинанду и обратную сторону медали, то-есть—что гвоздь вколоченъ надежно, и, если бы даже самъ Стамбуловъ захотѣлъ его выдернуть, то еще бабушка на двое говорила, — гвоздь ли выпадетъ, или долото пополамъ. Это позволяло князю осторожно приступить къ перемѣнѣ курса, доселѣ ему необходимаго, по уже давно глубоко антипатичнаго. Полтора года длится придворная борьба съ Стамбуловымъ, при перемѣнномъ счастьѣ. Стамбуловъ какъ будто одолѣваетъ, князь какъ будто сдается, производитъ впечатлѣніе чловѣка, прижатого къ стѣнѣ, пружина окончательно согнулась въ кольцо... и вдругъ—когда на судьбу ея только что не рукою махнули—она раскрутилась со страшною силою и однимъ щелчкомъ сбила всевластнаго «тирана» съ позиціи, растоптала его могущество, бросила съ Олимпа въ Тартаръ.

Въ подготовкѣ стамбуловскаго паденія Марія-Луиза принимала, несомнѣнно, самое живое участіе, хотя не столько политическими мѣрами, сколько нравственною опозиціей. Въ высшей степени гуманная, она съ ужасомъ слышала о застѣжныхъ жестокостяхъ, какими Стамбуловъ мрачилъ княженіе ея супруга. Ея откровенному либера-



Дѣти князя Фердинанда Болгарскаго.

лизму, чувству политической порядочности была безконечно противна система «слова и дѣла», администрація палачей и шпионовъ, учрежденная «стамбуловщиною». Цѣлому-дренная, вѣрная жена, прекрасная мать, она съ омерзѣніемъ встрѣчала человѣка, занесеннаго въ скрижали исторіи съ нелестною, но вполне заслуженною аттестаціей «тиранина и блудника»; она находила, что самое присутствіе Стамбулова уже оскверняетъ; послѣ грязной савовской исторіи, она не только перестала принимать Стамбулова, но даже, когда пріѣзжалъ онъ къ князю съ докладомъ, Марія-Луиза немедленно выходила изъ дворца, чтобы не оставаться подъ одной кровлей съ человѣкомъ, котораго считала врагомъ страны, князя, своимъ, династіи, воплощеніемъ всяческихъ насилій и разврата. Въ правительственныхъ кругахъ Софіи я не разъ слыхалъ, что Марія-Луиза никогда не оказывала политическаго давленія на своего супруга, старательно избѣгала вмѣшательства въ ходъ государственнаго корабля. Мнѣ эти увѣренія представляются довольно сомнительными, но, если бы и такъ, довольно и разсказаннаго, чтобы сыграть очень крупную роль въ событіи 18-го мая 1894 года: какъ ни много нужнымъ казался Стамбуловъ князю Фердинанду, жена была ему еще нужнѣе; трудно имѣть за себя мужа, заслуживъ отвращеніе жены. Конечно, Стамбуловъ чувствовалъ, что на женской половинѣ дворца идетъ противъ него открытое возмущеніе; но, по самонадѣянности своей, диктаторъ приписывалъ ему меньше значенія, чѣмъ слѣдовало. Очень можетъ быть, что, «взбунтуясь» противъ него князь Фердинандъ до брака своего, даже до рожденія княжича Бориса, Стамбулову хватило бы силы убрать князя изъ Болгаріи, какъ былъ въ свое время убранъ Баттенбергъ. Но послѣ брака силы Фердинанда страшно выросли. Дѣло шло уже не объ одномъ князѣ, а о цѣлой княжеской семьѣ, объ уже основанной династіи, ради которой принесены немалыя жертвы, значеніе которой объяснено народу, арміи. Вѣдь—

если дѣло дойдетъ до открытаго столкновенія—эта блѣдная княгиня съ крошкою-престолонаслѣдникомъ на рукахъ можетъ оказаться сильнѣе всѣхъ сборовъ и палочниковъ «стамбуловщины». Она благотворить, она любитъ просвѣщеніе, конституцію, она, во время путешествія по странѣ, храбро входитъ въ хаты больныхъ и нищихъ,—народъ это знаетъ, цѣнитъ; онъ слышалъ, что она—врагъ Стамбулова, — а это уже достаточный поводъ къ симпатіи; народъ—за княгиню, за княжича, за князя. 18-е мая 1894 г., когда Стамбуловъ свалился въ бездну, выяснило, насколько безошибочны были опасенія диктатора. Кстати: говорятъ, будто прозвище «второго освободителя Болгаріи», которымъ въ достопамятные дни эти величали князя Фердинанда, впервые вырвалось изъ устъ именно Маріи-Луизы, когда она поздравляла супруга съ низложеніемъ ненавистнаго министра. Насколько это справедливо, не знаю: за что купилъ, за то и продаю.

Пріѣхавъ въ Софію къ торжеству присоединенія княжича Бориса въ лоно церкви православной (2-го февраля 1896 года), я засталъ въ городѣ сильное раздраженіе противъ княгини. Какъ извѣстно, она демонстративно уѣхала на все время торжествъ за границу, не желая присутствовать при обращеніи первенца своего «въ схизму». Въ настоящее время выяснено, что противодѣйствіе княгини этому важному и, какъ сама она отлично сознавала, совершенно необходимому шагу политической не только мудрости, но и справедливости, было фиктивнымъ; отъѣздъ ея совершился, съ полнаго согласія кн. Фердинанда, какъ легкое удовлетвореніе римской куріи и австрійскому двору за тяжелую для нихъ побѣду православія и Россіи въ возрожденной болгарской государственности. Но тогда, сгоряча, это плохо разбирали и поносили княгиню съ такою же яростью, какъ два года назадъ восхваляли. Люди вѣрующіе оскорблялись, что княгиня выразила какъ бы пренебреженіе къ народной религіи. Политики негодовали,



Болгарскіе типы. Молодой шопъ.

какъ — въ такое время, когда благоразуміе правительства, руководимаго гибкою энергіей князя Фердинанда, достигло, наконецъ, желаннаго примиренія съ Россіей — княгиня рискуетъ отъѣздомъ своимъ обидѣть русскихъ, вносить ложку дегтю въ бочку меда, портить едва начавшіяся хорошія отношенія. Люди, къ религіи равнодушные, — а въ болгарской интеллигенціи ихъ множество, ни въ одной нѣтъ столькихъ атеистовъ и индифферентовъ, — огорчились тѣмъ разочарованіемъ, что княгиня оказалась вдругъ ревностною католичкою, тогда какъ ранѣе она слыла за свободомыслящую. Наконецъ, духовенство серьезно встревожилось за будущность престолонаслѣдника: не останется ли онъ лишь фиктивно-православнымъ, вырастая на рукахъ матери, столь фанатической католички? Словомъ, со всѣхъ сторонъ только и слышны были, что благодарныя хваленія князю Фердинанду за его гражданское мужество и укоризны княгинѣ Маріи-Луизѣ за недостатокъ такового. Возвращенія княгини изъ-за границы я не дождался, и не припомню сейчасъ, скоро ли оно воспослѣдовало. Но встрѣтили ее холодно и сухо — съ замѣтною обидою за нераздѣленную съ народомъ радость его. Однако, быстрый ходъ болгарскаго государственнаго корабля, энергически направляемаго рукою князя Фердинанда въ руссофильскій фарватерь, сгладилъ эти временныя недоразумѣнія — тѣмъ болѣе, что, въ датыгѣйшихъ шагахъ внѣшней политики князя Фердинанда, княгиня Марія-Луиза явилась не въ разногласіи съ супругомъ, но усердною его помощницею и сочувственницею. Если бы и въ самомъ дѣлѣ оставалась въ сердцѣ ея капля горечи послѣ событія 2-го февраля, капля эта должна была совершенно изсякнуть въ августѣ 1898 г., когда княгиня своими собственными глазами могла убѣдиться въ добрыхъ плодахъ этого событія и для народа своего, и для своей собственной семьи; я говорю о блестящемъ приѣмѣ, оказанномъ княжеской болгарской четѣ въ Петербургѣ. Привѣтствуемый русскою столицею, Фердинандъ Болга-

скій могъ съ гордостью указать супругъ своей на плоды своей государственной мудрости. И никогда народъ болгарскій не встрѣчалъ князя и княгиню своихъ съ болѣе шумнымъ и искреннимъ восторгомъ, чѣмъ по возвращеніи изъ Петербурга.

Не было человѣка ни въ Болгаріи, ни въ сочувствующей ей Россіи, который искренно не пожалѣлъ бы о раннемъ концѣ молодой княгини, равно какъ и объ осиротѣвшей семьѣ ея. Князю Фердинанду шелъ тогда 38-й годъ на исходѣ. Это — время полного расцвѣта силъ нравственныхъ и физическихъ, — время, когда формируется семьянинъ. Грустно потерять въ эти годы вѣрную и добрую подругу жизни, — особенно, когда она, какъ видимъ мы въ данномъ случаѣ, прошла рядомъ съ мужемъ, какъ добрый и мужественный товарищъ, сквозь тьму и холодъ мучительныхъ житейскихъ испытаній и умерла, едва успѣвъ увидеть яркую и теплую зарю наступившихъ успѣховъ...

Память княгини Маріи-Луизы священна въ Софіи для каждаго болгарина, безъ различія политическихъ партій. Я засталъ въ софійскомъ обществѣ — опять-таки, безъ различія партій — великое ликование по поводу счастливаго перелома въ опасной болѣзни престолонаслѣдника, княжича Бориса Тырновскаго. И ликование это было вызвано не только опасеніями за династическія осложненія, неизбежныя бы съ кончиною юнаго принца. Радовались лично за княжича Бориса, котораго любятъ, какъ живой нравственный портретъ его матери, общающій народу болгарскому въ будущемъ государя, полного той же духовной красоты, мягкости, ума и талантливости, какими такъ богато была одарена покойная Марія-Луиза.

По европейскимъ и русскимъ газетамъ неоднократно проходилъ слухъ о вторичной женитьбѣ кн. Фердинанда. Сколько я успѣлъ замѣтить, болгарское общество мало вѣрить въ возможность такого акта съ его стороны и врядъ ли отнеслось бы къ нему сочувственно.

— Это все газетныя гаданія,—говорили мнѣ.—Князь —человѣкъ дальновидный, тактичный, сдержанный. Онъ гордъ и честолюбивъ. Теперь для него не прежнія времена. Бракъ съ какою-нибудь третьестепенною принцессою захудалаго, не царственнаго дома не удовлетворитъ его и будетъ обиденъ намъ, его подданнымъ. Съ другой стороны, изъ вліятельныхъ европейскихъ дворовъ—кому въ радость выдать одну изъ своихъ принцессъ за вдовца, съ четырьмя дѣтьми, изъ которыхъ каждый имѣетъ право первородства предъ возможнымъ будущимъ потомствомъ? Если бы, однако, даже и нашлись такой безкорыстный дворъ и такая, лишенная честолюбія, принцесса,—все-таки, бракъ этотъ будетъ несчастіемъ для страны, такъ какъ современемъ раздвоитъ княжескую семью на половины, врядъ ли между собою дружелюбныя: обстоятельство, крайне угрожающее миру государства, особенно—столь склоннаго ко всякому политиканству и дѣланію партій, какъ наше.

Мнѣ лично какой бы то ни было бракъ князя Фердинанда, помимо всякихъ политическихъ соображеній, представляется затруднительнымъ и по условіямъ психологическимъ: этотъ—съ виду чопорный, надменный, углубленный въ себя—человѣкъ страстно любитъ своихъ маленькихъ дѣтей и врядъ ли захочетъ дать имъ мачеху. Вѣдь бракъ былъ бы теперь актомъ лишь его собственной воли, а не государственной потребности, такъ какъ династія обезпечена. Говорили мнѣ многія лица изъ дворца, что, во время кризиса болѣзни княжича Бориса, князя Фердинанда узнать нельзя было: всегда сдержанный, скрытный, прямо-таки герой самообладанія, онъ совершенно потерялъ голову и—даже на аудіенціяхъ, которыя давалъ чужимъ, далекимъ себѣ людямъ,—не могъ сдерживать слезъ и самъ поминутно заговаривалъ о больномъ сынѣ. Родительскій пессимизмъ его не поддавался никакимъ утѣшеніямъ. Что ни говорили доктора, обнадеживая князя на лучшее, онъ повторялъ:

— Борисъ умираетъ... Борисъ умереть... мнѣ кажется, онъ уже мертвый...

Понятенъ восторгъ, съ какимъ—послѣ такого отчаянія—долженъ былъ онъ встрѣтить вѣсть о переломѣ въ недугѣ своего первенца!.. Мнѣ неоднократно въ прошломъ случалось писать о князѣ Фердинандѣ, какъ человѣкѣ глубоко-интересной, сложной души, въ высшей степени симпатичномъ для тѣхъ, кто имѣлъ случай узнать его ближе. И потому теперь съ особеннымъ удовольствіемъ отмѣчаю эти теплыя, высоко-человѣческія черты въ характерѣ, въ складѣ ума и сердца болгарскаго государя.

Выздоровленіе княжича Бориса—великое счастье для Болгаріи и въ томъ еще отношеніи, что кончина его неминуемо повела бы страну къ сильной католической реакціи. И безъ того уже въ Софіи толковали, будто князь получилъ изъ римской куріи внушительно-торжествующее письмо, съ указаніемъ, что—вотъ-де каковы послѣдствія отпаденія княжича Бориса изъ лона католической церкви въ греческую схизму: сперва кн. Фердинандъ наказанъ смертью жены, а теперь умираетъ и княжичъ. Конечно, если бы доктора Ораховацъ, Сарафовъ и лейбъ-медикъ Людвигъ не отстояли жизнь маленькаго принца, гибель его дала бы богатую пищу суевѣрію,—и, какъ ни уменъ князь, какъ ни здраво онъ мыслить, все же онъ католикъ по религіи и воспитанію, и ему не чужда католическая грозная легенда, и онъ способенъ стать жертвою католическихъ воздѣйствій—особенно, при столь тяжелыхъ и мучительныхъ впечатлѣніяхъ. Слѣдовательно, опять вышелъ бы на сцену злополучный 38-й пунктъ конституціи—о православіи престолонаслѣдника,—уже стойвшій однажды Болгаріи восьмилѣтняго полнаго разрыва съ Россією. Поэтому что,—умри княжичъ Борисъ,—какъ знать: рѣшился ли бы князь Фердинандъ присоединить къ православной церкви княжича Кирилла?

Княжичъ Борисъ — прелестный мальчикъ, съ рѣдкими



Болгарскіе типы. Старозагорскій щеголь.

способностями. Въ свои семь лѣтъ съ малымъ (1901) онъ владѣть совершенно свободно четырьмя европейскими языками, но — съ гордостью говорить болгары — въ особенности любить болгарскій и, если болгаринъ обращается къ нему на иностранномъ языкѣ, княжичъ непременно отвѣтитъ по-болгарски. Наставникъ княжича, рушукскій митрополитъ Василій, говорить о княжичѣ, какъ о чудѣ памяти: помимо всякихъ настояній со стороны наставника, никѣмъ не побуждаемый, маленькій принцъ незамѣтно выучилъ наизусть все богослуженіе, — чѣмъ, откровенно говоря, не могутъ похвалиться даже многія и многія изъ болгарскихъ духовныхъ лицъ!

II.

Князь Фердинандъ принялъ меня поздно вечеромъ въ долгой аудіенціи... Много передумалъ и вспомнилъ я, пока ея ожидалъ.

Тысяча восемьсотъ девяносто четвертый годъ.

Небольшой залъ, похожій на комнату частнаго лица. Въ открытыя окна, въ дверь балкона тянетъ зноемъ жаркаго іюньскаго дня, видно синее южное небо, раскаленное близкимъ полднемъ, и въ немъ силуэтъ Витуши, протянувшейся на горизонтѣ, точно хребетъ усталаго звѣря. Какой-то танцующій на поскахъ французъ-камергеръ съ поклономъ... нѣтъ, поклонъ это слишкомъ грубое слово: съ ээирнымъ реверансомъ, оставляетъ меня одного въ мертвой тишинѣ пустого покоя. Жду нѣсколько секундъ, съ любопытствомъ предугадывая: каковъ - то, въ дѣйствительности, этотъ многотуманный герой, волнующій Европу, единственно, чтобы видѣть кого лицомъ къ лицу, проѣхалъ я три тысячи верстъ? Человѣкъ, преслѣдуемый ожесточенною бранью враговъ, наглými насмѣшками безразличныхъ, унижаемый и въ царственномъ, и въ человѣческомъ своемъ достоинствѣ, не признанный Европою, восемь лѣтъ управляетъ

мый грознымъ своевольцемъ, «тираниномъ и блудникомъ» Стамбуловымъ, — словомъ, Фердинандъ русской прессы въ послѣдніе годы царствованія Императора Александра Александровича, Фердинандъ передовыхъ статей и юмористическихъ журналовъ, счастливыхъ, что и у нихъ есть дозволенный сюжетъ для «политической» карикатуры, — Фердинандъ Кобургъ. Безшумно открывается дверь, и — предомно стоитъ, въ бѣломъ кителѣ, высокій офицеръ, съ нѣсколько приподнятыми плечами, внимательно глядя мнѣ въ лицо глазами, полными холоднаго ума и официальной ласковости. Чась разговора, и я, — предубѣжденный, полный скептицизма, отнюдь не сторонникъ въ то время, а скорѣе противникъ князя Фердинанда, готовый схватить каждую его непріятную или опасную черту, — откланиваюсь, въ ясномъ и твердомъ убѣжденіи, что я говорилъ съ однимъ изъ умнѣйшихъ людей вѣка, проникательнымъ и дальновиднымъ политикомъ, прошедшимъ страшную практическую школу, до которой, увы, далеко большинству нашихъ дипломатическихъ *esprits forts*, хотя бы уже потому, что они практикуются на своемъ поприщѣ въ счастіи, а Фердинанда выработало въ государственнаго человѣка несчастье. Восемь лѣтъ колеблющаяся почва подъ ногами, восемь лѣтъ отчужденія отъ Россіи и сознанія себя безразличнымъ для Европы, восемь лѣтъ стамбуловскаго безпардоннаго гнета! Онъ былъ безпокоенъ, нервенъ, но чувствовалъ свою силу: онъ только-что смялъ Стамбулова и понималъ, что создалъ себѣ небывалую популярность, и уже комбинировалъ мысленно и правое направленіе, и правые пути, которые она ему открыла, какъ неожиданный лучъ мѣсяца изъ-за тучъ освѣщаетъ тропинку путнику, заблудившемуся въ лѣсной ночи. Онъ говорилъ откровенно и прямо, а обстоятельства, въ послѣдствіи, показали, что и искренно. Слова и тонъ его дышали страшною силою характера, крѣпкаго и гибкаго, какъ стальная пружина, которую можно сгибать, свивать въ кольцо, но не сломать, и чѣмъ круче ее сгибаешь, тѣмъ

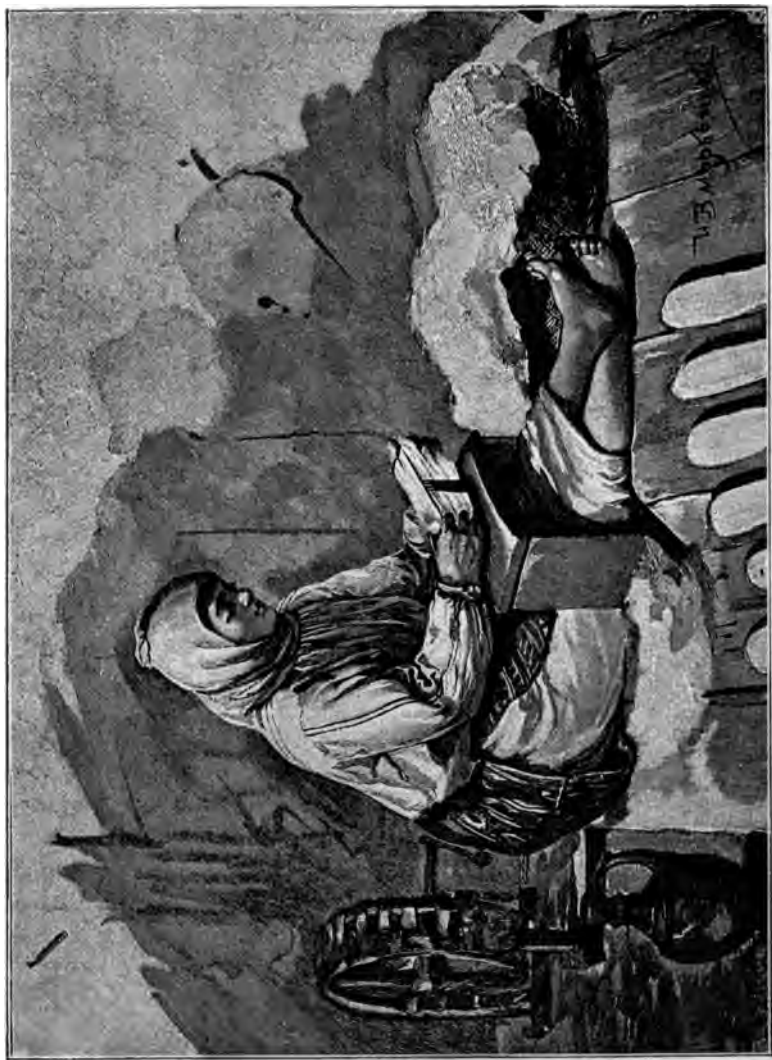
она опаснѣе, потому что тѣмъ сильнѣе будетъ ея ударъ, если она, не ровень часъ, распрямится. Человѣкъ этотъ чувствовалъ себя господиномъ положенія, которое онъ создалъ, и готовъ былъ за него воевать. Онъ видѣлъ за себя народъ, видѣлъ войско и зналъ, какъ надо вести страну, чтобы и народъ, и войско всегда остались за него, зналъ секретъ національной политики. Изъ всѣхъ болгаръ, въ объѣмъ моихъ поѣздки въ ихъ страну, едва ли не одинъ князь Фердинандъ, не болгаринъ родомъ, произвелъ на меня впечатлѣніе человѣка, желающаго вести Болгарію по пути, куда влекутъ ее духъ народный и историческій жребій, а не куда угодно партійной, предвзято сочиненной теоріи, хотя бы и «разсудку вопреки, наперекоръ стихіямъ». Камнемъ преткновенія къ націонализму въ болгарской политикѣ было упорное нежеланіе Россіи считаться съ княземъ Фердинандомъ, какъ государемъ, ея представителемъ. Какимъ страшнымъ гнетомъ лежало это отчужденіе на кн. Фердинандъ, что это былъ для него за камень на шеѣ, какъ ежеминутно вязало оно его по рукамъ и ногамъ, какъ вносило горечь въ каждую каплю меда его новорожденной популярности, — тому, изъ всѣхъ русскихъ, я — живой свидѣтель, какъ очевидецъ софійскихъ послѣ-стамбуловскихъ дней и собесѣдникъ князя какъ разъ въ эту пору, столь для него двусмысленную и переходную. Когда я возвратился въ отечество, то на вопросы: какъ я нашелъ Кобурга? — не могъ отвѣчать, по чести и совѣсти, иначе, какъ:

— Милостивые государи! Кобургъ—это мнѣ русскихъ кабинетныхъ политиковъ и болгарскихъ эмигрантовъ, а есть въ Болгаріи князь Фердинандъ, хотя не признаваемый державами, по княжествующій, какъ давай Богъ всякому; государь, который не только царствуетъ, но и управляетъ; человѣкъ большого ума и сильнаго характера, котораго намъ гораздо выгоднѣе было бы имѣть другомъ, чѣмъ врагомъ, и который въ концѣ концовъ — вы увидите!—будетъ не только признавъ, но и весьма популяренъ въ Россіи.

Тысяча восемьсотъ девяносто шестой годъ. Посредственный—и даже менѣе, чѣмъ посредственный — вокзалъ желѣзной дороги залить нарядною толпою. Она шпалерами стоитъ по полотну. Всюду гирлянды, цвѣты, букеты. Въ двухъ шагахъ отъ себя, сжатого локтями и спинами депутатовъ народнаго собранія, вижу я надъ моремъ черныхъ головъ знакомое, сѣроглазое лицо съ крупнымъ носомъ, подъ бѣлою военною фуражкою, блѣдное и серьезное. Громыхая и пыхтя, подходит поѣздъ, весь обвитый зеленью. Головы обнажаются. Изъ вагона выходитъ высокій, худощавый генералъ въ русскомъ мундирѣ — гр. Голенищевъ-Кутузовъ, замѣститель Государя Императора при муропомазаніи княжича Бориса. Громовое «ура» потрясаетъ воздухъ. Поютъ, подъ громъ военныхъ оркестровъ, десятки тысячъ людей, восемь лѣтъ не слыхавшихъ строго-запретнаго при Стамбуловѣ русскаго гимна, но не забывшихъ ни мелодіи, ни словъ его; вѣдь гимнъ этотъ пролетѣлъ нѣкогда надъ Болгаріей, какъ пѣснь ангела-освободителя; подъ его звуки рушились славянскія оковы, подъ его звуки утучнились святою кровью русскаго солдата болгарскіе луга и нивы.

Прощай, Тунджи-долина!
Увидимся ли вновь?
Балканскія вершины —
Кладбище удалцовъ!

Часто звенѣла въ ушахъ моихъ солдатская пѣсенка, когда, бывало, читаешь телеграммы и передовыя статьи, корреспонденціи и слухи о болгарскихъ неурядицахъ, интригахъ, измѣнахъ и плутняхъ. За многое и многое могъ вознаградить русскаго славянофила высокаторжественный моментъ, когда признанный князь болгарскій встрѣтился съ посланникомъ Государя, когда русскій гимнъ слился съ болгарскимъ, когда толпа, какъ одинъ человѣкъ, давая другъ друга, вопя и распѣвая, неслась вслѣдъ за колясками русскихъ гостей. Вѣяли русскіе флаги, бли-



Болгарскіе типы. Работница за „даракомъ“ (станокъ для чесанія льна или шерсти).

стали триумфальныя арки, всюду — русская рѣчь, всѣмъ русскимъ — «добро пожаловать»... «Съ Россіей сичко, безъ Россіи нищо»... Пиршества, рѣчи, оваціи, медовый мѣсяцъ примиренія.

Старинный храмъ, убранный русскими и болгарскими національными цвѣтами. Сверкающія митры епископовъ. Очаровательный малютка, двухлѣтній Борисъ, вводится въ храмъ воспитательницею, сухою дамою въ черномъ платьѣ. Вотъ онъ — на фронтонѣ мѣстѣ, рядомъ съ отцомъ. Фердинандъ, блѣдный, какъ во всѣ эти дни, крестится православнымъ крестомъ. Во все время церемоніи я наблюдалъ за нимъ. Положеніе его, какъ католика, было не изъ пріятныхъ, но трудно было держать себя съ большимъ достоинствомъ — скажу даже: съ большимъ величіемъ. Онъ могъ послужить въ эти минуты прекраснымъ оригиналомъ для живописца, который задался бы цѣлью изобразить государя, во имя блага страны, побѣдившаго въ себѣ человѣка, самолюбіе правителя поставившаго выше самолюбія личнаго.

Вижу я князя Фердинанда и на пирахъ и балахъ «примиренія», сверкающаго орденами, веселаго, ласковаго, не скрывающаго своего счастья, довольнаго.

— Мы встрѣчаемся теперь при иныхъ, нѣсколько лучшихъ обстоятельствахъ, неправда ли? — слышу я его внятный голосъ.

— Если вы, ваше царское высочество, припомните, я и тогда уже выражалъ увѣренность, что они вскорѣ измѣнятся къ лучшему...

— Это правда, — сказалъ онъ, задумчиво склоня голову. Счастье заставило себя ждать, пришло поздно, но пришло. Лучше поздно, чѣмъ никогда.

Прощальная аудіенція... сердечныя, теплыя выраженія глубокой признательности за сочувствіе дѣлу болгаро-русскаго сближенія, добрыя пожеланія, задушевное «до свиданія».

— Вы всегда будете хорошо приняты въ Болгаріи!

Чувствовалось, что это любезное прощаніе было не только актомъ придворной вѣжливости со стороны государя, которому пришелъ откланяться отъѣзжающій на родину чужестранецъ,—въ тонѣ и словахъ Фердинанда звучала сердечность человѣка, искренно довольнаго и благодарнаго тѣмъ, что видитъ предъ собою людей, которые въ немъ именно человѣческое-то и признали, и полюбили, и довѣрились ему.

И довѣрились не напрасно.

Перечитавъ свои «Впечатлѣнія», писанныя въ Болгаріи лѣтомъ 1894 года (см. въ концѣ книги *Приложеніе А*), я не нашелъ въ нихъ ни одной строки, касавшейся князя Фердинанда, лично отъ него или довѣренныхъ людей его испешей, которую онъ не оправдалъ бы по отношенію и къ своему народу, и къ Россіи. День, когда отечество наше, отбросивъ ложное предубѣжденіе, протянуло руку Болгаріи и ея князю, былъ великимъ политическимъ днемъ: прекративъ бесполезную рознь, Русь приобрѣла себѣ младшаго брата и союзника, гораздо сильнѣйшаго, чѣмъ принято думать.

Уже и теперь, по историческому складу событій, князь Фердинандъ оказался на сценѣ европейской политики лицомъ изъ самыхъ интересныхъ, наиболѣе привлекающихъ вниманіе. Потомство будетъ останавливать на этомъ чловѣкѣ, успѣвшемъ энергіей воли своей, умомъ и тактомъ стать изъ ничего могущественнымъ государемъ, взоры свои съ еще большимъ удивленіемъ и симпатіей. Фердинандъ въ XIX вѣкѣ—фигура исключительная и замѣчательная. А по мѣрѣ испытаній и страданій своихъ на тронѣ въ первые годы его шаткой власти—и трагическая фигура. Онъ живо напоминаетъ Генриха IV англійскаго, какъ написалъ его Шекспиръ. Когда для него настанетъ часъ кончины, онъ съ равнымъ правомъ можетъ сказать княжичу Борису, какъ Генрихъ IV говорилъ когда-то веселому принцу Гарри:

Извѣстно Богу,
Съ какимъ трудомъ, съ какой тревогой вѣчной
Удерживаль я на челѣ корону.
Тебѣ она достанется при лучшихъ
Условіяхъ, прямѣй, законнѣй...

...На челѣ моемъ
Казалась всѣмъ она символомъ власти,
Захваченной рукою дерзновенной.

...Тебѣ извѣстно,
Какимъ опасностямъ я подвергался
Отъ этого; вся жизнь моя лишь рядомъ
Тревогъ была!..

(1898)

За пять лѣтъ, что я не видалъ кн. Фердинанда, онъ сильно измѣнился, располнѣлъ, отяжелѣлъ, слегка поистратился волосами. Испытанія семейныя и государственныя заботы не прошли ему даромъ. Это—большой и усердный работникъ, съ упорнымъ желаніемъ знать все, что происходитъ въ его странѣ, подѣ ответственностью его державнаго имени. Бессонныя ночи за бумагами и постоянныя волненія подарили его тяжкими мигренями; слѣды ихъ выразились припухлостями на вискахъ, придающими лицу князя утомленное выраженіе. Черты лица стали рѣзче, взглядъ—глубже, острѣе и серьезнѣе. Теперь это уже—не «женихъ власти», красиво увлекающійся ея эффектами, влюбленный въ ся внѣшніе прерогативы и атрибуты, но настоящій государственный мужъ, котораго тяжелый опытъ сдѣлалъ не только глубокомысленнымъ, но даже нѣсколько угрюмымъ и грустнымъ.

— Неправда ли, какъ я сдѣлался старъ? — спросилъ онъ меня.

— Мы одного возраста, ваше царское высочество, —но я нахожу, что вы выглядите моложе меня.

— Это правда, — съ удовольствіемъ сказалъ князь, — вы тоже очень постарѣли. Да, пожалуй, —я кажусь моложе васъ. Отчего это?

— Очевидно, ваше царское высочество, оттого, что журналисты сохраняются хуже государей.

Онъ засмѣялся и спросилъ:

— Вы думаете? почему?

Я отвѣчалъ:

— Вѣроятно, потому, что жизнь государей, даже при самыхъ несносныхъ условіяхъ, все-таки пріятнѣе, чѣмъ жизнь журналистовъ.

III.

Я провелъ два интересныхъ часа въ разговорѣ съ председателемъ верховнаго македонскаго комитета знаменитымъ Борисомъ Сарафовымъ. Свиданіе наше должно было состояться на «нейтральной почвѣ», въ кафе, но—какъ разъ въ назначенный вечеръ — турецкій комиссаръ отнесся къ министру иностранныхъ дѣлъ, г. Даневу, съ новой экстренною нотой о немедленномъ распущеніи македонскихъ комитетовъ, и переполохъ, который вызвало это внезапное обстоятельство среди македонцевъ, помѣшалъ г. Сарафову сойтись со мною въ условленный часъ на условленномъ мѣстѣ. Въмѣсто него, прибылъ съ извиненіемъ одинъ изъ его адъютантовъ*) и просилъ назначить г. Сарафову часъ для свиданія на завтра. И вотъ — въ пятницу, послѣ обѣда— онъ пришелъ ко мнѣ.

Это еще совсѣмъ молодой, красивый и франтоватый господинъ, со складомъ физіономіи чловѣка далеко недюжиннаго. Какъ и полагается всѣмъ болгарскимъ агитаторамъ, начиная съ Инсарова изъ «Наканунъ», онъ черенъ волосами до синева и желтъ лицомъ, какъ пупавка. Волосы, совершенно прямые, съ трудомъ покорились фиксатуару и имѣютъ не меньшую склонность взбунтоваться противъ тщательной прически, чѣмъ македонцы противъ турецкаго ига. Глаза огненные, великолѣпные, съ рѣшитель-

*) Убитый нынѣ (1903) Давидовъ, кажется. Этого Давидова въ Софіи звали Мефистофелемъ Сарафова.



БОРИСЪ САРАФОВЪ,
предсѣдатель верховнаго македонскаго комитета.

нымъ, даже дерзкимъ нѣсколько взглядомъ человѣка, увѣреннаго въ себя, убѣжденнаго въ своихъ цѣляхъ и средствахъ, поглощеннаго своею дѣятельностью до готовности поставить *va banque* все свое благосостояніе и самую жизнь. Какъ нѣкогда, знакомясь съ Рачо Петровымъ и рассматривая его красивое скуластое лицо хищнаго молодого ястреба, я невольно подумалъ первую же мысль:

— Ну, этотъ, если надо будетъ разстрѣлять, то — не поморщится, разстрѣляетъ!

Такъ и теперь, посадивъ Сарафова лицомъ къ свѣту, я наблюдалъ нервную игру его мускуловъ, быстрыя движенія сверкающихъ глазъ и рѣзкую жестикуляцію, слушалъ его порывистую, громкую рѣчь и соображалъ про себя:

— Богъ знаетъ, правду или нѣтъ говорятъ про этого человѣка, что онъ подписываетъ смертные приговоры, командуетъ шайкою тайныхъ убійцъ и вымогателей, возвелъ въ систему грабежъ буржуа и играетъ жизнью и достояніемъ людей, какъ бирюльками. Но — что онъ способенъ и самъ эффектно броситься какъ въ битву, такъ и въ преступленіе, и эффектно повести за собою другихъ, — въ этомъ не можетъ быть сомнѣнія.

При всей своей энергической внѣшности, Сарафовъ произвелъ на меня впечатлѣніе человѣка съ большимъ талантомъ, нежели характеромъ. Онъ хорошо играетъ роль вождя съ твердою волею, но едва ли владѣетъ ею въ дѣйствительности. Онъ пламенный агитаторъ, но врядъ ли безпощадный и безстрастный судья. Среди круглоголовыхъ и широкоскулыхъ, съ волчьими глазами, сѣверныхъ болгаръ, онъ даже выдѣляется мягкостью выраженія лица: въ немъ не читаешь той немножко дикой, холодной жесткости, что составляетъ отличительную черту болгаръ — особенно, сѣверныхъ — среди другихъ родичей славянства... Ротъ Сарафова — типичный славянскій, добродушный и, хотя онъ умѣетъ, играя воинственнаго рѣшителя судебъ народныхъ, — сжимать губы свои въ самыя суровыя и презри-

тельные гримасы, однако дѣтская улыбка идетъ къ нимъ больше, чѣмъ эти напущенныя, заученныя мины «героя».

Сарафовъ рѣзко и увѣренно отрицалъ обвиненія, возводимыя софійскимъ обществомъ на македонскіе комитеты.

— Правительство, которое насъ гонитъ, буржуа и чиновники, которые поютъ по камертону правительства, имѣютъ прямо манію какую-то изображать насъ страшилищами, раздувая въ слона каждую муху, что залетитъ въ наши комитетскія дѣла. Вамъ говорили о 20 и болѣе политическихъ убійствахъ. Но это ложь. Я знаю всего лишь два: въ Царьбродѣ болгарина Качкова, служившаго туркамъ шпиономъ, и здѣсь въ Софіи цинцаринъ изъ Македоніи зарѣзалъ другого такого же цинцарина, возмущившись его равнодушіемъ къ общему патріотическому дѣлу. Ни одно изъ этихъ двухъ не было приказано или разрѣшено комитетомъ. Это просто дикіе взрывы патріотизма, воспламеняющаго многія пылкія головы изъ нашихъ до самозабвеннаго энтузіазма. Убійцу Качкова судили въ Софіи уголовнымъ судомъ и, хотя онъ не отрицалъ своего дѣла, оправдали, въ виду смягчающихъ вину обстоятельствъ, то-есть — потому, что было доказано, что убитый былъ дѣйствительно шпионъ и предатель. То же самое скажу о мнимомъ вымогательствѣ денегъ. Мы дѣйствуемъ такъ. Мы знаемъ приблизительно состоянія всѣхъ македонцевъ, проживающихъ въ Болгаріи. Жертвы ихъ на алтарь родной свободы притекаютъ обильно и щедро. Я могу указать вамъ тысячи примѣровъ, какъ македонецъ-рабочій, получающій какихъ-нибудь 500 франковъ въ годъ, десятую долю своего заработка несетъ въ національную кассу — не только безропотно: самъ навязываетъ деньги. Но есть и между нашими люди скупые, эгоисты, безсердечные. Богачи, съ состояніемъ въ 200 — 300 тысячъ левовъ, часто воображаютъ, что они исполнили свой патріотическій долгъ, если швырнули намъ, какъ подачку, двадцать-тридцать левовъ. Мы относительно такихъ господъ не беремъ никакихъ понудительныхъ мѣръ:

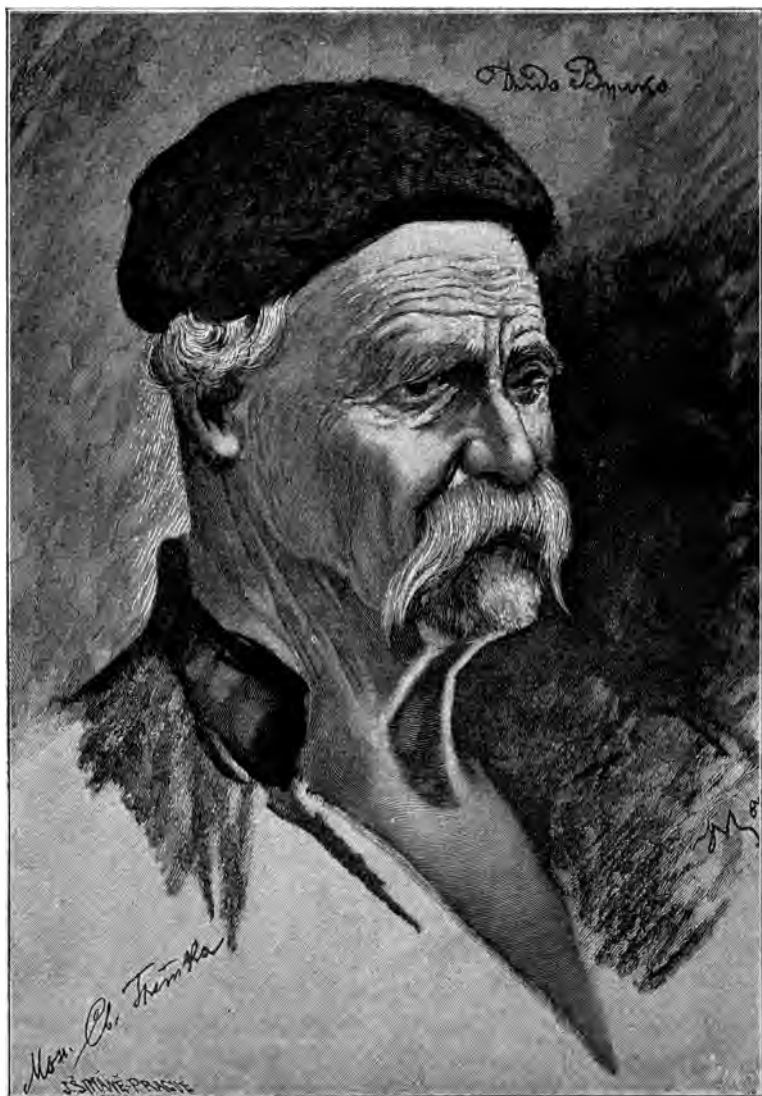
все, что говорят о насъ въ этомъ родѣ, клевета. Мы лишь заявляемъ имъ: жертва ваша слишкомъ неприлично мала въ сравненіи съ вашимъ доходомъ, — поэтому мы не желаемъ брать съ васъ ничего вовсе, — мы будемъ считать васъ не участвующимъ въ работѣ освобожденія, вы намъ — чужой. Но опять-таки неудивительно, если какой-нибудь пылкій патріотъ, отдавшій намъ, какъ святую лепту, послѣднюю свою стотинку, возмутится такимъ черствымъ эгоизмомъ скряги-богача и сгоряча сдѣлаетъ ему скандалъ, обругаетъ при публикѣ, побьетъ даже. Вѣдь у этихъ бѣдняковъ-патріотовъ есть своя логика. Они разсуждаютъ: мы завоевываемъ себѣ на гроши свои родину, отечество. Если наше дѣло увѣнчается успѣхомъ, то мы, истратившіе всѣ свои средства на свободу Македоніи, не жалѣвши для нея ни пота, ни крови, войдемъ въ нее такими же нищими, какъ мы и теперь. У насъ впереди все тѣ же труды, все та же борьба за существованіе. А эти господа — почти миллионеры — не истративъ ни гроша, не ударивъ пальцемъ о палецъ, понесутъ свои неприкосновенные капиталы въ страну, добытую для нихъ нашимъ самоотверженіемъ, нашимъ горбомъ? Вѣдь они даже и спасибо намъ не скажутъ! Родина, свобода — для нихъ пустые слова. Имъ важнѣе будетъ въ Македоніи только новый рынокъ для торга, новые потребители, которыхъ можно закабалить и надувать. Нѣтъ, г. Амфитеатровъ! Если мы доживемъ до счастья видѣть Македонію безопасно и свободно, тогда мы, конечно, посчитаемся съ нашими скаредами и не дадимъ имъ безнаказанно пожать плоды нашихъ трудовъ. Но сейчасъ мы, кромѣ презрѣнія, не преслѣдуемъ ихъ никакими воздѣйствіями. Всѣ насилія, о которыхъ вамъ рассказывали, — результаты негодованія отдѣльныхъ энтузіастовъ, не имѣющихъ ничего общаго съ комитетами и распорядительствомъ въ нихъ. Мы здѣсь не при чемъ. Да, наконецъ, — почему же никто изъ обвиняемыхъ по подобнымъ дѣламъ ни разу не признался въ связяхъ своихъ съ комитетами, не обвинилъ

ихъ, чтобы самому избавиться отъ наказанія, не свалилъ на насъ преступную инициативу?

Мы не убиваемъ, не вымогаемъ,—наше дѣло только вооружить беззащитную Македонію, чтобы хоть въ болѣе или менѣе близкомъ будущемъ македонцы, становясь жертвами турецкихъ злодѣйствъ, не подставляли горла подъ ятаганы, какъ беззащитные ягнята. Чтобы, когда движеніе македонской свободы созрѣетъ и вспыхнетъ, турки не могли бы сразу залить его нашею кровью, какъ заливаютъ теперь. Мы провозимъ оружіе тайно—такъ тайно, что до сихъ поръ ни турецкое правительство, ни болгарское не могли услѣдить за нами. Что для турокъ мы должны быть неизбежно политическими контрабандистами, ясно само собою, по самому смыслу нашего дѣла. Контрабандность же нашихъ дѣлъ предъ болгарскимъ правительствомъ объясняется тѣмъ, что мы вовсе не желаемъ компрометировать страну, оказывающую намъ гостепріимство, предъ ея сюзеренкою и довести ее до того, чтобы, по приказу Турціи, она, хотя бы и скрѣпя сердце, уничтожала нашу работу, разрушала наши начинанія, конфисковала патріотическія пріобрѣтенія, стоящія столько кровью и потомъ добытыхъ денегъ и сверхчеловѣческихъ трудовъ *).

Вы видите передъ собою человѣка, противъ котораго сейчасъ—весь свѣтъ. Мнѣ закрыть входъ въ Румынію, гдѣ я осужденъ заочно, въ Сербію, гдѣ меня ненавидятъ, какъ болгаро-македонскаго націоналиста,—о Турціи нечего и говорить, въ Австріи со мною тоже церемониться не станутъ. Эта маленькая Болгарія—единственный клочокъ земли, гдѣ я могу еще покуда жить свободнымъ. Долго ли такъ будетъ? Кто знаетъ! Мы, дѣятели комитетовъ, имѣемъ здѣсь сейчасъ врагами князя, правительство, горожанъ,—наша опора только въ народныхъ слояхъ, только въ безкорыстномъ и беззавѣтномъ патріотизмѣ болгарскаго на-

*) Что однако началось въ 1902 году и упорно продолжается въ 1903.



Болгарскіе типы. Старый родонскій горецъ.

рода. И, конечно, лишь страх оскорбить патриотизм этот и потерять всякую популярность въ странѣ, а, можетъ быть, и вызвать сочувственныя намъ волненія,—только такая боязнь препятствуетъ правительству, насъ ненавидящему, объявить намъ ту открытую войну, которой давно требуетъ отъ него Турція, и требованіе ея поддержано четырьмя другими великими державами, въ томъ числѣ, къ огорченію нашему, и Россіею; ваши представители открыто и сурово идутъ противъ насъ и требуютъ отъ болгарскаго правительства строжайшихъ мѣръ къ нашему уничтоженію. Мы одни, и намъ остается лишь дѣйствовать за собственный свой счетъ, не надѣясь ни на какую помощь и защиту. Потому что Австрію, какъ бы она ни стремилась къ намъ, мы въ Македонію не поведемъ никогда и ни за что. Не стоило бы освобождать славянскихъ земель отъ турецкаго ига съ тѣмъ, чтобы поработить ихъ игу австрійскому. Иго турецкое можетъ пролежать надъ страной лишнихъ десять, двадцать, даже пятьдесятъ, сто лѣтъ, а потомъ все-таки падеть. Но гдѣ на славянина положили свою руку швабы, тамъ онъ останется навѣки рабомъ,—изъ австрійскихъ тисковъ не вырываются.

Сербы и Австрія ненавидятъ насъ за то, что мы будто бы стремимся къ великой Болгаріи. Это заблужденіе. Мы—болгары родомъ, кровью, складомъ ума и жизни, всѣмъ убѣжденіемъ. Но мысль о сліяніи съ княжествомъ болгарскимъ не улыбается намъ уже давно. Правительство болгарское поняло это, и—отсюда та готовность, съ какою оно принялось насъ преслѣдовать, въ угоду Стамбулу, по дудкѣ г. Мельхамэ. Вы хорошо знаете: Македонію равно считаютъ своею болгары, сербы, греки. На нее равно точатъ зубы Болгарія, Греція, Сербія, Черногорія. Всѣ кричатъ: она моя. Не лучшее ли это доказательство, что она — ничья? Македонія должна принадлежать самой себѣ, и, конечно, если мы освободимъ ее, то освободимъ не для со-сѣдей, а для нея самой, превратимъ ее не въ болгарскую

провинцію, а въ новую славянскую автономію, то-есть— въ новую ступень къ великой славянской федераціи на Балканскомъ полуостровѣ, единственно которою можетъ быть разрѣшенъ вѣковой восточный вопросъ.

— Итакъ,—сказалъ я Борису Сарафову,—цѣли настоящей вашей дѣятельности—исключительно подготовительныя, вы отрицаете свою прикосновенность къ—такъ сказать—поджигательству маленькихъ пожаровъ, что время отъ времени вспыхиваютъ среди болгарскаго населенія Македоніи и такъ дорого обходятся ему, когда турки начинаютъ тушить эти вспышки и мстить.

— Вспышки,—отвѣчалъ Сарафовъ уклончиво,—дѣло темперамента. Если вы прослѣдите, гдѣ онѣ были, куда приходили маленькія банды изъ нашихъ македонцевъ, вы убѣдитесь, что тамъ онѣ и не могли не быть. Звѣрство турокъ противъ болгаръ вообще повсемѣстно въ Македоніи, а въ иныхъ селеніяхъ прямо превосходить всякое вѣроятіе и, естественно, возбуждаетъ къ потерѣ терпѣнія и возстанію даже самыхъ смирныхъ и безобидныхъ селяковъ. Въ такихъ случаяхъ, я полагаю, нѣтъ ничего худого въ томъ, если при невольныхъ повстанцахъ окажется дѣльный руководитель, который, движимый патріотизмомъ, пойдетъ раздѣлить участь своихъ братьевъ и будетъ полезенъ имъ уже тѣмъ, что, хоть нѣсколько знакомый съ военными дѣйствіями, научить земляковъ, какъ имъ вести себя, чтобы ихъ не перерѣзали, будто стадо барановъ. Комитетъ не посылаетъ бунтарей, чтобы поднимать народъ, даже строго порицаетъ тѣхъ экзальтированныхъ, но недалеконравныхъ людей, которые, черезчуръ спѣша на подвигъ освобожденія, пускаются на такія молодецкія приключенія за собственною своею отвѣтственностью. Но—когда македонцевъ грабятъ, рѣжутъ жгутъ, насилуютъ, и они хватаются за ножи и дреколье—никакой въ мірѣ комитетъ не въ силахъ удержать пылкихъ патріотовъ, желающихъ пойти къ угнетеннымъ братьямъ, помочь имъ воскреснуть

для свободы или пролить вмѣстѣ съ ними свою кровь. Да и гдѣ нравственное право удерживать?

Я знаю: сейчас не время для возстанія въ Македоніи. Мы не хотимъ возстанія. Если оно вспыхнетъ, то — не по нашей инициативѣ, а потому, что нѣтъ силы терпѣть. Вызовутъ возстаніе турки, а не мы. Туркамъ выгодно воспользоваться моментомъ, когда Россія — въ цѣпяхъ дальняго Востока, а остальная Европа, чрезъ Англію, затруднена трансваальскою войною. Они вызовутъ возстаніе, перерѣжутъ насъ, какъ армянъ, и затѣмъ — побѣдителей не судятъ: въ настоящемъ помѣшать имъ никто не можетъ, а въ будущемъ — они оправдаются предъ Европою: не могли, молъ, поступить иначе! Какъ же, при такихъ условіяхъ, не вооружать македонцевъ?! Хорошо! Мы прекратимъ свою дѣятельность, разойдемся. Но — пусть и турки обезоружатъ своихъ мусульманъ. Вы поѣдете въ Македонію — увидите: каждый турокъ — ходячій арсеналь оружія. У него — револьверы за поясомъ, ружье за плечами. А если болгаринъ имѣетъ ружье, первый встрѣчный турокъ имѣетъ право отнять у него оружіе и взять себѣ въ полную собственность. И если болгаринъ упрямится и не отдаетъ, это уже бунтъ противъ власти: турокъ въ правѣ убить его на мѣстѣ. Въ каждомъ селѣ, въ каждой деревушкѣ турки держатъ по 20—30 солдатъ военнымъ постоемъ, готовыхъ, при первомъ же подозрѣніи заговора или возстанія, броситься на населеніе и произвести рѣзню. Что нужно имъ, чтобы возымѣть роковое подозрѣніе? Да ничего: никакихъ фактовъ, — одна злая воля, хищническая прихоть. Треть болгарскихъ учителей уволена, арестована. Салоникскія тюрьмы полны истязуемыми мучениками. Турки задались прямою цѣлью стереть съ лица земли македонское болгарство. И — только болгарство. Потому что другіе христіане живутъ сравнительно спокойно. Въ послѣдніе годы, когда число погубленныхъ въ Македоніи болгаръ надо измѣрять тысячами, турки зарѣзали всего

одного грека, а объ избіеніи сербовъ я что-то вовсе не слыхиваль. Больше вамъ скажу. Сами избиваемые болгаре страдаютъ не столько за происхожденіе свое и вѣроисповѣданіе, сколько за имя. Сейчасъ македонскій болгаринъ—мученикъ. Пусть онъ завтра скажетъ турку: «я сербъ!»—и его оставляютъ въ покоѣ. А если онъ скажетъ: я грекъ! и признаетъ патріархію,—съ нимъ даже дѣлаются любезны. Вѣдь настоящіе греки въ Македоніи живутъ только по ту сторону Быстрицы. Всѣ, именующіе себя греками на востокъ Македоніи,—такіе же славяне, какъ мы съ вами: они — болгары, говорятъ по-болгарски и по-гречески даже не разумѣютъ. Но—звать себя патріаршистомъ и грекомъ спасаетъ македонца отъ турецкихъ ятагановъ, и люди жертвуютъ своей національностью, чтобы спасти жизнь. Но такихъ малодушныхъ немного. Съ каждымъ днемъ растетъ въ Македоніи національное самосознаніе. «Бугаринъ сѣмъ!»—повторяетъ македонецъ, несмотря на всѣ выгоды отреченія, —даже подъ страхомъ смерти. Какого же вамъ еще надо доказательства, что онъ дѣйствительно болгаринъ? А, вѣдь, какъ упорно насъ хотятъ разувѣрить въ томъ!

Русскій консулъ въ Ускюбѣ г. Машковъ торжественно объявилъ намъ, чтобы мы не смѣли выдавать себя за болгаръ: «Вы,—говорить,—сербы, а не болгары, вы не знаете своей собственной національности». Быть можетъ, отрицательное отношеніе къ намъ г. Машкова надо принять, какъ косвенный совѣтъ—именоваться сербами, въ видѣ страховки отъ насилій, потому что, повторяю, сербовъ турки не трогаютъ? Иначе заявленіе это лишено смысла. Мы много ломали надъ нимъ головы: что бы оно обозначало? Думали-было даже, не знакъ ли это, что Россія собралась исполнить прежній, висѣвшій въ воздухѣ проектъ—приготовлять македонцевъ къ расчлененію ихъ родины по народностямъ? Но повторяю вамъ: всѣ подобныя цѣли неосуществимы, потому что населеніе уже слишкомъ проникнуто національнымъ самосознаніемъ,—оно и не можетъ, и

не хочеть казаться инымъ народомъ, чѣмъ есть на самомъ дѣлѣ.

Автономная македонская идея поссорила насъ съ болгарскимъ правительствомъ. Развѣ прежде не былъ къ намъ внимателенъ и любезенъ князь Фердинандъ? Развѣ тотъ же Рачо Петровъ, который въ свое министерство такъ усердно принялся за наше укрощеніе, не былъ нашимъ сочувственникомъ въ 1895 году и не разрѣшилъ намъ, пяти молодымъ офицерамъ, перейти македонскую границу и вести четы? Мы тогда, съ 65 войниками, взяли у турокъ городъ Мельникъ: дѣло, шумѣвшее въ свое время на весь славянскій міръ и ужаснувшее Стамбулъ... Насъ ласкали, покуда надѣялись, что мы своими руками вынемъ изъ огня македонскіе каштаны и передадимъ ихъ, съ поклономъ, болгарскому правительству: большіе люди хотѣли выѣхать на плечахъ маленькихъ. Правительство мечтало о санъ-стефанскихъ границахъ, князя Фердинанда, какъ челоуѣка, любящаго красивыя положенія, прельщалъ эффектъ присоединить къ своимъ двумъ вѣнцамъ еще третій—македонскій. Когда мы обманули эти ожиданія, отъ насъ отвернулись съ горечью, стали жаловаться, что мы вредимъ Болгаріи въ отношеніяхъ ея съ сюзеренкою, роняемъ ее во мнѣніи державъ, стали увѣрять, что мы преслѣдуемъ цѣли не македонской свободы, но внутренняго болгарскаго партизанства, что мы угрожаемъ правительству и верховной власти, вносимъ въ страну анархію, убиваемъ, шантажничаемъ и соримъ деньгами, собранными на святое дѣло, по кафе-шантанамъ, трактирамъ и публичнымъ домамъ.

Со стороны болгарскаго правительства огромная ошибка разсматривать насъ, какъ какую-то революціонную армію. Намъ нѣтъ дѣла до внутреннихъ болгарскихъ безпорядковъ. Мы здѣсь въ гостяхъ. Когда македонское движеніе созрѣетъ и перейдетъ въ открытое возстаніе, мы поблагодаримъ хозяевъ за гостепріимство, простимся съ ними и

уйдемъ на родину, чтобы стать свободными или сложить свои головы. Что касается возможности намъ сложиться въ болгарскую политическую партію, то мы къ тому шаговъ не дѣлали, не дѣлаемъ и дѣлать не будемъ. А вотъ многіе изъ упрекающихъ насъ такою возможностью неоднократно заигрывали съ нами, въ расчетѣ припугнуть нашимъ вліяніемъ то правительство, то избирателей, то народное собраніе. Намъ ставятъ въ укоръ, что мы пользовались покровительствомъ г. Радославова. Право, г. Амфи-театровъ, это пресловутое покровительство выражалось только въ томъ, что онъ не гналъ насъ, какъ сталъ гнать потомъ его преемникъ, Рачо Петровъ, и собираются гнать господъ Каравеловъ и Сарафовъ. Мы были терпимы. И только.

Но имъ съ нами справиться будетъ не легко. Мы не общаемъ никакихъ насильственныхъ дѣйствій, никому не грозимъ. Легенда, будто мы сулили убить князя, будто онъ даже нашелъ у себя въ кабинетѣ, на письменномъ столѣ своемъ, смертный приговоръ, такая же бессмыслица, какъ румынскія фантазіи, что я «приказалъ» убить короля Карла, а потомъ—Александра сербскаго. Оставить сейчасъ Болгарію безъ князя значило бы вызвать въ ней такія внутреннія волненія, что, за собственными ближайшими заботами и интересами, у княжества не останется никакой возможности вникать въ македонское дѣло и работать для него. Не говорю уже о потерѣ симпатій, какую непременно повлекъ бы за собою столь насильственный актъ. У насъ нѣтъ не только желанія или намѣренія истреблять князя или министровъ его, но нѣтъ даже и практическаго расчета къ тому. Правительству слѣдовало бы понимать это и не взводить на насъ напраслины. Вся эта сказка о затѣваемыхъ нами покушеніяхъ и т. д. создавалась на почвѣ фразы, которую я сказалъ при послѣдней перемѣнѣ министерства, когда возникли настойчивыя требованія державъ противъ комитетовъ, начались преслѣдованія стрѣлковъ



РАЧО ПЕТРОВЪ,
бывшій министръ-президентъ княжества Болгарскаго.

обществъ и т. д. Я сказалъ тогда, что за послѣдствія — если дѣйствія болгарскаго правительства повлекутъ за собою ухудшеніе въ положеніи Македоніи — я буду считать отвѣтственнымъ лично самого князя. Изъ этихъ простыхъ словъ выросли угрозу аттентатомъ.

Безъ всякихъ аттентатовъ, безъ всякихъ насилій и угрозъ, македонская «кауза» опасна для правительства, если оно станетъ продолжать борьбу съ нами, въ совсѣмъ иномъ отношеніи. Борясь съ нами, оно борется съ народною идеею, съ національнымъ идеаломъ, глубоко пропитавшимъ душу болгарина. Оно рискуетъ гоненіями противъ насъ утратить всякую популярностъ и тогда, безъ всякихъ усилій съ нашей стороны, само поскользнется и сломитъ себѣ шею. Если вы сравните агитацію въ Македоніи сербовъ и грековъ съ дѣятельностью болгарскихъ комитетовъ, то увидите, какая глубокая психологическая разниа лежитъ между тѣми движеніями и нашимъ. Движенія сербовъ и грековъ — политическія, они создаются извнѣ правительствами автономій. Наше — національное. Почему нѣтъ освободительныхъ македонскихъ комитетовъ въ Сербіи, въ Греціи, а есть они только въ Болгаріи? Потому что македонскія вождедѣнія имѣются въ греческихъ и сербскихъ правительственныхъ и политиканствующихъ кругахъ, но мертвы въ народной массѣ: ни сербы, ни греки-крестьяне не чувствуютъ македонца своимъ роднымъ братомъ, какъ мы, болгаре. Для нихъ македонское дѣло — только выгодное, тогда какъ для насъ оно — кровное. Тамъ македонское движеніе могло бы создаться лишь воздѣйствіемъ правительства и интеллигенціи. У насъ же — если даже вся интеллигенція и цѣлый рядъ правительствъ возстанутъ противъ комитетовъ — народное сочувствіе не дастъ имъ погибнуть или заглухнуть. Потому что всякій болгарскій сельскъ понимаетъ, что мы работаемъ единомышленно съ нимъ и для него, что мы ищемъ дѣла кроваваго и праваго.

Бѣлградъ и король Александръ.

Я засталъ Бѣлградъ въ медовомъ мѣсяцѣ упоенія новою конституціею и надеждъ, на нее возлагаемыхъ. Конечно, всякій медъ—не безъ горечи, и уже тогда существовала довольно значительная ультра-радикальная группа, которой «двудомная система» не доставляла ни малѣйшаго утѣшенія и удовольствія, а «фузія», т. е. сліяніе напредняковъ съ радикалами, представлялась протiwоестественною, неискреннею, а потому и мало надежною, и недолговѣчною. Будущее показало, что эти скептики были совершенно правы. Но въ общемъ, не заглядывающемъ вдаль болъшипствѣ было торжество, ликованіе и лобызаніе веліе. Даже слишкомъ много торжества!

— Знаете ли, что наше настроеніе сейчасъ напоминаетъ?—сказалъ мнѣ одинъ сербъ-скептикъ, русскій воспитанникъ.—Тотъ моментъ изъ басни «Квартетъ», когда мартышка разсадила звѣрей-музыкантовъ заново, по-своему, и хвастается:

Теперь пойдетъ ужъ музыка не та,
У насъ запляшутъ лѣсъ и горы...

— А вамъ не вѣрится, что музыка будетъ не та, и лѣсъ и горы готовятся въ пляску?

Сербъ пожалъ плечами и сказалъ:

— Подождемъ и послушаемъ, какъ квартетъ заиграетъ осенью, когда будутъ выборы.

Объединительная прокламація, выпущенная въ видѣ редакціонной программы новаго правительственнаго органа, газеты «Дневникъ» не имѣла особенно яркаго успѣха

и не внушила населенію твердаго довѣрія и симпатій. Въ публикѣ повторялось мнѣніе, что фюзіонисты не могли получить согласія принять всю ихъ программу цѣликомъ отъ такихъ важныхъ и серьезныхъ государственныхъ людей, истинныхъ столповъ сербской правительственной жизни, какъ Новаковичъ и Савва Груичъ. Они-де помянуты какъ-то въ уголку, глухо и робко,—очевидно, что реформа партій встрѣтила съ ихъ стороны лишь полусогласіе, а не сочувствіе, выжидательную терпимость, а отнюдь не энтузіазмъ.

Во главѣ сербскаго кабинета стоялъ dr. Михайлъ Вуичъ, профессоръ политической экономіи, молодой еще ученый, съ европейскою извѣстностью. Курсъ его лекцій, представляющій весьма цѣнный научный трудъ, переведенъ на нѣсколько европейскихъ языковъ. Веселый, красивый, энергичный Вуичъ — и умнымъ подвижнымъ лицомъ своимъ, озареннымъ блестящими черными глазами, и крупною фигурою, и непринужденными манерами хорошо воспитаннаго человѣка, и быстрою, эффе́ктною, полною изящныхъ образовъ и оборотовъ рѣчью — живо напомнилъ мнѣ нашего, незабвеннаго для каждого студента-москвича начала восьмидесятыхъ годовъ, Максима Максимовича Ковалевскаго. Вуичъ — превосходный ораторъ и пользуется — повидимому, вполне заслуженно — репутаціею обаятельнаго человѣка. Познакомившись съ нѣсколькими радикалами, я убѣдился, что они просто влюблены въ Вуича, и что личное его очарованіе въ весьма значительной долѣ цементируетъ вновь созданную правительственную унію. Я неоднократно слышалъ фразы, въ родѣ:

— Никогда бы я не пошелъ на службу къ этому правительству компромиссовъ, если бы не Миша Вуичъ.

— Оплоталъ Миша Вуичъ, что согласился на двудомную конституцію,—но ужъ теперь нечего дѣлать. Хорошо, что онъ у власти. Это — гарантія. Надо поддержать Мишу Вуича.

Другой сильный двигатель сербской политики — министр народного просвещения г. Павле Маринковичъ, напреднякъ-фузіонистъ. Это — личный другъ короля, редакторъ, а нѣкоторые увѣряютъ, что и авторъ новой конституціи (1901 г.). Онъ былъ адвокатомъ, журналистомъ — теперь вврочаетъ государствомъ*). Маленькій человекъ, съ огромнымъ Бисмарковымъ лбомъ, онъ отличенъ изъ толпы «лица не общимъ выраженіемъ». Изъ долгаго разговора съ г. Маринковичемъ я убѣдился, что помимо природной живости ума, наблюдательнаго и вдумчиваго, онъ обладаетъ широкимъ и разностороннимъ образованіемъ. Къ конституціонной реформѣ онъ относится съ истинно-родительскимъ оптимизмомъ, и всякое скептическое замѣчаніе насчетъ ея, видимо, ранитъ его въ сердце. Въ противность Вунчу, который откровенно сознается, что теоретически онъ противъ двудомной системы, и что согласился онъ на ея принятіе лишь въ виду исключительныхъ практическихъ и, надо надѣяться, временныхъ условій, сложившихся сейчасъ въ Сербіи, — Маринковичъ — прямой и убѣжденный сторонникъ двухъ палатъ, увѣренный, что сенатъ прекрасно выполнитъ ту роль регулятора политическихъ страстей, которой ждутъ отъ него король и народъ.

Радикалы высказывали упованія, что сенатскій регуляторъ будетъ умѣрять политическія смуты не только внизу, то-есть въ скупщинѣ, но и вверху, то-есть, въ случаѣ надобности, окажется въ состояніи проявить дѣятельное сопротивление возмозному произволу королевской власти.

— Сенатъ — ручательство, что мы не будемъ имѣть второго Милана, — говорили они.

*) Ворочаль очень недолго. Какая-то «дамская исторія», дошедшая до дуэли, заставила его разстаться съ кабинетомъ на первыхъ же порахъ министерства. Но закулисное вліяніе М—ча осталось въ силѣ. Поэтому я и рѣшилъ сохранить въ текстѣ старыя строки объ этомъ эфемерномъ министрѣ. Его негласная роль была важнѣе многихъ гласныхъ, и не знаю, пересталъ ли онъ ее играть (1903).

привычкахъ, болѣзняхъ, но король сербскій оказался безсиленъ противъ Загорѣцкихъ, преслѣдующихъ его семью то былями, раздутыми изъ мухи въ слона, то небылицами, созданными чѣмъ-либо злобнымъ и распутнымъ, мстительнымъ воображеніемъ. Кошкѣ и собакѣ никто не препятствуетъ скрыться, чтобы родить, въ темный уголокъ чердака или погреба, гдѣ не увидитъ ея глазъ ни человѣка, ни звѣря, но отъ королевы требуютъ, чтобы самый таинственный и значительный актъ ея женской жизни совершился во всеобщее свѣдѣніе, только что не на глазахъ у всѣхъ,—въ стеклянномъ домѣ. Если бы о женщинѣ частнаго круга доктора сообщили интервьюеру хоть одну десятую тѣхъ слуховъ и толковъ, что занимали въ то время цѣлыя колонны въ газетахъ Вѣны, Будапешта, Рима, —семья могла бы судебно преслѣдовать и газету, и доктора, какъ нарушителя врачебной тайны. Но съ женщиною, имѣвшею несчастье взобраться на королевскій тронъ, стѣсненія излишни.

И именно—съ женщиною, взобравшеюся на королевскій тронъ, а не рожденною на немъ. Я увѣренъ, что—будь королева Драга, до брака своего, принцессою крови—ея несчастье не только не обсуждалось бы въ печати, но было бы совершенно замолчано даже врагами ея, какъ простой фізіологическій казусъ, о которомъ целовко распространяться и которымъ совсѣмъ уже гнусно пользоваться въ качествѣ оружія противъ женщины. Нѣтъ династіи, въ которой были бы только счастливыя, легкія рожденія. Надъ царственными семьями такъ же, какъ и надъ семьями простыхъ смертныхъ, тяготѣетъ первобытный библейскій завѣтъ: «Въ болѣзняхъ будеши родити чада». Однако, о томъ, какъ и когда проявляются болѣзни дѣтороженія, общающія единствомъ своимъ королевъ съ поденщицами, не только не «позволительно», но и не принято публиковать во всеобщее свѣдѣніе,—въ уваженіе того же стыда, что препятствуетъ порядочному человѣку говорить предъ посторонними о физическихъ женскихъ недостаткахъ своихъ родственницъ, пріа-

тельницъ, знакомыхъ, хотя бы недостатки эти были ему хорошо извѣстны. Какъ будто нѣтъ бесплодныхъ принцессъ! какъ будто у принцессъ не бываетъ неправильныхъ родовъ, выкидышей и т. п.! Но когда, гдѣ что-либо подобное вызывало такую гадкую, злую радость, какъ несчастіе Драги? Никогда и пигдѣ. Напротивъ: поскольку такія событія становились извѣстными публикѣ и доступными къ оглашенію въ печати, они всегда обсуждались съ почтительнымъ сожалѣніемъ, съ сочувствіемъ къ женщинамъ, ставшимъ ихъ жертвами. А тутъ—именно восторгъ! Буржуазный, ехидный восторгъ мелкой, пошлой зависти къ человѣку, которому повезло. Такъ вѣдь и чувствуется между строкъ, въ шипѣніи какой-нибудь «Neue Freie Presse», такъ и слышится:—Хи-хи-хи! А еще королева! хи-хи-хи... Вотъ тебѣ и королева!.. Подленькое, злобенькое, безпросвѣтно буржуазное, захолустное подхикиванье.

Замѣчалась у австрійцевъ большая охота перейти отъ словъ и къ репрессивнымъ дѣйствіямъ, но не находилось рѣшительно никакого предлога. Сербы задались цѣлью обороняться противъ своей мощной и коварной сосѣдки, одѣвши въ броню пассивной корректности: мыслямъ и чувствамъ своимъ противъ австрійцевъ они волю давали, но рукамъ и языку велѣли быть на привязи. Пресса сербская отвѣчала на самыя злобныя австрійскія выходки сдержанно, вѣжливо, спокойно. Пограничная политика Сербіи уступчиво гнулась предъ австрійскимъ нахрапомъ, какъ пружина, готовая сгибаться до послѣднихъ предѣловъ терпѣнія. Полагаясь на возобновленное дружество съ Россією, готовая на всѣ жертвы, лишь бы отдохнуть отъ внутреннихъ неурядицъ, благоустроить свой народъ, устранить призраки анархіи и финансоваго кризиса, Сербія зарядилась богатымъ запасомъ смиренія въ дѣлахъ внѣшнихъ. Она молча глотала сосѣдскія обиды, лишь складывая ихъ въ сердцѣ своемъ для отмщенія въ будущемъ, если Богъ пошлетъ силу. На всѣ австрійскія задиранія отвѣтъ со сто-

роны Сербіи—мертвый молчокъ. Болгаре весьма безцеремонно нарушили сербскую границу,—сербы молчатъ. Румыны, близъ Кладовой, стрѣляютъ въ сербскую рѣчную полицію,—сербы молчатъ. Угнетенія арнаутскія создаютъ огромную и зловѣщую эмиграцію изъ Старой Сербіи въ королевство, албанцы нападаютъ на сербскихъ граничаровъ, убиваютъ стражниковъ,—сербы терпятъ и молчатъ. Страна задалась цѣлью жить въ самое себя, копя свои соки, собирая силы до тѣхъ поръ, пока не воскреснетъ въ ней нервная энергія, растроченная сперва въ вѣковой борьбѣ за свою свободу, а потомъ—въ полувѣковой толчеѣ политическихъ партійныхъ неурядицъ.

Я былъ принятъ королемъ Александромъ въ аудіенціи, продолжавшейся сорокъ три минуты.

Отношенія въ бѣлградскомъ конакѣ просты,—гораздо проще, чѣмъ въ софійскомъ, гдѣ этикетъ прежде былъ весьма строгъ, а теперь только довольно строгъ, и—прежде, чѣмъ очутиться въ кабинетѣ князя Фердинанда,—вы должны пройти черезъ нѣсколько придворныхъ инстанцій, передающихъ васъ одна другой съ рукъ на руки. Въ бѣлградскомъ дворцѣ меня встрѣтилъ дежурный офицеръ,—не спросивъ никакихъ пропускныхъ билетовъ и удостовѣреній, ввелъ въ пріемную, гдѣ и оставилъ одного на добрыхъ двадцать минутъ: я пріѣхалъ раньше назначеннаго срока. Обстановка пріемной весьма богата, въ коврахъ, въ дорогомъ оружіи по стѣнамъ, съ восточными тахтами, усыпанными подушечками, съ множествомъ наргилэ и т. д. Это—отноудь не залъ «дворца», а просто хорошо убранная комната въ домѣ частнаго человѣка, съ прекраснымъ состояніемъ и художественнымъ вкусомъ. О частномъ же бытѣ, а не о дворцовой натянутости, говорили звуки, доносившіеся ко мнѣ въ мое одинокое ожиданіе. Гдѣ-то за стѣною глухо гудѣлъ оживленный разговоръ: потомъ оказалось, что

этотъ гулъ доносился именно изъ кабинета короля, принимавшаго ранѣе меня министра народнаго просвѣщенія, г. Маринковича. Съ другой стороны, за дверями, завѣшанными портьерою, шаркали половыя щетки, и прислуга, не стѣсняясь, громко переговаривалась между собою. Все это вмѣстѣ производило впечатлѣніе дома съ широко растворенными дверями. Видно, что король Александръ не боится своихъ посѣтителей и не принимаетъ въ отношеніи ихъ никакихъ предосторожностей *). Въ двадцать минутъ, которыя я просидѣлъ одинъ-одинешенекъ, безъ всякаго надзора, — лишь подъ самый конецъ ожиданія пришелъ какой-то почтенный старичекъ, тоже получившій аудіенцію, — даже самый неловкій злоумышленникъ, конечно, успѣлъ бы начинить динамитомъ всѣ наргилэ, тумбочки и бездѣлушки красивой комнаты, въ количествѣ, совершенно достаточномъ, чтобы взорвать на воздухъ три четверти маленькаго Бѣлграда.

Пришелъ гайдукъ, здоровый, толстомордый парень, съ плечами въ косую сажень, поклонился, широко распахнулъ дверь, сказалъ:

— Извольте!

И вотъ — черезъ маленькія сѣни — я въ скромномъ маленькомъ кабинетѣ маленькаго сербскаго короля, и онъ самъ встаетъ ко мнѣ навстрѣчу изъ-за маленькаго письменнаго столика.

Король Александръ, вслѣдствіе небольшого роста и — употребляя выраженіе старое, но вполне подходящее въ данномъ случаѣ, — субтильнаго сложенія, кажется еще моложе своихъ двадцати шести-семи лѣтъ. Мое первое впечатлѣніе было: «какой черненькій мальчикъ!» Одѣтъ онъ былъ въ чѣрный сюртукъ, что опять-таки придавало ему видъ частнаго человѣка: всѣ мы такъ привыкли, во всѣхъ странахъ Европы, соединять съ представленіемъ о государѣ блескъ военнаго мундира.

*) Время это осталось позади. Теперь совсѣмъ уже не то... (1903).

Портреты короля Александра мало похожи. Въ натурѣ онъ гораздо благовиднѣе, чѣмъ передаетъ его черты фотографія. Къ тому же, снимаясь почему-то почти всегда въ профиль, который у него вовсе не античный, онъ закрываетъ дужкою рінсе-пез свои прекрасные, темнокаріе глаза съ серьезнымъ взоромъ человѣка, испытываго въ жизни больше невзгодъ и страданій, чѣмъ общали ему и его положеніе, и его, до сихъ поръ еще зеленая, молодость. Въ тѣ годы, когда бы ему еще развиваться и наслаждаться жизнью, въ качествѣ веселаго юнаго юнкера, король Александръ былъ уже героемъ тяжелыхъ государственныхъ и семейныхъ драмъ, претерпѣвать которыя не дай Богъ никакому юношѣ. И драмы эти оставили на немъ свою печать. Повторяю: у него глаза душевно усталого человѣка. Онъ смотритъ рѣшительно, говоритъ твердо и смѣло, но вы чувствуете: эти рѣшительность, твердость, смѣлость непрочны; онѣ построены на шаткомъ фундаментѣ цѣлаго ряда крушеній житейскихъ,—предъ вами человѣкъ, глубоко разочарованный въ людяхъ своего проплага, сжегшій всѣ свои корабли, чтобы, махнувъ рѣкою на ихъ ни къ чему непригодный пепелъ, начать строить новые. И, притомъ, не очень-то вѣрить онъ и въ эту свою постройку... Нервенъ онъ страшно, и неудивительно, что, подъ фотографическимъ аппаратомъ, отъ всѣмъ знакомаго, щемящаго чувства ожиданія, лицо короля всегда успѣваетъ сморщиться въ непріятную гримасу. Такихъ людей надо фотографировать моментально и лучше всего, когда они того не подозреваютъ. Слушаетъ король внимательно и спокойно, какъ будто запоминая урокъ, который надо будетъ отвѣчать,—говоритъ же необычайно быстро, сопровождая почти каждую фразу рѣзкимъ, но неувѣреннымъ жестомъ, угловатость котораго говоритъ и о молодости, и о дурномъ зрѣніи. Манеры его несвободны. Въ нихъ сказывается позднее перевоспитаніе короля для положенія, которое онъ занялъ раньше, чѣмъ ждали. Дѣтство Александра —

не изъ радостныхъ. Онъ росъ ребенкомъ запущеннымъ, съ воспитаніемъ его долго небрежничали.

— Помилуйте! Онъ, среди разговора, на полъ плюетъ!.. ужасался одинъ изъ русскихъ дипломатовъ, знавшій Александра еще совсѣмъ мальчикомъ.

Для начала я поблагодарилъ короля за пріемъ. Онъ отвѣчалъ:

— Я очень радъ принять васъ. Вы русскій журналистъ. А съ тѣхъ поръ, какъ Сербія и Россія идутъ въ политическихъ вопросахъ рука въ руку, надо, чтобы Россія имѣла совершенно ясное и откровенно высказанное представленіе о томъ, что дѣлаетъ и думаетъ Сербія.

Я высказалъ королю нѣсколько теплыхъ словъ по поводу того поворота къ руссофильско-національной политикѣ, который такъ твердо и искусно выполнило сейчасъ его правительство, и по поводу явнаго для всякаго очевидца внутренняго умиротворенія страны черезъ только-что объявленную конституцію.

Король отвѣчалъ:

— Что касается первой половины вашихъ словъ, скажу: я вовсе не первый, кто понялъ необходимость такой политики; ея желали и моя мать, и мой отецъ(?); но они не могли вступить на путь, котораго желали,—а для меня обстоятельства сдѣлали это возможнымъ и удобнымъ. Я убѣдился, что для Сербіи возможны лишь два способа существованія: или отказаться отъ національной идеи и дать дорогу на Балканскій полуостровъ германскому началу, почтительно предъ нимъ сторонясь и ему услуживая, или всѣми силами народными и правительственными встать за національную идею и примкнуть къ Россіи, матери-покровительницѣ всего славянства. Двадцатилѣтній опытъ долженъ былъ убѣдить насъ въ полной несостоятельности перваго способа: народъ не хочетъ швабовъ, не хочетъ Австріи, — ихъ нельзя сдѣлать здѣсь популярными, если бы мы даже того хотѣли. Сербъ—прежде всего, всюду и вездѣ

сербъ, славянинъ, сербомъ и славяниномъ хочетъ быть и останется. И правительство, которое желаетъ быть народнымъ, а только народное правительство можетъ быть сильнымъ въ нашей странѣ, не въ состояніи проводить въ жизнь эту антипатичную, мертвую политику. Оно должно быть національнымъ, оно должно быть славянскимъ, оно должно опираться не на Австрію, вносящую къ намъ идеи и рабство германизма, но на Россію, какъ на символъ обще-славянскихъ началъ.

Чтобы стать на такія основы въ политикѣ внѣшней, мы должны были упорядочить нашъ внутренній строй. Намъ нужно стало правительство стойкое, неспособное колебаться подъ любымъ внѣшнимъ дуновеніемъ. Намъ нужно стало правительство дружное и неподкупное, съ гарантіей, что государственные интересы будутъ имъ соблюдаемы больше, чѣмъ интересы партійные. Намъ нужно правительство представителей всей страны, а не политическихъ группъ, случайно выплывающихъ къ власти. Такое правительство стараюсь создать я, чрезъ объявленную конституцію, соединивъ, во имя ея, у власти напредняковъ съ радикалами...

— Часть радикаловъ,—замѣтилъ я, — однако, недовольна конституціей, полагая, что излишне и ошибочно политически создавать въ Сербіи верхнюю палату.

— Есть маленькая, крайняя фракція недовольныхъ,—быстро согласился король. — Но она незначительна и не сильна. Да и недовольство ея—скорѣе плодъ недоразумѣнія, чѣмъ сознательной оппозиціи *). Благоразумнѣйшая часть, то-есть огромное большинство, поняла, что введеніемъ двухъ палатъ создается компромиссъ, образующій единство между партіями, до тѣхъ поръ исторически разлученными.

— Многие,—возразилъ я,—находятъ, что, если понимать вновь создаваемый сенатъ, какъ верхнюю палату, палату господъ, то для нея въ столь демократической

*) Будущее показало, что это не такъ... (1903).

странѣ, какова Сербія; не найдется даже и нужныхъ элементовъ.

— Какъ не найдется? Но я уже составилъ сенатъ,— горячо воскликнулъ король,— вотъ вамъ лучшее опроверженіе такого упрека. Это громадное заблужденіе, что верхняя палата обязательно представляетъ собою учрежденіе аристократическое. Она не можетъ быть аристократическою въ Сербіи, да и у насъ нѣтъ тенденціи дѣлать ее аристократическою. Уже прежде всего потому, что у насъ нѣтъ аристократіи. Сербы—цѣльный народъ, не дѣлимый на классы*). Положеніе высшаго и низшаго въ нашей странѣ создается только образовательнымъ и государственно-служебнымъ цензомъ. Итакъ, покончимъ съ этимъ предубѣжденіемъ разъ навсегда: создавая сенатъ, я не думалъ полагать начало какому-то аристократическому учрежденію, не собирався сѣять чрезъ него въ Сербіи сѣмена будущей аристократіи. Въ моей идеѣ, сенатъ есть просто собраніе лучшихъ и опытнѣйшихъ умственныхъ и служебныхъ силъ страны, поработавшихъ, хотя разнымъ путемъ и въ разное время, но съ одинаковымъ патріотизмомъ для Сербіи и сербовъ. Онъ объединилъ людей самыхъ различныхъ направленій. Они имѣютъ теперь возможность сталкиваться между собою спокойно, полноправно, безъ давленія со дна скупщины.

Затѣмъ—моя идея, чтобы сенатъ явился тѣмъ регуляторомъ правительственной жизни, котораго такъ не хватаетъ славянскимъ демократическимъ автономіямъ. Взгляните на нашу сосѣдку Болгарію. Развѣ не жалкое зрѣлище представляютъ политическія неурядицы, созидаемыя ея широкою конституціею, превращающею демократію въ охлократію, въ господство толпы? Я увѣренъ, что князь Фердинандъ, котораго вы, какъ я читалъ и помню, хорошо знаете, весьма часто долженъ сокрушаться въ сердцѣ, что его госу-

*) Потому-то славянство и изумлялось, зачѣмъ понадобилась сербамъ *двудомная* конституція. (1903).

дарство не имѣть верхней палаты. Государству молодому, страстно живущему, развивающемуся снизу вверхъ, необходимо задерживающее разумно-критическое начало, способное, регулируя его ростъ, сохранить и обезпечить ему свободу, но обязанное не допускать въ немъ уклоненій въ сторону анархіи. Носителемъ такого начала и долженъ быть сенатъ. Достаточно ли онъ авторитетенъ для того? Несомнѣнно. Мы употребили всѣ усилія, чтобы соединить въ немъ лучшихъ людей Сербіи. Онъ составленъ изъ бывшихъ министровъ, въ разное время и при разныхъ политическихъ теченіяхъ управлявшихъ страной, изъ знаменитыхъ государственныхъ людей и вожаковъ. Каждая партія въ скупщинѣ найдетъ въ сенатѣ свой, признанный ею авторитетъ, чьему суду и критикѣ надъ своими желаніями она не можетъ нравственно не подчиняться.

Мы уповаемъ, что учрежденіе сената, ставъ опорою власти, придастъ ей ту устойчивость, какая совершенно необходима въ данное время для упорядоченія финансово-экономическаго положенія королевства, для умиротворенія въ немъ умовъ, для развитія его на почвѣ національнаго самосознанія, для перехода отъ жизни, посвященной лишь государственному самоохраненію, къ цѣлямъ и задачамъ высшаго національнаго значенія...

Пользуясь этимъ намекомъ, я перевелъ рѣчь короля на македонскій вопросъ.

— Въ строгомъ смыслѣ слова, — сказалъ король, — македонскій вопросъ для насъ сейчасъ не существуетъ. Онъ — въ будущемъ, а не въ настоящемъ. Пока въ Македоніи и въ Старой Сербіи турки, какой же можетъ быть для насъ македонскій вопросъ? Намъ остается лишь молча признавать вѣковое право силы, какъ бы ни грустно было получать тяжелыя вѣсти о рабскомъ угнетеніи нашихъ единовѣрцевъ и единокровныхъ. Не мы создали такое положеніе, — не намъ его и развязать.

Совсѣмъ другое дѣло, конечно, если обстоятельства при-

мутъ такое направлѣніе, что турки должны будутъ очистить поле дѣйствія для новыхъ народностей. Конечно, мы выступимъ со своими законными историческими притязаніями на исконныя наши земли и не уступимъ ихъ никому. Да никто и не будетъ въ состояніи отнять ихъ у насъ, потому что это—наши земли, нашъ народъ, и не можетъ въ корень передѣлать его никакая пропаганда: ни болгарская, ни австрійская. Если бы мы считали нужнымъ или хотя бы полезнымъ, то, конечно, сумѣли бы отвѣтить пропагандою столь же, если еще не болѣе, энергическою. Но мы знаемъ, что вопросъ о Македоніи и Старой Сербіи рѣшится не пропагандами маленькихъ государствъ и не интригами Австріи, всѣмъ равно страшной и ненавистой, а силами высшими и несравненно болѣе богатыми и политическою мощью, и нравственнымъ авторитетомъ. Признавъ необходимость блюсти славянскую политику государства, сознавъ, что соблюденіе славянскихъ политическихъ устройствъ возможно для насъ лишь въ томъ случаѣ, если мы будемъ идти вмѣстѣ съ Россіею,—мы должны опереться на содѣйствіе ея и одномысліе съ нею и въ этомъ вопросѣ. До тѣхъ поръ, пока Россія, связанная ли дѣйствіями на дальнемъ Востокѣ, по другимъ ли внутреннимъ соображеніямъ, не найдетъ возможнымъ приступить къ разрѣшенію македонскаго вопроса и не дастъ намъ знака вступить за свои права, теперь пребывающія вмертвѣ, мы, сербы, соблюдаемъ самый строгій, самый корректный, самый лояльный нейтралитетъ. Что касается болгарскихъ притязаній на Македонію, ужасныхъ поступковъ македонскихъ комитетовъ и т. д., — все это очень непрочныя явленія. Раздѣлить македонское наследство между болгарами, нами, греками должно быть опять-таки дѣломъ Россіи, и только Россіи, и я надѣюсь, что такъ оно и будетъ.

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что сербамъ въ Турціи живетъ гораздо хуже, чѣмъ болгарамъ. Турки, быть-можетъ, боятся болгарскихъ комитетовъ, какъ подпольной воору-

женной силы, убивающей, терроризирующей, но это — страх частной безопасности, а не политический страх государства предъ гонимою націей. Какъ націи, турки болгаръ не боятся. Они очень хорошо знаютъ, что болгары не революціонеры, а только заговорщики. Болгарія никогда не знала революцій, которыя бы добывали для нея свободу самостоятельными народными силами: иго съ нея сняла цѣною своей крови Россія, дрались за нее мы, сербы, и Румынія. Но — что мы, сербы, представляемъ собою истинно-зажигательный, революціонный элементъ на Балканскомъ полуостровѣ, — этому сознанию турокъ обучила вся наша исторія. Для турка слово «сербъ» равносильно слову «революціонеръ». И онъ ненавидитъ и боится сербовъ, какъ націи, — подозрѣваетъ ихъ, даже когда они нейтральны и лояльны, потому что знаетъ: мы — революціонеры, своими руками отвоевавшіе у него для себя и свободу, и самостоятельный политическій оплотъ.

Да какъ будто одни турки сознаютъ насъ такими и ненавидятъ насъ за то? Развѣ вся исторія движенія Австріи въ славянскія земли не была направлена и не направляется теперь къ тому, чтобы обезсилить, раздѣлить, парализовать сербскій народъ, какъ элементъ, всегда готовый къ національной революціи, всегда враждебный иноплеменному владычеству? Берлинскій трактатъ помогъ Австріи въ этой цѣли ея, и мы цѣлыхъ двадцать лѣтъ, раздѣленные, задущенные, изнемогаемъ подъ бременемъ берлинскихъ условій. Правда, тотъ же трактатъ уничтожилъ и Великую Болгарію, которую графъ Игнатевъ продиктовалъ въ Санъ-Стефано. Но призракъ Великой Болгаріи, какъ вы видѣли, живъ въ Македоніи, и мы знаемъ, кто манитъ имъ болгаръ. За спиною болгарско-македонскихъ комитетовъ слишкомъ прозрачно мелькаетъ рука австрійской пропаганды. Ей нужны безпорядокъ, нестроеніе на Балканскомъ полуостровѣ, и она добивается своихъ цѣлей руками болгаръ. Она заманиваетъ ихъ въ смуту, чтобы потомъ обмануть. Потому

что, повторяю, она безсильна рѣшить вопросъ о славянскомъ наслѣдствѣ столь огромнаго объема и значенія,— здѣсь будутъ реально вліятельны и авторитетны слова и дѣйствія только великой славянской же державы, то-есть,— Россіи.

Когда графъ Игнатьевъ создавалъ санъ-стефанскую Болгарію, это было равносильно раздѣлу Балканскаго полуострова между Австріей и Россіей. Последняя отбирала подъ свое непосредственное вліяніе, подъ свою опеку восточную полосу отъ моря до моря подъ болгарскимъ флагомъ, а нашъ сербскій уголъ отходилъ подъ австрійское вліяніе. Прекрасная размежка по картѣ,—но при этомъ немного забыли посчитаться и съ исторіей, и съ психологіей народовъ. Намъ уступали австрійскому вліянію? Да—зачѣмъ же? Мы прежде всего не хотимъ австрійскаго вліянія. Мы не хотимъ быть съ Австріей, не хотимъ быть со швабами. Мы хотимъ быть съ Россією и славянами.

И, конечно, всякое болгарское стремленіе къ санъ-стефанскимъ границамъ грозитъ намъ въ будущемъ тою же опасностью, что и проектъ Игнатьева. Великая Болгарія бросаетъ насъ въ руки Австріи, а мы Австріи не хотимъ и не захотимъ. Мы идемъ съ Россією. Ея дѣло — рѣшить, какъ намъ размежеваться съ болгарами и другими, а—когда она рѣшитъ и поставитъ рѣшеніе свое твердо и властно — то, повѣрьте, голосъ ея будетъ выслушанъ, какъ окончательный приговоръ, не только нами, но и всѣми христіанскими народностями полуострова, не исключая и тѣхъ, что теперь кричатъ противъ Россіи и настраиваютъ себя быть ея врагами и видѣть въ ней врага.

Затѣмъ бесѣда перешла на мои македонскія впечатлѣнія. Я сообщилъ, что видѣлъ въ Ускюбѣ митрополита Фирмилиана, нашель его слабымъ, нервнымъ. Этотъ несчастный человѣкъ, игрушка политиканствующихъ церквей и церковничаящихъ дипломатовъ, живетъ въ самомъ унижитель-

помъ и глупомъ, да къ тому же еще и опасномъ положеніи, какое только можно придумать для іерарха. Ему враги— греки, враги—болгары, конечно, враги—турки, а сербы, которыхъ политику и церковь призванъ онъ представлять въ Македоніи,—плохіе друзья и защитники. Безъ оплота въ лицѣ русскаго консула, энергичнаго В. Θ. Машкова, Фирмилианъ давно бы ужъ былъ убитъ. Какой-то полупосвященный, безъ храмовъ, вѣчно угрожаемый, вѣчно оскорбляемый, онъ внушаетъ къ себѣ жалость, но не внушаетъ много уваженія... Говорятъ, что до Ускюба онъ былъ молодецъ хоть куда, и только тутъ вѣчный страхъ и стыдъ непрекращаемыхъ оскорбленій измочалилъ его нервы, пригнулъ его къ землѣ. Онъ боится людей и, съ горя, слышно, попиваетъ... Винить его грѣшно: на посту, который ему достался, и герой съ ума сойдетъ, а не только подобный Фирмилиану слабоволецъ... Но удивительно, какъ всегда и во всемъ въ сербской пропагандѣ, что для ускюбской епархіи не нашлось у сербовъ дѣятеля крѣпче волею и характеромъ тверже... Всѣхъ этихъ замѣчаній я, конечно, королю Александру не высказалъ, ограничившись только общемою фразою о нервности несчастнаго, хотя и очень симпатичнаго, митрополита...

— Не трудно стать нервнымъ, — тяжело вздохнувъ, сказалъ король, — въ томъ ужасномъ, неопредѣленномъ положеніи, какъ держать его четвертый годъ*). Какъ вы нашли дѣла въ Старой Сербіи?

— По-моему, — сказалъ я, — сейчасъ македонскій вопросъ блѣднѣетъ передъ старо-сербскимъ. Въ Призренѣ, Приштинѣ дѣло идетъ не объ угнетеніяхъ или насиліяхъ надъ сербами, а, прямо объ истребленіи сербской расы, о вытѣсненіи ея арнаутами. Тамъ—ужасы, возведенные въ систему.

*) Сейчасъ, въ 1903, уже шестой годъ! Положеніе не улучшилось, скорѣе стало хуже...

— Ужасно! ужасно! — повторилъ король Александръ, болѣзненно сжимая брови, и, со словомъ этимъ, приподнялся со стула.

Я откланялся.

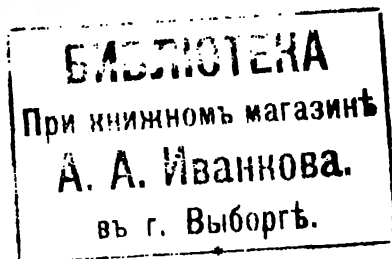
— Очень радъ былъ съ вами познакомиться, — дружелюбно послать онъ мнѣ вдогонку, когда я былъ уже у дверей.

1901.

Быстро летятъ событія на славянскомъ Востокѣ, — просто, и не угнаться за ними перу и типографской машинѣ!

Листъ этотъ былъ корректурованъ, сверстанъ и готовъ къ печати, когда пришли телеграммы о бѣлградской рѣзнѣ, въ которой погибли король Александръ и королева Драга. Нѣкоторыя замѣчанія и соображенія объ этой грозной трагедіи читатель найдетъ въ предисловіи и въ концѣ этой книги (Приложеніе Б.).

1903. VI. 5.





Черногорскій Орелъ.

Когда князь Николай вышел навстрѣчу мнѣ изъ своего кабинета, мнѣ показалось, что я живу не въ XX вѣкѣ, а когда-то давно-давно, до паровыхъ машинъ, конституцій, черныхъ сюртуковъ, желѣзныхъ дорогъ, телефоновъ, рентгеновыхъ лучей. Предо мною, въ зашитомъ золотомъ и серебромъ черногорскомъ костюмѣ, стоялъ совершенно средне-вѣковый витязь-богатырь. Главную красоту черногорца и черногорки составляютъ удивительная легкость, смѣлость и благородство осанки, зависящія отъ классической посадки головы на мощной и гибкой шеѣ. Князь Николай—величественный образецъ черногорской осанки. Старики въ Черногоріи вообще внушительны и красивы: отъ нихъ вѣетъ гетманщиною, Запорожьемъ, старою славянскою свободою. Глядя, какъ важно выступаютъ по улицамъ Цетинья эти огромные старцы, съ серебряными головами и сивыми усами по самыя плечи, съ бронзовыми лицами, опаленными порохомъ, изрубленными въ давнихъ бояхъ, какъ величаво и живописно драпируются они въ свои струки—то и дѣло такъ и хочется воскликнуть изъ «Тараса Бульбы»:

— Эка пышная фигура!

Но въ лицѣ князя Николая явилась мнѣ уже не фигура изъ «Тараса Бульбы», а какъ бы ожилъ самъ Тарасъ Бульба. Трудно вообразить внѣшность болѣе воинственную и въ то же время болѣе привлекательную. Это — сѣдой орелъ на неприступной скалѣ. Въ каждомъ движеніи князя, въ каждомъ взглядѣ, въ каждомъ звукѣ его густого низкаго баса, очень похожаго на голосъ Томазо Сальвини, вы

видите, чувствуете, слышите—сквозь условную ласковую серьезность высокопоставленного лица—привычку и умѣнье повелѣвать, характеръ сильный, гордый и неохотій до противорѣчій. Предъ вами—человѣкъ, привыкшій считать свои вдохновенія голосомъ вышней воли, глубоко вѣрующій въ себя и въ роль свою, какъ монарха-отца для своего народа. Вы предчувствуете, что онъ, мощный и картинный, долженъ быть прекрасенъ во главѣ этого народа-войска, такого же мощнаго и живописнаго, что явленіемъ своимъ онъ способенъ магнетизировать толпы, имъ повелѣваемыя, на самые фантастическіе подвиги преданности, что въ немъ живетъ частица сверхчеловѣческой воли, свойственной только вождямъ, поэтамъ и пророкамъ.

Впрочемъ, князь Николай, какъ извѣстно, — дѣйствительно, поэтъ и не стихотворецъ только, а поэтъ настоящій, вдохновенный. Даръ живыхъ образовъ и речей—наслѣдственный въ роду Нѣгошей, но въ князѣ Николаѣ онъ выразился съ особенною силою и ясностью. На русскій языкъ переведено довольно много стихотвореній князя Николая, въ томъ числѣ—сочиненный имъ національный черногорскій гимнъ и драма «Балканская Царица». Въ настоящее время (1901) князь пишетъ большой романъ, изъ эпохи «Герцога Стефана», повелителя Герцеговины, исторію котораго онъ передаетъ въ этомъ произведеніи параллельно съ исторіей Черноевичей, создателей Черногоріи.

— Большая будетъ вещь? — спросилъ я князя.

— О, нѣтъ: не болѣе одного тома. Но я буду долго работать надъ нею. Вѣдь это мой первый опытъ въ прозѣ. Стихи—дѣло мнѣ привычное, за нихъ отвѣтственности я не боюсь. Ну, а проза... страшно! Вдругъ, осрамлюсь на старости лѣтъ...

Князь добродушно засмѣялся.

— Курите, пожалуйста! — продолжалъ онъ, протягивая мнѣ серебряный небогатый портсигаръ.

Есть два положенія — непріятныя для того, кто ви-

дится съ принцами: это—если предлагаютъ курить, когда вы не курите, и играть въ винтъ, когда вы картъ въ руки не берете, не понимаете въ нихъ ни аза въ глаза. Живо помню сцену въ Венеціи, когда камергеръ одного изгнаннаго величества съ отчаяніемъ говорилъ мнѣ, ходя по площади св. Марка:

— Что вы сдѣлали! ахъ, что вы сдѣлали! его величество предложилъ вамъ сигару, а вы: я не курю!.. Понимаете ли вы, какую вы позволили себѣ неловкость?

— *Carissimo marchese*, я думаю,—неловкость была бы еще больше, если-бы я принялъ сигару отъ его величества, сталъ бы курить, а потомъ бы меня стошнило въ его присутствіи.

— Э! глупости! отъ табаку тошнитъ только гимназистовъ.

— Но вообразите себѣ, что я не курилъ, даже будучи гимназистомъ.

Marchese выпучилъ на меня глаза, какъ на допотопнаго ихтіозавра, пожалъ плечами и пробурчалъ:

— Однако, это серьезная штука! *cosa seria!*..

Вспоминая эту сцену, я отказывался отъ папирсы князя Николая, какъ говорилъ пѣкій русскій нѣмецъ, «скрипя сердцемъ», ибо чувствовалъ, что совершаю преступленіе противъ этикета... Князь, смѣясь, спряталъ портсигаръ и возразилъ на мой отказъ:

— А я вотъ—такъ предаюсь этому пороку по цѣлымъ днямъ и развращаю имъ всѣхъ, кого знаю... Ну, расскажите, что вы видѣли въ вашемъ славянскомъ путешествіи? Были въ Сербіи? видѣли короля Александра?.. Славный юноша! Я его очень люблю. Отецъ его, сказать откровенно, мнѣ совсѣмъ не нравился. Онъ былъ эгоистъ и ничуть не патріотъ. А у короля Александра множество милыхъ задатковъ, обѣщающихъ доброе и хорошее. Когда онъ былъ здѣсь въ Черногоріи, онъ всѣмъ очень понравился. Я его очень люблю, очень ему симпатизирую и желаю всего, всего хорошаго.

Въ день моего свиданія съ княземъ Николаемъ въ Цетиньѣ какъ разъ огласилась официальная телеграмма о ложной беременности королевы Драги. Естественно, разговоръ коснулся этого тяжелаго происшествія.

— Ужасно!—сказалъ князь,—ужасно... больше и говорить нечего: ужасно! Бѣдный король! Бѣдная королева! Воображаю, какъ имъ тяжело теперь. Сколько будетъ кривыхъ и злобныхъ толковъ! и какъ торжествуютъ ихъ враги...

— Вотъ,—замѣтилъ я,—когда король Александръ женился, онъ торжественно заявилъ, что это—послѣдній сюрпризъ, который Сербія дѣлаетъ Европѣ, и затѣмъ сюрпризы прекращаются разъ навсегда... А вышло, что человѣкъ предполагаетъ, Богъ располагаетъ: самый-то крупный и невѣроятный сюрпризъ ждалъ Сербію впереди.

— И самый крупный, и самый невѣроятный, и самый печальный... Не будемъ лучше и говорить объ этомъ: такъ это прискорбно! Я все еще надѣюсь, что тутъ возможна какая-нибудь ошибка...

Черные глаза князя увлажнились. Порывъ его былъ тѣмъ уважительнѣе, что человѣческое чувство состраданія въ данномъ случаѣ брало верхъ надъ политическимъ расчетомъ. Бездѣтность Обреновичей—прямая выгода Нѣгошей. Бѣлградскій скандалъ, компрометируя династію сербскую, былъ, съ грубой точки зрѣнія толпы и дипломатіи, очень на-руку династіи черногорской, о чемъ сербы обоихъ государствъ и говорили громко, безъ церемоній—и въ Бѣлградѣ, и по дорогѣ моеѣ въ Цетиньѣ. Обыкновенно, людямъ ставятъ въ заслугу *bonne mine au mauvais jeu*, но князь Николай явилъ мнѣ рѣдкій случай обратнаго — *mauvaise mine au bon jeu*. Помолчавъ, онъ продолжалъ, съ улыбкою:

— Когда будете въ Римѣ, вамъ врядъ ли удастся по-видать королеву, дочь мою: она готовится стать матерью,—княгиня, жена моя, вчера отправилась къ ней, вмѣстѣ съ сыномъ Мирко. А вотъ у него вы побывайте, передайте ему мой привѣтъ. Онъ будетъ очень радъ. Онъ говоритъ

по-русски, какъ русскій. Вы увидите: онъ славный—мой Мирко!

И—опять влага на глазахъ, и улыбка безпредѣльной пѣжности освѣщаетъ смуглое, изрытое годами лицо стараго богатыря.

— Такъ, вы побывали въ Македоніи. Ну — что же? каково тамъ? Нашли ужасы, о которыхъ мы читаемъ въ газетахъ?

— Откровенно говоря, гораздо менѣе, чѣмъ ожидалъ, ваше высочество. Положеніе въ Старой Сербіи показалось мнѣ гораздо болѣе печальнымъ и способнымъ вызвать взрывъ. Албанцы дѣлають тамъ, Богъ знаетъ что...

— Вѣчные враги!—съ неопредѣленнымъ жестомъ замѣтилъ князь.—На нашихъ границахъ они сейчасъ спокойны и безопасны, потому что... да, потому что мы сами, въ своемъ родѣ, тоже албанцы,—можемъ постоять за себя противъ нихъ ихъ же оружіемъ и тактикою, и они о томъ прекрасно знаютъ. Слышалъ я, что изъ Старой Сербіи началась сильная эмиграція въ королевство. Сербіи должно быть нелегко принимать иммигрантовъ,—тутъ изъ каждаго пустяка можетъ выйти дипломатическое осложненіе: такое щекотливое дѣло!—и очень жаль, если старосербскій вопросъ обременить собою Сербію какъ разъ въ то время, когда она, кажется, собралась съ силами, чтобы вступить на правый славянскій путь, такъ хорошо и честно дружить съ нами и вмѣстѣ съ нами движется впередъ по рулю великой Россіи.

Лицо князя озарилось яркимъ вдохновеніемъ.

— Россія—все для насъ, славянь,—сказалъ онъ голосомъ теплымъ, проникновеннымъ.—Я не говорю уже про Черногорію: мы—дѣти Россіи. Если бы когда-либо что-либо противорусское случилось въ моемъ государствѣ, я подумалъ бы: пришли послѣднія времена,—дѣти бьютъ свою родную мать. Пересчитать всѣ нравственные благодѣянія, оказанныя намъ Россією, невозможно. А—еще

мало ли дѣлаетъ намъ она и матеріальныхъ услугъ и поддержекъ! Вѣчная благодарность Россіи—самое искреннее, глубокое, постоянное мое чувство. Россія—моя величайшая любовь, которую понесу я въ душѣ своей до самаго конца моей жизни. И я счастливъ тѣмъ, что знаю: не одинъ я такъ думаю въ Черногоріи!—со мною одинаково мыслить весь народъ. Что же намъ разсуждать о «политическихкихъ направленіяхъ»? Они у насъ не разнообразны: вотъ уже третье столѣтіе, какъ народъ нашъ—весь, цѣлою массою,—точно магнитная стрѣлка въ компасѣ,—обращенъ взорами на русскій сѣверъ. Это не «направленіе», а инстинктивное чувство,—его нельзя ни заглушить, ни купить. Бывали періоды, когда русскіе какъ будто забывали про насъ, не до насъ имъ было, и намъ въ періоды эти приходилось очень туго,—однако, преданность наша Россіи и тогда не гасла, не уменьшалась ни на одну іоту. Мы продолжали обожать Россію и вѣрить въ нее, вопреки ей самой. Развѣ мало соблазновъ пережили мы, развѣ мало сулили намъ денегъ, выгодъ, земель,—только бы мы отступились отъ Россіи? Но никогда ни одинъ соблазнъ не только не покорилъ насъ,—мы на него даже не заглядѣлись, даже о немъ не задумались. Мы убѣждены, всѣ до одинаго, что въ день, когда Черногорія потеряетъ любовь Россіи или сама пойдетъ противъ ея цѣлей и желаній, она уже перестанетъ существовать морально, а за концомъ моральнымъ недолго ждать и политическаго. Или существовать, опираясь на Россію, или быть проглоченною—вотъ для Черногоріи единственный и естественный выборъ. И потому всякаго, кто пробуетъ отторгнуть насъ отъ прямолинейнаго русско-славянскаго пути, по которому мы съ твердостью слѣдуемъ, мы почитаемъ измѣнникомъ, предателемъ, ненавистникомъ самой Черногоріи.

Нравится вамъ мой народъ? Неправда ли, какіе славные, brave, свѣжіе тѣломъ и душою, люди? Я горжусь честью быть членомъ этой благородной расы, управлять

ею, какъ государь и какъ отецъ! Да, я смѣю сказать прямо и сознательно: между мною и моими подданными—чисто семейныя отношенія, связь любящаго отца и любящихъ дѣтей. Я люблю и меня любятъ. Я знаю: если бы отечеству пришлось, устами моими, позвать черногорцевъ на труды и жертвы, то половину своего долга они взяли бы на себя изъ патріотизма, а другую половину—изъ любви ко мнѣ.

— Васъ любятъ не одни черногорцы,—замѣтилъ я.— Имя ваше популярно и пользуется самыми теплыми симпатіями во всѣхъ славянскихъ земляхъ. Даже въ Сибирѣ я нахожу ваши портреты на стѣнахъ мужицкихъ избъ, почтовыхъ и постоялыхъ дворовъ. А сейчасъ въ Македоніи я постоянно слышалъ отъ мѣстнаго славянства выраженія любви и почтенія къ вамъ, пожалуй, даже—если можно и понятно будетъ такъ сказать—какой-то благородной зависти къ управляемой вами Черногоріи. Такъ-называемая «черногорская теорія» для Македоніи, пока я не былъ въ постѣдней, казалась мнѣ слишкомъ искусственною, но въ самой Македоніи я убѣдился, что о ней говорятъ часто и много.

Подъ именемъ «черногорской теоріи» развивалась одно время небольшою фракціей македонцевъ-сербофиловъ пропаганда проекта распространить на Македонію авторитетъ Черногоріи. Такъ какъ Македонія—спорный кусокъ между болгарами и сербами, то, для равновѣсія и замиренія соперничающихъ сторонъ, лучше всего дескать будетъ, чтобы спорный кусокъ съѣлъ кто-нибудь посторонній, третій, а на роль третьяго, въ выгодахъ славянъ и Россіи, особенно желательнымъ является «черногорскій орелъ-левъ». Отголоскомъ «черногорской теоріи» въ русской литературѣ о славянствѣ явилась очень пылкая брошюра г. Іована Рогановича, изданная въ Казани...

— Мы очень мало дѣлаемъ, чтобы дать теоріи этой практическое приложеніе,—мягко возразилъ мнѣ князь.— Лучше даже сказать: ровно ничего не дѣлаемъ. Если она

развивается, то развивается сама собою, безъ нашего за нею ухода.

— Быть — можетъ, — сказалъ я, — потому-то именно и развивается, что вы поставили себя въ исключительную нейтральность, тогда какъ другія славянскія автономіи ужъ слишкомъ усердствуютъ пріобрѣсти и опеку надъ Македонією, и скорое вознагражденіе за опеку.

— Да, — согласился князь, — это, можетъ быть, и правда. Болгаре ужъ чересчуръ далеко зашли и въ притязаніяхъ своихъ на Македонію, и въ средствахъ къ осуществленію притязаній. Но теперь — послѣ того, какъ Россія выразила свое порицаніе болгаро-македонской агитаціи, надо думать, что заблужденія эти недолговѣчны, и безпорядки улягутся и прекратятся*). Черногоріи же слишкомъ много дѣла сейчасъ съ внутреннимъ своимъ развитіемъ, чтобы она могла закидываться на сторону. Намъ образованіе нужно. Намъ желѣзныя дороги нужны. Оживить торговлю необходимо, добычу природныхъ богатствъ, зарытыхъ въ землѣ. Край нашъ — богатая, благодарная, непочатая почва, многообщающая цѣлина. Но, чтобы оплодотворить ее, нужны деньги, деньги и деньги, нужно образованіе, образованіе и образованіе.

Я навелъ князя на разговоръ о Маріинскомъ институтѣ, который посѣтилъ и о которомъ писалъ уже **).

— Это превосходное учрежденіе, — съ искреннимъ и пылкимъ воодушевленіемъ воскликнулъ князь, — я счастливъ и гордъ тѣмъ, что именно въ Цетинѣ родился и созрѣлъ такой замѣчательный междуславянскій разсадникъ. Маріинскій институтъ — одно изъ самыхъ благихъ дѣлъ Россіи для Черногоріи. Я всегда съ огромнымъ удовольствіемъ посѣщаю его. Дѣвочки-воспитанницы — такія милыя, поря-

*) Надежды эти не оправдались, да и не могли оправдаться. Вообще, во всей бесѣдѣ по всѣмъ затронутымъ вопросамъ, — начиная съ идилической привязанности Черногоріи къ ея современному режиму, — князь оказался слишкомъ оптимистомъ (1903).

**) См. мою книгу „Страна Раздора“.

дочпья, выдержанныя. Онъ такъ хорошо поють! Mademoiselle Мертваго — кладъ для такого дѣла: она ведетъ своихъ воспитанницъ образцово, какъ нельзя лучше желать. Всѣ мои симпатіи—на сторонѣ института. Отъ всего сердца желаю ему процвѣтанія и развитія. Вотъ вамъ—лучшій, наглядный образецъ того, какъ много дѣлають для насъ русскіе, и за что мы обязаны ихъ любить.

И онъ опять сталъ развивать свое, видимо излюбленное положеніе, что будущность славянства—только въ Россіи, и что, выбившись изъ связи съ Россіею, славянинъ теряетъ почву подъ ногами, осужденъ на обезличеніе, на полную потерю національныхъ и расовыхъ идеаловъ.

— Кто уводитъ славянъ отъ Россіи,—горячо повторилъ онъ, — тотъ либо самъ не понимаетъ, что онъ дѣлаеть, либо сознательно стремится уничтожить ихъ расовую фізіономію, индивидуальность, хочетъ передѣлать ихъ изъ рѣзко опредѣленныхъ и самобытныхъ національностей въ безразличную, нейтральную, международную массу—европейцевъ не европейцевъ, а такъ... европейскаго облика.

— Въ такомъ направленіи работать покойный Стамбуловъ,—замѣтилъ я.

— А вы знали покойнаго Стамбулова?

— Да,—уже послѣ его паденія.

— Талантливый былъ человѣкъ, по, къ несчастію, попалъ на кривой путь, который и привелъ его къ преждевременной гибели...

Часы стали бить десять. Князь приподнялся съ мѣста: аудіенція была кончена.

— Радъ, что повидаль русскаго журналиста,—сказать онъ, съ силою сжимая мою руку,—видѣть русскихъ друзей для меня всегда великое удовольствіе. Пожалуйста, попросите отъ моего имени всѣхъ русскихъ, которыхъ судьба приведетъ въ Цетинье, чтобы они непременно настаивали видѣть меня, не уѣзжали, не увидавшись со мною.

До свиданія. Желаю вамъ счастливаго пути. А въ Римѣ будете,—непремѣнно повидайтесь съ Мирко.

Онъ еще разъ сдвинулъ мою руку—на ходу, провожая меня черезъ приѣмную, къ выходной лѣстницѣ,—круто, повоенному повернулся и исчезъ въ какую-то боковую дверь. Вмѣстѣ съ нимъ исчезли и средніе вѣка. По модной, красивой лѣстницѣ я тихо спустился на подъѣздъ, гдѣ, въ лицѣ франтоватаго княжескаго адъютанта, ждало меня уже XX столѣтіе, новое, молодое Черногорье... обмѣнявшись съ XX столѣтіемъ дружескими привѣтами, я сѣлъ въ фаэтонъ и покатилъ въ Каттаро. До свиданья, орлиное Цетинье!

Желанія и совѣта князя Николая, чтобы я повидался съ княжичемъ Мирко, не могъ исполнить, но, будучи въ Римѣ, я слышалъ въ «Teatro Nazionale» маршъ, сочиненный принцемъ на память о пребываніи его въ Римѣ. Маршъ—какъ маршъ, ничего особеннаго въ немъ нѣту, но написанъ, что называется, лихо: съ трескомъ, блескомъ, и—не знаю, какъ черногорцамъ, а берсальерамъ итальянскимъ, великолѣпнѣйшимъ бѣгунамъ въ мірѣ, ходить подъ его звуки удобно. При томъ—Мирко не только выдумалъ свой маршъ, но и самъ инструментовалъ его: трудъ, который высокопоставленные композиторы рѣдко даютъ себѣ, и умѣнье, которымъ они рѣдко владѣютъ. Начало успѣховъ покойнаго Гензельта было положено участіемъ его въ композиторскихъ трудахъ одного принца, весьма охочаго сочинять и довольно изобрѣтательнаго на мелодіи, но въ теоріи музыки полнаго профана. Принцъ насвистывалъ Гензельту мотивчики, приходившіе ему въ голову, а Гензельтъ записывалъ, гармонизировалъ, и такъ нарождались на свѣтъ новые и новые романсы принца и даже чуть ли не оперы.

Маршу Мирко неистово аплодировали, и принцъ-композиторъ, очень блѣдный и взволнованный, почтительно раскланивался съ публикою изъ своей ложи.

1901.



АΘИНСКІЕ ДНИ.

(1894—1901).

I.

Прохладный берегъ Коринѣскаго залива, съ его чудными горными ущельями по правую сторону желѣзнодорожнаго полотна, съ его бархатными песочными *sriaggie* подъ лѣнивымъ, прозрачно-серебристымъ прибоемъ — по лѣвую руку, съ его сѣдыми маслинами, зелеными виноградниками и даже не рощами, а цѣлыми дубравами пламенныхъ олеандровъ, съ его Парнасомъ, Киллене, Геликономъ, Кибирономъ, встающими, подобно далекимъ гигантамъ-призракамъ, тамъ, въ кудрявыхъ облакахъ, за шумящимъ ласковымъ моремъ, — прохладный берегъ Коринѣскаго залива остался позади. Мы переползли уже и ту узенькую голубую полосу, что, подъ громкимъ именемъ Новаго канала, неудачно поправляетъ съ 1893 года ошибку природы, раздѣлившей заливы Коринѣскій и Саронскій холмистымъ перешейкомъ. Положимъ, онъ такой узенькій, что и впрямь — точно напрашивается, чтобы его перекопали. Создать изъ Истма европейскій Суэцъ хотѣли еще римскіе императоры, — на истмійскую попытку Нерона дошла до насъ рѣзкая сатира, ошибочно приписываемая Лукіану. Осуществила эти великолѣпныя затѣи греческая компанія, которая, принявъ въ 1889 году предварительныя работы отъ французовъ, копавшихся тутъ съ 1881 года, сдѣлала каналъ очень быстро, но — какъ дѣлаютъ луну въ Гамбургѣ: то-есть — прескверно. Пассажирскіе рейсы Австрійскаго Ллойда, Флоріо и Рубатино, главнѣйшихъ греческихъ паро-

ходствъ, избѣгаютъ канала, предпочитая терять сутки на обходъ вокругъ Пелопонеса, съ заходомъ въ его гавани. Военныя суда проходятъ по каналу съ большимъ рискомъ—имъ тѣсно такъ, что едва протиснуться. Нашъ «Кубанецъ», канонерская лодка средиземной эскадры, совсѣмъ не гигантъ, а—когда онъ проходилъ каналомъ, офицеры тросточками доставали съ бортовъ его стѣнную облицовку.

Итакъ — коротенькій пелопонесскій рай кончился: мы вступили въ аттическое чистилище. Пыльнаго, закопченнаго, чернаго, какъ муринъ, тащить меня пыльный, закопченный, черный курьерскій поѣздъ изъ Патраса по сѣрымъ каменнымъ гудамъ — безплоднымъ и безотраднымъ гудамъ холмовъ Аттики. На ихъ маковкахъ и скатахъ такъ же сѣро, безплодно и безотратно рисуются сожженные солнцемъ, изѣденные летучими песками, насквозь пропыленные форты, сторожевые домики, сигнальныя будки, сложенные изъ дикаго камня. Тяжелыя, унылыя мѣста — какая-то печь огненная, говорящая воображенію скорѣе о кровожадной и палящей пасти финикійскаго Молоха, чѣмъ о прекрасныхъ, граціозныхъ, вѣчно-юныхъ и веселыхъ божествахъ Гезіода и Гомера, въ чье древнее царство мы вѣзжаемъ, къ чьей священной столицѣ быстро приближаетъ насъ каждый оборотъ колесъ шумнаго, огромнаго поѣзда. Даже морская синева, бесконечно выющаяся вдоль полотна, не смягчаетъ пейзажа. Море сверкаетъ такъ же металлически, такъ же остро и безжалостно, какъ раскаленное небо. Зевсъ и Посейдонъ здѣсь наглядно показываютъ, что они родные братья, схожіе между собою, какъ близнецы, оба великолѣпные и могущественные, оба и очаровательные, и страшные своею жгучею, слѣпящею, губительною красотою. Право, глядя на синія полосы Саронскаго залива, Элевзинской бухты, Фалера и Саламина, почти не вѣрится, чтобы въ нихъ жила та же ласковая прохлада, что дышетъ въ другихъ средиземныхъ водахъ.—хотя бы въ томъ же Іоническомъ морѣ, въ томъ же Коринескомъ заливѣ, съ которыми мы только

что разстались. Отъ этихъ—будто эмальированныхъ—волнъ того и ждешь, наоборотъ, что вотъ-вотъ онѣ закипаютъ, и красивыя пестрыя рыбы, и черныя, мордастыя дельфины высунуть надъ дымящеюся поверхностью свои горемычныя головы и замечутся въ тоскѣ, безсильно лова ртами воздухъ—этотъ ужасный, удушливый воздухъ, накаленный отвѣсными лучами солнца до 40° Реомюра, отравленный противнымъ запахомъ глубоко прогрѣтыхъ известковыхъ скалъ и прянымъ ароматомъ какой-то кустистой желто-цвѣтной травки, по нимъ ползущей.

Вагонъ,—мерзѣйшій въ мірѣ вагонъ мерзѣйшей въ мірѣ, лишь въ Греціи могущей быть терпимою, желѣзной дороги,—стоналъ и кряхтѣлъ, точно и ему было мочи нѣтъ жарко, и онъ считалъ долгомъ предупредить насъ: голубчики, сейчасъ растаю! Пассажиры внутри тоже стонали и кряхтѣли въ тактъ болѣзненному реву его старыхъ, шаткихъ колесъ. А я, задыхаясь отъ зноя, наглотавшись пыли въ такомъ количествѣ, что начиналъ уже чувствовать себя чѣмъ-то въ родѣ пирога съ известковымъ фаршемъ, припоминалъ—съ сравненіемъ далеко не въ пользу настоящаго—первое свое прибытіе въ Аѣины въ іюнѣ 1894 г.

О, то путешествіе было «совсѣмъ изъ другой оперы»! Изъ чудной, обаятельной, высоко-поэтической оперы... Я шелъ тогда моремъ, изъ Константинополя, черезъ Смирну, съ пароходомъ «Чихачовъ».

Мы плыли отъ Смирны въ серебряную ночь по серебряному морю. Нигдѣ, никогда, ни прежде, ни послѣ не случалось мнѣ видѣть болѣе мощнаго и болѣе красиваго теченія, какъ на Эгейскомъ морѣ въ это іюньское полнолуніе. Долго бродили мы съ молодымъ казанскимъ профессоромъ, археологомъ А—ловымъ, по палубѣ «Чихачова», перетрахивая смирнскія впечатлѣнія,—настоящее и старину, людей и искусство. На душѣ было хорошо—«тепло и свято»: доброе и возвышенное настроеніе, какое дается человѣку только созерцаніемъ великихъ красотъ природы,

только обаяніемъ могучихъ ласкъ южнаго моря и южнаго неба. Собесѣдника моего, наконецъ, сморило сномъ, а я еще добрый часъ сноваль по пароходу, слушаль богатырское пыхтѣніе машины и глядѣль, какъ жемчужная пѣпа, высоко поднятая нашимъ быстрымъ ходомъ, разбивается на волнахъ серебромъ и чернью; какъ все свѣтлое море сверкаетъ, зыблется и блещетъ, — точно на днѣ, въ чертогахъ стараго Посейдона, идетъ веселый пиръ, свадебная гульба глубокой, холодной Остиды и пламеннаго Геліуса, ночного гостя морей. Качаются лампы, пылающія сверканіемъ не жгучаго огня, машутъ фосфорическими факелами пляшущія nereidy, и тысячами дрожащихъ отсвѣтовъ зажглись янтарь и хрусталь подводнаго дворца... Мелкіе острова съ именами и безъ именъ спали надъ моремъ, какъ неподвижные черныя киты. Иногда мы шли такъ близко къ берегу, что ясно были слышны пѣсни греческихъ рыбаковъ, самыхъ гнусавыхъ пѣвцовъ въ мірѣ. Вотъ ужъ гдѣ именно — «охота смертная, да участь горькая»! Пѣтъ греческій народъ любить до страсти, но поетъ — сплюшь и заурадь — замѣчательно скверно: козлиные голоса, носовой тембръ и полное отсутствіе слуха. Ни одной мелодіи не передадутъ точно, — все бродятъ гдѣ-то вокругъ да около. Въ этомъ отношеніи — рекордъ фальши могутъ перебить у нихъ развѣ англичане и англичанки, изучающіе пѣніе у миланскихъ *maestri di canto*. Тѣмъ не менѣе греки большіе любители хоровой гармоніи, и я часто замѣчалъ: соберется компанія и пѣсень пѣтъ не поетъ, а раздѣлитъ по голосамъ какой-нибудь аккордъ и гудитъ его безъ словъ, мѣняя напряженіе звука отъ *forte* къ *piano*, отъ *piano* къ *forte*. Точно шмели жужжать! Надоѣсть одна тональность, — модулируютъ въ другую, и опять жужжать. И опять-таки дватри шмеля и тутъ неизбежно и безбожно фальшатъ и гудятъ въ сосѣднихъ тонахъ съ упорствомъ, способнымъ довести до отчаянія самаго терпѣливаго профессора *sol-feggi*. Престранная вокальная забава, не практикуемая,

кажется, ни однимъ европейскимъ народомъ, кромѣ чудакъ эллиновъ.

Но въ чудной, прозрачной синевѣ теплой ночи, сквозь которую мы плыли, даже и греческая пѣсня звучала поэтично, полная какой-то невысказанной тоски, какого-то затаеннаго призыва. Мнѣ вспомнился изящный мотивъ «Греческой ночи» Щербины и прелестная мелодія, подобранная къ этому стихотворенію покойнымъ Г. О. Каргаповымъ:

На раздольи небесъ ярко свѣтитъ луна,
И листы серебрятся оливъ;
Дикой воли полна,
Заходила волна,
Серебромъ убирая заливъ...
Эта тихая ночь и тепла и свѣтла,
И огонь разливаетъ въ крови...
Я мастику зажгла,
И цвѣтовъ нарвала,—
Поспѣшай на свиданье любви.
Эта ночь пролетитъ, и затихнетъ волна..
При сіяньи безстрастнаго дня
Буду я холодна...
Ты тогда не узнаешь меня!

Рѣдко удается поэтамъ такъ типически-красиво и вѣрно нарисовать нѣсколькими стихами пейзажъ и выразить его настроеніе, какъ посчастливилось Щербинѣ: сказались эллипское чутье, эллинская кровь, эллинская душа поэта. А, впрочемъ, Тургеневъ эллинизмъ Щербины отрицать и въ весьма извѣстной злой эпиграммѣ язвительно утверждаетъ, что Щербина былъ «грекъ нѣжинскій, но не милетскій».

Мы вошли въ Пирей съ разсвѣтомъ, когда небо было бирюзовое съ зеленью, море цвѣта *gris perle*, а темно-лиловый хребетъ Гимета чуть просвѣчивалъ сквозь туманъ, склоняясь надъ долиной, точно сонный щетинистый кабанъ надъ бахчей. Лодочники окружили пароходъ и полѣзли на абордажъ. Причалить было трудно. Лодки швыряло моремъ, а съ парохода долго не опускали трапа. Наконецъ спустили. Греки,—было ихъ хоть и не десять ксенофоновыхъ тысячъ, однако не меньше, чѣмъ спартанцевъ при Термопилахъ,—рипулись вверхъ по лѣстницамъ. Проклятія и увѣ-

щанія нашего канитана не лѣзть безъ толка и не дѣлать давки пропали даромъ. Изругавшись по-гречески, по-итальянски, по-англійски, по-турецки, по-французски и по-русски, капитанъ впалъ въ недоумѣніе, какой еще языкъ остался ему, кромѣ эсперанто и волапюка, обезси-лѣлъ, махнулъ рукою и отошелъ отъ сходней. Но тутъ—откуда ни взялся находчивый матросикъ и мигомъ пре-кратилъ суетню, употребивъ для этого средство простое, но выразительное. Онъ всталъ на трапѣ и, когда какая-нибудь греческая голова поднималась по лѣсенкѣ въ уро-вень съ его ногою, матросикъ молча и невозмутимо тыкалъ своимъ сапожищемъ прямо въ фізіономію потомка еермо-пильскихъ героевъ. Послѣ чего потомокъ,—хотя и руга-ясь, и крича, какъ варваръ въ полѣ,—стремительно отсту-палъ и заставлялъ отступать напивавшихъ снизу, заднихъ. Они кубаремъ катились въ лодки, выли, грозились кула-ками, проклинали «Панагію» и дерзновеннаго матроса, и своихъ злополучныхъ сосѣдей-гребцовъ.

— Посмотрите,—указалъ я на эту сцену одному изъ своихъ спутниковъ, казанскому профессору-канонисту Б.,—до чего можетъ выродиться народъ...

— Изъ чего вы это заключаете?

— Да какъ же? Матросъ—ни за что, ни про что, за здорово живешь—тычетъ грека сапогомъ въ «хрюкало», и тотъ—ничего, принимаетъ тычки, какъ должное...

— Я понимаю, чѣмъ вы возмущаетесь, но не понимаю, почему вы думаете, будто греки выродились?

— Вотъ тебѣ разъ! А Мильтіадъ, Аристидъ, Перикль и кто бйшь тамъ еще?

— Рѣшительно ничего не доказываютъ...

— Однако ихъ сапогами въ фізіономію не тыкали?

— А вы думаете—это потому, что они были очень щепетильны на этотъ счетъ?

— Какъ же иначе?

— А просто потому, что тогда не было ни этихъ безо-

бразныхъ сапоговъ, ни безцеремонныхъ русскихъ матросовъ, охочихъ тыкать ими въ греческія фізіономіи... Грекъ же, какъ исторически прослѣдить можно, никогда за тычкомъ не гнался и не находилъ для себя безчестія въ изувѣченіи своей фізіономіи... Вспомните Ѳемистоклово: «Бей, но выслушай!» А Діогенъ, когда ему, съ позволенія сказать, набили морду, только вывѣсилъ у себя на груди дощечку съ именемъ автора своихъ синяковъ: такой-то ἐποίησεν. Позорно было, стало-быть, обижать, а не быть обиженнымъ. Это у Шопенгауэра вѣрно замѣчено: античный міръ признавалъ безчестіе активное, а не пассивное, какъ признается въ наши дни; честь человѣка опредѣлялась тѣмъ, что онъ самъ дѣлалъ, а не тѣмъ, что съ нимъ другіе дѣлали. Оттого у нихъ этой глупости нашей не было—дуэли.

— И скверныхъ болѣзней, — подхватилъ кто-то. — Шопенгауэръ вѣдъ такъ и опредѣляетъ: міръ античный отличался отъ современнаго общества, главнымъ образомъ, тѣмъ, что не дрался на дуэляхъ и не болѣлъ сифилисомъ...

— Ну, — скептически возразилъ профессоръ, — что касается послѣдняго, — на этотъ счетъ бабушка еще надвое говорила! Аптіохъ Епифанъ меня смущаетъ... И Сулла тоже... Скверно умеръ Епифанъ!

Перебрались на берегъ. Таможня легкая, — только для формы. Изъ Пирея въ Аѳины можно ѣхать по желѣзной дорогѣ, но я предпочелъ фаэтонъ, мечтая полюбоваться мѣстностью... Увы! любоваться рѣшительно нечѣмъ. Волшебная сказка морского пейзажа умерла, едва мы покинули пристань и набережную. Впереди клубилась бѣлою пылью известковая дорога, известковый налетъ лежалъ на тощихъ маслинахъ, гладь и плоскость сѣрѣли направо и налево — до самыхъ горъ, чернѣющихъ на горизонтѣ.

Я много видалъ портовыхъ городковъ, но отвратительнѣй Пирея, — по первому впечатлѣнію, — кажется, не видывалъ; только нѣкоторые кварталы Ливорно, да гнилыя, протухшія керосиномъ трущобы Спалато могутъ соперни-

чать съ этимъ городомъ-вертепомъ. Грязь, вонь, растрепанные страшные люди, съ пьяными лицами и наглыми глазами, кабакъ на каждомъ шагу,—отъ улицъ пахнетъ развратомъ и грубымъ пьянствомъ. Женщинъ не видать; но мой вожатый—итальянецъ клялся мнѣ, что двѣ трети домовъ, которые мы минуемъ, заняты явными и тайными проститутками, питающимися крохами отъ кутежа заходящихъ моряковъ. Впрочемъ, быть-можетъ, Пирей показался мнѣ такимъ сквернымъ и по контрасту съ только что оставленною свѣжестью моря и щеголеватой опрятностью «Чихачова». Посѣтивъ его потомъ, семь лѣтъ спустя, уже съ суши, я нашелъ городъ гораздо опрятнѣе: хорошая набережная, много красивыхъ общественныхъ зданій, церквей, богатые магазины—многіе даже съ русскими вывѣсками. Удивительно, для кого они существуютъ. Моряковъ, конечно, въ Пирей видимо-невидимо, но они на мѣстѣ совсѣмъ не щедры и предпочитаютъ растрясать свои денежки въ Аѣинахъ.

— Пуговицу купить надо,—и то въ Аѣины ѣдемъ! Все-таки,—предлогъ!

— Вы такъ любите Аѣипы?

— Э! что тамъ любить? Но—все же столица, жизнь есть хоть какая-нибудь, не то, что въ этой пирейской лужѣ. Ѣдемъ больше часа.

Пейзажъ Аттики—самый жалкій изъ горныхъ пейзажей юга, вопреки своей всемірной славѣ, раздутой историческими иллюзіями и, еще болѣе, архитектурными впечатлѣніями, такъ какъ останки древняго зодчества—здѣсь вторая натура и много лучшая первой. Человѣкъ въ Аттикѣ работалъ для красоты ея усерднѣе и искуснѣе, чѣмъ природа. Безъ Пареенона, Эрехтейона, Тезеума, колоннъ Зевсова храма, сѣрыя, обожженные солнцемъ груды аттическихъ скалъ были бы безобразны и бессмысленны,—такъ же бессмысленны, какъ бессмысленъ сейчасъ, на примѣръ, холмъ Ареопага. Торчитъ онъ, рядомъ съ красавцемъ

Акрополемъ, какъ гигантская шишковатая лыспна, и священной выотою, гдѣ Орестъ защищалъ свои права противъ мстительныхъ Эринній, гдѣ апостолъ Павелъ проповѣдывалъ мужамъ аоинянамъ «Бога невѣдомаго», современные греки кощунственно дополняютъ недостатокъ въ городѣ lieux d'aisance. Гнуснѣе и смраднѣе скатовъ Ареопага ничего пельзя себѣ представить. А Пниксъ? Смотрѣлъ я на него, и никакъ не могъ настроить свое воображеніе, чтобы видѣть его полнымъ народа, вотирующимъ изгнаніе Аристида, внимающимъ Демосоеу или Эсхину. Я только думалъ: стоило ради такой пустыни запоминать, что Πύλος, склоняется неправильно и въ родительномъ имѣетъ Πύλου, за незнаніе чего покойный «грекъ» мой, Киндлеръ, поставилъ мнѣ однажды предлинную единицу. И—глядя на современный Пниксъ—ужъ такъ было мнѣ досадно на эту старую единицу и жалъ старыхъ волненій, изъ-за нея когда-то пережитыхъ.

Солнце жжетъ невыносимо. Дѣлаемъ стоянку у какой-то жалкой таверны.

— Дайте вина!

Попробовалъ,—и плюнулъ. Богъ знаетъ что: не то скипидаръ, не то керосинъ, съ примѣсью толченаго сургуча.

— Я вина просилъ, а не сусла! Этимъ не людей поить, а сороконожекъ морить.

Проводникъ-итальянецъ ухмыляется.

— Это вино!

— Вино? Что же въ такомъ случаѣ называется у васъ столярнымъ лакомъ?

— Это—рицинать. Чтобы вино не портилось, здѣсь кладутъ въ него особенную смолу... ну, оно и не портится, но принимаетъ вкусъ и запахъ этой смолы... Всѣ иностранцы плюются, когда попробуютъ его въ первый разъ. Но потомъ иные такъ привыкаютъ, что имъ начинаетъ казаться уже страшнымъ и невкуснымъ чистое вино, не ридипированное.

Притерпѣться, конечно, ко всему можно. Одинъ семинаристъ, экзаменуемый митрополитомъ Филаретомъ, утверждалъ, будто человѣкъ въ состояніи привыкнуть даже падать внизъ головою съ колокольни Ивана Великаго. Однако—надо полагать—я пробылъ въ Греціи слишкомъ мало времени, чтобы привыкнуть къ рициновой отравѣ, ибо и сейчасъ еще склоненъ думать, что, какъ ни эксцентрична и ни опасна привычка сваливаться съ колокольни, но все-таки она, должно быть, дается легче и даже, пожалуй, по результатамъ пріятнѣе. Кажется, въ настоящее время, этотъ способъ порчи вина, подъ предлогомъ его сбереженія, начинаетъ уже, слава Богу, вымирать и выходить изъ употребленія. По крайней мѣрѣ, во второе мое путешествіе по Греціи, я уже не встрѣчалъ рицинированного вина ни въ одномъ, сколько-нибудь пристойномъ отелѣ или ресторани. А въ первое—рицинаты подавались всюду, гдѣ я ни обѣдалъ. Миръ праху рицинатовъ! Не будемъ поминать покойниковъ лихомъ, но добромъ—правду говоря—не за что.

Вообще, какъ мнѣ говорили, да и по опыту столовыхъ винъ можно было замѣтить, винодѣліе въ Греціи, особенно въ Пелопонесѣ, быстро развивается, переходя отъ первобытныхъ, чуть не Ноевыхъ жомовъ къ болѣе усовершенствованнымъ, французскимъ способамъ и хозяйства, и производства. Только бы филоксера не разбойничала а то греки своими винами еще поторгуютъ и покормятся. Къ сожалѣнію, большинство хорошихъ виноградниковъ или скуплено, или заарендовано иностранцами — нѣмцами изъ Австріи по преимуществу. Такъ, напримѣръ, патрасское винодѣліе—всецѣло въ рукахъ двухъ австрійскихъ фирмъ—Гамбургера и Фельса. Въ Аѣннахъ сборное мѣсто европейцевъ-винопійцъ — тоже нѣмецкая Weinstube, приличный, скромный и дешевый уголокъ въ улицѣ Побѣды (Nike). Лѣтомъ 1894 года тамъ каждый вечеръ часамъ къ десяти собиралась почти вся мужская половина русской колоніи

въ Аѣинахъ, уничтожая, за мирной бесѣдой, не опьяняющее бѣлое вино, похожее на рейнвейнъ вкусомъ и на квась крѣпостью... Не удивляйтесь, что я такъ долго и внимательно останавливаюсь въ своемъ очеркѣ на, такъ сказать, «винномъ вопросѣ»: это—не по пристрастію къ «пьяному дѣлу», а потому, что найти порядочное вино для туриста въ Аѣинахъ и, особенно, лѣтомъ—дѣйствительно, задача неизбежная и первой важности. Съ питьемъ здѣсь бѣда. Диву даешься, какъ въ іюньскіе жары аѣиняне не спиваются съ круга. Вода въ греческой столицѣ очень недурная, даже и въ водопроводѣ общественномъ, не говоря уже о той хрустальной влагѣ, что каждое утро развозятъ по Аѣинамъ, въ глиняныхъ амфорахъ, мужики изъ горныхъ деревень, ютящихся на Гиметѣ. Горы Аттики богаты источниками великолѣпной питьевой воды. Пресловутая «неро Кэсаріанисъ», столь популярная между туристами, благодаря рекомендаціямъ Бедекера, ничуть не лучше другихъ, и, кто ожидаетъ отъ нея какого-либо особеннаго вкуса, чудесь свѣжести и прозрачности, при пробѣ бываетъ горько разочарованъ. Вода какъ вода. Много лучше, конечно, чѣмъ изъ невскаго фильтра, но, напримѣръ, до неаполитанской Aqua Serina—ей далеко. Но, какъ вода ни будь хороша, она не утоляетъ жажды надолго, развѣ что пить ее походя бочками, покуда самого тебя не раздуетъ въ бочку и не потребуетъ набить обручи на бока, дабы чрево не лопнуло. Извѣстно, что нѣчто въ этомъ родѣ и приключилось съ героемъ Марка Твэна, имѣвшимъ неосторожность стать членомъ общества трезвости. Лимонады, *gelati* и *granite*—*пагота*, по-здѣшнему,—вскорѣ приѣдаются до отвращенія, потому что греческія кафе грязны, небрежны и не умѣютъ превращать ледъ и снѣгъ въ тѣ вкусные шедевры, которыми такъ справедливо гордятся Неаполь и Мадридъ. Отравлять себя солями разныхъ Гисгюблеровъ, Аполлипарисовъ и прочихъ привозныхъ минералокъ и не полезно, п безумно дорого. Да и что за охота превращать себя ихъ газами въ

воздушный шаръ, готовый взлетѣть при первомъ дуновеніи здѣшняго несноснаго и неугомоннаго вѣтра? Пиво — на югѣ вездѣ мерзость, а въ Аѣинахъ — нарочитая. И не по климату оно, — тяжело, дурѣешь отъ него какъ-то. И, надо полагать, кукельвану въ него пивовары не жалѣютъ: съ одной-двухъ кружекъ — головная боль на цѣлый день. Остается, значить, и рекомендуется мѣстными жителями одно: выбрать себѣ по вкусу и пить *quantum satis* кислое бѣлое вино со льдомъ — мѣстное, дешевенькое пойло, благодаря испаринѣ, исчезающее изъ организма такъ быстро, что не успѣваешь хмѣлѣть. Сосеешь эту влагу, буквально, «бутылками и пре- большими... нѣтъ, бочками сороковыми!» — и ничего.

II.

Первое впечатлѣніе Аѣины, откуда въ нихъ ни въѣзжать, производятъ очень хорошее. Сразу, отовсюду, попадаешь въ центръ столицы. Городъ малъ, но въ показной своей части изященъ, какъ бонбоньерка. Его можно пройти изъ конца въ конецъ въ какіе-нибудь полчаса, но зато въ эти полчаса вы почти не видите некрасивыхъ зданій. Греки умѣютъ цѣнить свою древнюю архитектуру, и вѣянія красота ея замѣтны и въ современной. Мотивы Парѣенона и Эрехтейона гораздо чаще отражаются на улицахъ Аѣинъ, чѣмъ, на примѣръ, мотивы Помпей на улицахъ Неаполя, не говоря уже о Римѣ, на архитектуру котораго его древніе памятники не имѣютъ рѣшительно никакого вліянія. Зданія современныхъ Аѣинъ свѣтлы, легки, воздушны, они стремятся летѣть вслѣдъ прозрачнымъ формамъ античныхъ руинъ на Акрополѣ, Тезеева храма, Адріанова портика и т. д. Поэтому, когда не душно, когда пыльные вихри не терзаютъ вамъ лицо и не слѣпятъ глаза, прогулка черезъ Аѣины увлекательна. Національный или, какъ его здѣсь называютъ, Центральный музей, политехническая школа,

рядъ частныхъ, похожихъ на виллы, домовъ улицы Патиссія, площадь Согласія, съ ея скверомъ, обставленнымъ эффек-
тными общественными сооруженіями, банками и присут-
ственными мѣстами, длинная улица Стадіона, университетъ,
академія, зданіе народнаго собранія, площадь Конституціи
съ королевскимъ дворцомъ, блестящіе магазины улицы
Гермеса, великолѣпный каедральный соборъ — всѣ эти
прелести новыхъ Аѳинъ лежатъ на одной непрерывной
линіи, слагаясь въ эффектную декорацію весьма благо-
устроеннаго города. Но за декораціями скрываются, какъ
обыкновенно, весьма несуразныя, изношенныя подпорки,
и, въ дѣйствительности, Аѳины совсѣмъ не благоустроенный
городъ. Вонючіе дворы, кривые закоулки, тупики, загряз-
ненные площадки замѣщаютъ собою пространства между
широкими и красивыми улицами. Стоитъ свернуть съ тор-
говыхъ улицъ Гермеса, Минервы, Эола въ переулокъ,
чтобы очутиться чуть не въ эпохѣ Перикла, при чемъ
переулки засорены, какъ будто по нимъ сейчасъ только
прошелъ со всею своею пьяною компаніей безпутный Алки-
виадъ и перебилъ, переломалъ, перешвырялъ всѣ, попавшіеся
подъ руку, гермы. Базары грязны. Вонь,—мочи нѣтъ!
Акрополь и его развалины содержатся въ порядкѣ; но
нельзя сказать того же про другія руины, напримѣръ, про
башню Вѣтровъ и римскій рынокъ при ней. Это мѣсто
глубоко погрязло въ мерзости запустѣнія: валяются какія-то
тряпки, бабьи башмаки, сложена солома, осель пасется...
Пришелъ я сюда какъ-то разъ послѣ грозы: болото боло-
томъ! Урочище это лежитъ какъ разъ у подошвы Акрополя,
подъ крутымъ обрывомъ, —и чего, чего только не нанесло
съ высоты въ эти портики, внезапно обращенные въ ци-
стерны. Тропинка отъ башни Вѣтровъ къ сѣверной части
Акрополя заставляетъ сомнѣваться, существуетъ ли въ
Аѳинахъ ассенизаціонное общество. Впрочемъ, съ этой
стороны къ Акрополю поднимаются только ужъ черезчуръ
самостоятельные въ своемъ любопытствѣ путешественники,

не признающіе Кука, привычные обходиться безъ гидовъ. Есть дорога показная, огибающая почти весь холмъ, прекрасно шоссированная; по ней можно доѣхать въ парномъ фаэтонѣ до самыхъ воротъ крѣпости. Словомъ, какъ все въ Аѣинахъ: съ лица красиво, изящно, по-европейски; а съ изнанки несносная грязь, грязь средневѣковая... нѣтъ, даже хуже: византійская. То есть—самая грязная изъ всѣхъ грязей, какъ историческихъ, такъ, вѣроятно, и до историческихъ.

Дважды погостивъ въ Аѣинахъ, я дважды увезъ изъ нихъ впечатлѣнія большой «мизеріи». Мѣщанскій городишко, построенный на кладбищѣ великихъ людей, при чемъ плиты съ гробницъ безъ церемоніи были обращены въ фундаменты и стѣны коровниковъ, лабазовъ и кладовыхъ. Казалось бы, трудно вообразить расу, болѣе нелѣпую и выродившуюся, чѣмъ пицее и безпутное населеніе Неаполя, но—сравнительно съ аѣинянами—это прелестнѣйшіе люди. Неаполитанцы мило-плутоваты, веселы, музыкальны, они знаютъ наизусть каждый уголокъ своего края, для нихъ—не мертвые звуки имена великихъ людей, его прославившихъ, изъ ихъ среды до сихъ поръ выходятъ талантливѣйшіе артисты, художники, писатели, ораторы Италіи. Аѣинянинъ—какой-то захудалый приказчикъ,—притомъ придавленный отсутствіемъ денегъ, только о деньгахъ думающій, только деньги считающій. Пойдите на главные улицы Аѣинъ—Гермесову, Эолову, Стадіона—въ кафе, на гулянья, въ театры: вы не слышите разговоровъ ни объ искусствѣ, ни о литературѣ, ни даже о политикѣ,—вокругъ васъ все считаетъ деньги, деньги и деньги. Считаетъ въ своемъ карманѣ, считаетъ въ карманѣ сосѣда. «Хримата»,—эти жалкія тряпки-драхмы, которыхъ даютъ вамъ по двѣ за европейскій франкъ, которыя рвутъ пополамъ, чтобы превратить десятидрахмовый билетъ въ пятидрахмовый,—единственный богъ, царящій нынѣ въ древнихъ владѣніяхъ Аѣипы-Паллады. Ужъ и божокъ! Пошелъ я въ аптеку,—

расплачиваюсь, — проклятыя, вонючія, грязныя драхмы слиплись, не разгъпишь. Хочу ихъ, какъ водится по російскому обычаю и какъ Алексѣй Толстой или Владиміръ Соловьевъ, подъ псевдонимомъ Алексѣя Толстого, выразился, «отслюнить», — аптекаръ даже руками на меня замахалъ:

— Что вы дѣлаете? Хотите заразиться какою-нибудь болѣзнью? Вѣдь наши мерзѣйшія деньги — это злѣйшій ядъ, настище всевозможныхъ микробовъ. Ну, видано ли въ какой-либо другой странѣ безобразіе, подобное этимъ отвратительнымъ тряпкамъ? Италія пробовала догнать насъ, выпустивъ свои бумажки по лирѣ, по двѣ — сущія почтовые марки — и все-таки не могла перещеголять: дала слишкомъ хорошую, плотную бумагу, которая не позволяетъ деньгамъ превращаться въ навозъ черезъ мѣсяцъ обращенія.

Аптекаръ оказался веселымъ малымъ, бывшимъ депутатомъ, знающимъ политиканомъ, но совсѣмъ не шовинистомъ, скорѣе отрицателемъ

Удивительная наша страна! — иронизировалъ онъ. — Мегаломанія — наша общая болѣзнь. Въмѣсто денегъ у насъ — гнилыя бумажонки и никкель. Этотъ превосходный, симптоматическій никкель... Гдѣ заблѣлъ никкель, дѣло плохо, тамъ пахнетъ крахомъ либо цѣлыхъ сословій, либо всего государства. А у насъ нѣтъ ничего кромѣ никкеля. Никкелевая валюта. Ха-ха-ха! У васъ золотая, а у насъ никкелевая. И вотъ еще эти тряпки, въ которыхъ мало пользы, но много микробовъ. Но при этомъ мы всѣ — мегаломаны. Неисправимые! И — стоитъ хорошо уродиться нашей коринкѣ, стоитъ нашему курсу, благодаря урожаю, подняться настолько, что за одинъ наполеонъ мы имѣемъ храбрость предлагать не 33 драхмы, а только 32 съ половиною, — какъ у насъ уже начинается кружиться голова отъ несбыточныхъ историческихъ мечтаній. Мы уже беремъ Константинополь, возстановляемъ византійскую монархію, грозимъ цѣлому міру... Величія — хоть отбавляй! И все

это, конечно, до... неурожая коринки или паденія цѣнъ на нее и пониженія курса на два, на три десятка лептъ.

— А тогда?

— Тогда мы вѣшаемъ носы на квинту и начинаемъ проклинать Россію.

— За что же?

— За все. За то, что она—главный нашъ кориночный рынокъ; за то, что она не беретъ Константинополя и не даритъ его намъ; за то, что она *предала* насъ въ послѣднюю нашу войну съ турками.

— Какъ предала? Развѣ васъ обнадеживали помощью? Развѣ вамъ была обѣщана какая-нибудь поддержка?

Собесѣдникъ мой засмѣялся.

— Рѣшительно никакой. Напротивъ, усиленно совѣтовали намъ: не суйтесь. Но это-то мы и называемъ «предала». Для кого же секретъ, что нашъ расчетъ былъ: мы начнемъ, а — когда удивимъ весь міръ своимъ геройствомъ, но турки станутъ насъ одолѣвать—русскіе и французы придутъ и докончатъ кампанію. Все это, конечно, мы рѣшили сами. безъ спроса ихъ, будущихъ-то завершителей войны. Что же спрашивать? Помилуйте! Они *должны* поступать такъ, какъ мы хотимъ. Это—ихъ историческая обязанность, это—воскресеніе двадцатыхъ годовъ! Давайте намъ новый Наваринъ, пошлите къ намъ умирать за насъ новаго Байрона! Ну... никакой Байронъ къ намъ, конечно, не поѣхалъ, а пріѣхалъ—было русскій корреспондентъ г. П., да и тотъ поспѣшилъ уѣхать: очень ужъ звѣрскими глазами смотрѣли тогда на каждого русскаго наши шовинисты, злились, что Наварина намъ не дарятъ, и въ злости готовы были сами раздѣлать подъ Наваринъ любого русскаго подданнаго. Расколотили насъ турки въ лучшемъ видѣ, и—если бы только расколотили! Если бы война эта не имѣла другихъ послѣдствій, кромѣ траура по героямъ и матеріальныхъ жертвъ... Послѣдней печали наступаютъ дни радости, разоренные люди, перетерпѣвъ бѣду, часто дѣлаются миллионерами. Но эта

роковая война имѣла еще тотъ ужасный для насъ результатъ, что мы въ неудачахъ ея потеряли духъ народный, живившій насъ въ теченіе ста лѣтъ, а турки, наоборотъ, его въ себѣ воскресили.

— Вы повторяете мысль, которую я неоднократно слышалъ уже въ Македоніи.

Собесѣдникъ мой прервалъ меня съ комическимъ ужасомъ:

— Брр! Вотъ еще словцо, отъ котораго въ Греціи каждого благоразумнаго человѣка морозъ подираетъ по кожѣ!.. Впрочемъ, благоразумныхъ людей у насъ—штукъ шесть на все государство. Такъ что, если они и померзнутъ, то не велика бѣда. Македонія! Вѣдь это для насъ—изъ магнитовъ магнитъ! Если она не будетъ наша, цѣликомъ и безраздѣльно наша, мы объявимъ узурпаціей всякій раздѣлъ ея, какой бы ни рѣшила Европа. По-вашему, гдѣ стоятъ Призренъ и Приштина?

— Въ Старой Сербіи.

— А по-нашему,—въ Эпирѣ. И, если вы возьмете сегодняшній «*Νεολόγος*», гдѣ редакторъ излагаетъ свое interview съ вами, то,—быть можетъ, къ полному удивленію своему,—узнаете, что вы путешествовали по Эпирѣ. И вотъ эти-то Эпиры и Македоніи—для нашего брата, обывателя, не-шовиниста,—истинно ужасны, какъ символъ будущей непремѣнной драки.

Въ оба раза, что я посѣтилъ Аѳины, я ѣхалъ въ этотъ городъ не для трудовъ, а по трудахъ—затѣмъ, чтобы на свободѣ отъ разговоровъ газетныхъ и политическихъ, которыми бывали переполнены предварительныя поѣздки мои въ Турцію и славянскія земли, никого не видѣть и разобратъ въ пестромъ хаосѣ накопленныхъ впечатлѣній. Не тутъ-то было. Аѳинскіе журналисты—бойкій народъ, и ужъ Богъ ихъ знаетъ, какимъ способомъ, но они ухитряются раскрывать всякое «инкогнито проклятое». Въ 1894 году—едва пріѣхалъ я, на другой же день получилъ

визитъ отъ капитана Г., который заявилъ мнѣ, что тогдашній министръ-президентъ, нынѣ уже покойный, Трикуписъ, узнавъ изъ газетъ о моемъ пріѣздѣ, поручилъ ему, какъ человѣку, говорящему по-русски, взять мое пребываніе въ Аѣинахъ подъ свою любезную опеку, показать достопримѣчательности, дать всѣ нужныя объясненія и т. д. Это было очень любезно, хотя и совершенно напрасно и неожиданно. А затѣмъ начались интервью—тѣмъ болѣе для меня плачевныя, что интервьюеры не знали никакого евронеискаго языка, кромѣ новогреческаго, и приходилось говорить черезъ переводчика-капитана; а онъ, хоть былъ гораздо и на своемъ языкѣ, и по-русски, но не далъ ему Богъ таланта къ толмачеству, и, переводя, онъ то и дѣло нестерпимо путалъ. Капитанъ — воспитанникъ пресловутаго пансіона южныхъ славянъ въ Николаевѣ, служилъ нѣкоторое время въ русской арміи, а въ греческую службу перешелъ—какъ любилъ онъ выражаться и повторялъ чуть не каждыя три минуты—«движимый чувствомъ патриотизма», послѣ русско-турецкой войны за освобожденіе славянъ. Хотя уже давно изъ Россіи, капитанъ Г., дѣйствительно, хорошо владѣетъ языкомъ и даже чуть ли не корреспондировалъ во время оно въ русскія газеты. Онъ—природный македонецъ и, въ этомъ качествѣ, ненавидитъ болгаръ до ярости: черта, сколько я могъ замѣтить, общая всему греческому воинству, но у грековъ изъ Македоніи выступающая съ особенною рѣзкостью. Кромѣ вѣковой племенной распри, тутъ играетъ не малую роль и современная политическая боязнь. Что рано или поздно грекамъ придется столкнуться съ болгарами изъ-за Македоніи, въ этомъ не сомнѣваются ни въ Аѣинахъ, ни въ Софіи. Въ какомъ отдаленномъ будущемъ это случится—другой вопросъ; но когда-нибудь случится. Предчувствуя столкновенія, греки, при всемъ своемъ шовинизмѣ и хвастливости, втайнѣ не могутъ не опасаться за его исходъ. Какъ ни огромна бываетъ энергія шовинистическаго ослѣпленія, въ душѣ у самаго яраго шовиниста

все же теплится искра здравого смысла, подсказывающая ему необходимость нации въ состояніи упадка отступить въ тѣнь предъ прогрессомъ нации молодой, сильной, бодрой растущей. За болгарями—будущее, у грековъ—хорошо только прошедшее.

— Вы, русскіе, вырастили змѣю,—вырвалось въ разговорѣ со мною у весьма высокопоставленнаго эллина,—и змѣя эта перекусаетъ всѣхъ насъ, чтобы потомъ обратить жало на васъ.

Старый русскій морякъ средиземной эскадры говорилъ мнѣ:

— Богъ ихъ знаетъ, этихъ грековъ. Въ отдѣльности—молодцы, воины хоть куда. Въ той же самой турецкой войнѣ, которую они проиграли, можно найти эпизоды, когда офицеры и небольшія части войскъ совершали подвиги, достойные старинныхъ Леонидовъ и Эпаминондовъ. Но масса бѣжала предъ турками, какъ стадо барановъ. Отъ нихъ, что называется, только пухъ летѣлъ.

Болгарскій военный характеръ — совсѣмъ обратнаго свойства. Индивидуальное личное молодечество—рѣдкость у болгарина. Одинокій болгаринъ легко теряется предъ опасностью и пассивно ей подчиняется. Лучшее свидѣтельство тому—хотя бы убійство Стамбулова, который позволилъ изрубить себя безъ сопротивленія, хотя былъ отлично вооруженъ, да и у спутниковъ его были револьверы *) Но соединенные въ массу болгары—львы. У нихъ та же способность «навалиться кучею», что и въ нашей арміи, которой традиціями они воспитаны и живутъ.

— Глуше войны, чѣмъ между турками и греками, я и придумать не могу,—говорилъ мнѣ тотъ же морякъ.—Ну, а братушки наши, хоть и малъ золотникъ, доставятъ когда-нибудь Стамбулу большія непріятности.

*) В. О. Машковъ рассказывалъ мнѣ, какъ безоружный албанецъ выдернулъ у болгарина-каваса изъ-за пояса револьверъ и застрѣлилъ бѣднягу изъ его же собственнаго оружія (1908).

— Вы находите ихъ способными противостоять великолѣпной турецкой арміи?

— Видите ли: вѣдь на турокъ—секретъ надо знать. Они блистательные воины, изумительные солдаты. Никакою храбростью ихъ не удивишь, готовностью умирать въ бою не испугаешь. Но мужества пассивнаго, такъ-сказать, они не понимаютъ. Имъ любы дикія атаки, имъ, пожалуй, свойственна стойкость предъ нападающимъ врагомъ, но—какъ, напримѣръ, можетъ армія, окруженная непріателемъ, бездѣлательно стоять въ снѣгахъ, голодная, холодная, босая, безъ крова, вымерзая цѣлыми ротами, но не сдаваясь—это выше ихъ разума, не по терпѣнію ихъ, это имъ кажется почти сверхъестественнымъ, это ихъ пугаетъ. Никто не билъ турокъ больше, чѣмъ русскіе. И били мы ихъ не столько страшными атаками съ потрясающими криками «ура», сколько этою роковою привычкою безтрепетно встрѣчать смерть, въ какомъ бы тяжкомъ видѣ ни пришла она къ солдату. Умереть въ эффектной позѣ, героемъ на полѣ битвы—солдату не штука, это не только обязанность его, это—его награда. А вотъ ты, страдая дизентеріей, въ траншеѣ лежи, да, въ госпиталь не попросясь, такъ подъ ружьемъ и умри, когда тебя совсѣмъ уже скрючить,—на это немногія военныя силы способны. У насъ способность такой выносливости доходить почти до чудесныхъ размѣровъ. А—по сходству—думаю, что должна она быть и у болгаръ. Вѣдь это—лицо въ лицо наши батальоны, наша «михрютка», наша «святая сѣрая скотинка»... Нѣтъ, съ ними не шути! Они, можетъ-быть, тоже не одинъ разъ покажутъ туркамъ спины, но ихъ не раздавишь, какъ грековъ, однимъ натискомъ низама: съ ними придется повозиться и поплакать. Пассивное мужество всегда грубѣе активнаго, а безстрашіе массы всегда сильнѣе самаго удалаго геройства и молодечества. Греки—очень часто великолѣпные храбрецы, паликары. У нихъ вѣдь тоже и Мисолунги были, и все такое. Но, какъ солдаты, какъ армія,

они никуда не годны. Они — герои по мелочамъ, въ разницу, враздробь. Они хороши въ бандѣ, но не въ арміи. Это — все равно, какъ взять ихъ на морѣ. Кто лучшіе лодочники? Греки. А флотъ ихъ — курамъ на смѣхъ, хотя и дорого стоитъ. Во время войны флоты греческій и турецкій заботились объ одномъ — какъ бы имъ не встрѣтиться, что имъ и удавалось блистательно: — море-то вѣдь широко! Отъ турокъ удирали! А ужъ турки — знаете, небось — каковы моряки. Анекдотическіе. Фактъ, какъ они посылали своего адмирала въ Мальту съ фрегатомъ, въ исторію вошелъ. Поплылъ адмиралъ въ Мальту, плавалъ-плавалъ, плавалъ — плавалъ и... назадъ къ Константинополю приплылъ. — Что же вы?! откуда? зачѣмъ? какъ же Мальта-то?.. А онъ отвѣчаетъ: — Я искалъ вашу Мальту двѣ недѣли и не нашелъ. Очевидно, это ошибка на картѣ. Никакой Мальты въ природѣ не существуетъ. Йокъ Мальта!.. Скажите-ка, попробуйте, турецкому моряку «йокъ Мальта», — онъ вамъ глаза выпарапаетъ.

Сравнивая между собою воинственность и выправку балканскихъ армій, я, право, не знаю, какъ поставить въ относительной таблицѣ ихъ болгарскаго солдата — первымъ или вторымъ. Турецкіе аскеры, которыхъ я неоднократно видѣлъ въ полномъ блескѣ на церемоніи Селамлика въ Константинополѣ, оставляютъ чрезвычайно эффектное впечатлѣніе. Народъ рослый, красивый, здоровый, сытый, нарядный. Они отлично обучены. Ихъ движеніями можно залюбоваться. Въ турецкомъ солдатѣ вы сразу видите члена стройной арміи, воинственнаго цѣлаго, которое стоитъ государству огромныхъ, если не денегъ, то долговъ и неуспянныхъ заботъ. По внѣшней эффектности, военные Турціи — безспорно самые блестящіе въ ряду воєнныхъ балканскихъ государствъ. Но врядъ ли у турокъ ужъ не слишкомъ много показнаго блеска. Притомъ, командуютъ ими, если не иностранцы и ренегаты, то, зачастую, ужъ слишкомъ невѣжественные, первобытные начальники. Въ

началъ царствованія Абдуль-Гамида волновались софты. Султанъ, въ одну трагическую ночь, велѣлъ перерѣзать ихъ сходку. Организаторомъ этой бойни былъ унтеръ-офицеръ, простой, грубый, безграмотный солдатъ. Абдуль-Гамидъ сдѣлалъ его полковникомъ и провелъ по лѣстницѣ высшихъ чиновъ быстрѣе, чѣмъ проходилъ ее Фрицъ при дворѣ принцессы Герольштейнской,—совершенно дикій и глупый рѣзакъ управлялъ частями войскъ, генераль-губернаторствовалъ въ лучшихъ вилайетахъ *). Такія нелѣпыя, капризные карьеры часты въ Стамбулѣ.

— Ими Богъ наказываетъ турокъ и благословляетъ насъ! — смѣясь, говорилъ мнѣ молодой сербъ-дипломатъ.

— Почему?

— А потому, что эти карьеры неучей-фаворитовъ, бездарныхъ, случайныхъ людей являются злѣйшею язвою для турецкой арміи, которая иначе была бы страшною силою. Турецкій солдатъ — сокровище; у него немного соперниковъ въ Европѣ. Но солдатъ этотъ находится въ рукахъ офицерства невѣжественнаго, бездарнаго, устарѣлаго, отнимающаго у вѣранныхъ ему частей половину вѣса и значенія, какъ боевой силы. Притомъ, офицерство страшно бѣдно. Жалованье ему государство платитъ дурно, трудно.

— До майора (бимбаши) служить еще куда ни шло, можно, — признаются сами военные, — а затѣмъ уже одинъ мундиръ разорить.

Большинство великолѣпныхъ, раззолоченныхъ воиновъ, мелькающихъ по Перѣ и Галатѣ, — живыя иллюстраціи къ ходячей русской поговоркѣ: «на брюхѣ шелкъ, а въ брюхѣ щелкъ!» Весь въ мишурѣ, а дома ѣсть сухіе бобы, либо лѣтъ съ краснымъ перцемъ. Въ провинціи жизнь военныхъ легче, но въ Константинополѣ она — тяжелая и унижительная голодовка.

*) См. въ моей книгѣ „Страна Раздора“ статью „Повелитель Правовѣрныхъ“.

Одинъ важный славянскій дѣятель получилъ отъ султана орденъ—Османіе. Спрашиваетъ другого, болѣе опытнаго: дадутъ ли ему только брать на орденъ, а самый орденъ надо будетъ купить, или же дадутъ и самый знакъ?

— Конечно, знакъ,—отвѣчаетъ спрошенный.—И очень красивый знакъ. Султанъ на эти вещи очень щедръ. Вамъ вся эта исторія обойдется лишь въ двѣ-три лиры на чай офицеру, который привезетъ вамъ брать.

— На чай... офицеру?!

— Ну, да. Здѣсь такъ водится.

— А онъ мнѣ... того... не швырнетъ денегъ въ лицо?

— Напротивъ! рассыплется въ благодарностяхъ. Вѣдь они же—несчастные, имъ жить нечѣмъ. Этакій внезапный бакшишъ—для военного горемыки—прямо кладъ, американское наслѣдство. Его, собственно говоря, затѣмъ и посылаютъ, чтобы бѣднягъ перепала малая толика.

Во время греческой войны, турецкія войска безжалостно грабили Фессалію.

— Только грабить-то тамъ нечего было!—съ наивно-откровенною грустью говорятъ офицеры:—ничего не поправились: какими нищими пошли, такими и назадъ пришли. Проклятая служба! И воевать-то намъ судьба—только съ нищими.

Хорошо живетъ въ турецкихъ войскахъ лишь командирамъ частей да офицерамъ-иностранцамъ. Зато и не любятъ же ихъ здѣсь!—развѣ лишь для нѣмцевъ дѣлается теперь маленькое исключеніе, да и то временное и скрѣпя сердце.

Въ болгарской арміи, наоборотъ, показнаго ничего нѣтъ; она бѣдна, сѣра; мундиришки стары и вытерты; нѣтъ и слѣда опереточной щеголеватости румынъ, грековъ и итальянцевъ. Зато въ ней проглядываетъ русское воспитаніе, и есть стремленіе крѣпко держаться за русскіе традиціи и образцы. Стремленіе—сознательное: вѣдь благодаря именно этимъ традиціямъ и образцамъ, болгарскіе мальчишки-офи-

церы русской выучки, съ молодымъ, чуть не отъ сохи взятымъ войскомъ, побили при Сливницѣ сербовъ. Сербы народъ-красавецъ, молодцы на подборъ одинъ къ одному, изъ каждаго серба выйдетъ полтора болгарина; но военнаго энтузіазма, надо полагать, маловато въ ихъ національномъ характерѣ. Они здраво разсуждаютъ, что освободились отъ турокъ они для того, чтобы мирно пасти овецъ и снимать съ земли урожай, а не для того, чтобы рѣзаться съ сосѣдями. Поэтому изъ нихъ вышли неважные солдаты, при Сливницѣ они бѣжали, какъ зайцы... Правда, что при Сливницѣ сербская армія, какъ говорятъ, дралась неохотно, черезъ силу побѣждая свое отвращеніе къ братоубійственной войнѣ. Генералы боялись приказывать, не будучи увѣрены, послушаются ли ихъ солдаты, — король Миланъ не смѣлъ воззвать къ народу, чувствуя, что народъ — за радикальную партію, которую онъ гналъ.

— Если бы Миланъ имѣлъ умъ и мужество призвать насъ къ власти и опереться, чрезъ насъ, на силу народныхъ массъ, — развѣ Сербіи пришлось бы переживать позоръ Сливницы?

Эту фразу я не разъ слыхалъ отъ сербскихъ политиковъ-радикаловъ. Но политика — политикою, а дисциплина — дисциплиною. Можно не сочувствовать войнѣ и противодѣйствовать ей — до открытаго поля; но, разъ дѣло дошло до битвъ и сраженій, тутъ уже не до политики, тутъ уже инстинктъ охраненія крови своей собственной и братьевъ своихъ долженъ разбудить въ хорошо организованной арміи всѣ силы дисциплины, которую она успѣла впитать. И этой-то спасительной дисциплины, какъ военной, такъ и политической — у бѣдныхъ сербовъ въ роковую болгарскую войну совершенно не оказалось.

Внѣшній видъ греческихъ воякъ внушаетъ весьма мало довѣрія къ ихъ доброкачественности на полѣ сраженія. Стрѣлки, какъ въ Италіи, лучшая часть армій; несмотря на свои юбки и красные колпаки, они не вызываютъ

улыбки; это солдаты; а не театральные ряженые. Зато представители других видовъ оружія, и особенно офицерство, въ своихъ парусиновыхъ пиджакахъ съ форменнымъ погономъ, — совсѣмъ телеграфисты съ захолустныхъ станцій.

Греческій офицеръ полонъ самодовольства и важности необыкновенной. Если бы Липочка Большова попала въ Аѣины, то-то была бы счастлива: нигдѣ въ мірѣ, кажется, нѣтъ офицеровъ, болѣе усердствующихъ «блеснуть поочаровательнѣй». Одною саблищею, отпущенною влачиться чуть не на аршинъ сзади своего обладателя, греческій офицеръ гремитъ «иду на вы» цѣлому кварталу...

А хвастовства-то! а донжуанскаго и бретерскаго лганья-то! а забіячества-то съ мирными гражданами! Самое заурядное въ мѣстныхъ газетахъ извѣстіе, что недовольные чѣмъ-либо греческіе офицеры разнесли вдребезги редакцію того или другого органа. Помню, въ 1894 году такой военный подвигъ въ мирное время — совершенно въ духѣ аѣинскаго рыцарства — уничтожилъ редакцію газеты «Акрополь». Это штурмованіе редакцій — спеціально греческое удалство. Турокъ не разнесъ бы, потому что газетъ не читаетъ, а если и читаетъ, то слишкомъ презираетъ печатное слово, чтобы ради его обидѣ выходить изъ кейфа и ломать стулья. Болгаринъ разнесетъ — но лишь въ томъ случаѣ, если военный министръ дастъ на то прямое или косвенное разрѣшеніе. Иначе — струсить. Румынъ будетъ ругаться, но не разнесетъ, ибо, въ своемъ недавнемъ просвѣщеніи, онъ очень стыдится старинныхъ боярскихъ замашекъ къ физическому насилию и трепещетъ, какъ бы европейцы не приняли его за варвара. А грекъ — этотъ разнесетъ и еще совершенно серьезно приметъ свой разносъ за героическій подвигъ! Старый французъ - инженеръ, съ которымъ я встрѣтился на пути изъ Аѣинъ въ Патрасъ, человекъ желчный, страшно истрепанный жизнью, язвительный и политически разочарованный, находить большое сходство между

крикунами греческой арміи и эмигрантами-военными польскаго повстанья; онъ зналъ, въ свое время, очень многихъ въ Парижѣ и въ Константинополѣ. Какъ-то недавно я упомянулъ объ этомъ сходствѣ въ разговорѣ съ извѣстнымъ боевымъ генераломъ. Генералъ согласился только наполовину.

— Вѣрно-съ! Вѣрно! Вашъ французъ правильно подмѣтилъ... Но только вотъ какая разница: у поляковъ мало способности къ общей военной организаціи, у нихъ все вмѣстѣ не клеилось и не ладилось, но храбрости и талантливости отдѣльныхъ лицъ нельзя отрицать... Поляки—рыцари. Греки же и въ семъ отношеніи пока не проявили себя ничѣмъ блистательнымъ. А репутація у нихъ—не похвалишь.

— А паликары? А возрожденіе Эллады, Байронъ и клефтическія пѣсни?

— Позвольте-съ: клефть сейчасъ въ Греціи самое ругательное слово; клефть значитъ воръ—не благородный, романтическій бандитъ, въ родѣ какого-нибудь Фра-Діавола: это у нихъ называется «листись»,*)—а просто жуликъ. Ежели семидесяти лѣтъ было достаточно, чтобы обратить благороднѣйшее слово языка въ позорнѣйшее, то, стало быть, и понятіе, которое имъ выражались, уничтожилось и испошлѣло; стало быть, клефтовъ-паликаровъ пѣтъ въ народѣ, а клефты-жулики развелись въ количествѣ, не дѣлающемъ чести націи. Да, наконецъ, всѣ эти паликары, гайдуки и т. п. ничуть не доказываютъ военныхъ способностей народа. Отъ сербскихъ богатырей-гайдуковъ насъ отдѣляетъ меньшій промежутокъ времени, чѣмъ отъ греческихъ паликаровъ. Однако изъ сербовъ вышли неважные солдаты. Такъ же и съ греками. Пока они были разбойниками, они

*) „Листись“—звание настолько почетное, что въ 1895 году одинъ изъ депутатовъ аѣинскаго народнаго собранія, обличенный въ сношеніяхъ съ атаманомъ горныхъ разбойниковъ, публично оправдывался, что пріятель его—не какой-нибудь мелкій прохождемець но знаменитый λήστης (листись)...

были молодцы, но, перевернутые въ солдаты, они чрезвычайно плохи... И всегда такъ выходитъ, что хорошій разбойникъ—сквернѣйшій солдатъ. Ибо храбрость разбойника и храбрость солдата—двѣ разныя вещи и разныя отъ нихъ требованія. Это все равно—что наши кавказскіе джигиты. Ужъ удалѣе ихъ быть нельзя, звѣри въ полѣ... Переверните ихъ въ регулярное воинство, и половину ихъ достоинствъ надо сбросить со счетовъ. Лучшіе въ мірѣ солдаты тѣ-съ, которые, не щеголяя мужествомъ личнымъ, отдѣльнымъ, способны къ настойчивому и устойчивому мужеству массовому: французы, нѣмцы, турки, а въ особенности — русскіе. Если же судить солдатъ по индивидуальной храбрости, такъ, пожалуй, испанцы весь міръ бы уже побѣдили: неустрашимый народъ, а между тѣмъ, съ точки зрѣнія армейской—грошъ ему цѣна!

III.

Такимъ образомъ современный эллинскій воинъ (въ Греціи слова «грекъ» не любятъ,—вѣроятно, потому, что въ парижскомъ жаргонѣ *grecque* стало синонимомъ проходимца, шулера,—и надо говорить «эллинъ».) весьма далеко ушелъ отъ мощнаго и внушительнаго гоплита, о которомъ мы читали у Ксенофонта. Въ аѳинскомъ національномъ музеѣ этотъ, знакомый каждому гимназисту, гоплитъ, какъ живой, смотритъ со стѣны,—въ похоронной стѣлѣ Аристіона. Наслѣдники Аристіона имѣли благоразуміе заказать художнику Аристоклесу его рельефный портретъ, въ полномъ доспѣхѣ тяжеловооруженнаго воина, и этотъ портретъ Аристіона обезсмертилъ. Вѣка пройдутъ, а онъ все будетъ показывать художникамъ и ученымъ археологамъ,—какого фасона были настоящіе кнэמידы (наколѣнники) аѳинской гвардіи VI вѣка до Р. Х.,—тѣ самые кнэמידы, за ошибки въ склоненіи которыхъ получали мы въ

годы школьнаго дѣтства нашего нещадныя единицы и двойки. Въ длинной солидной фигурѣ Аристіона много «англійской складки»; въ наше время такіе сухощавые, но здоровенные люди встрѣчаются едва ли не исключительно между британскими джентльменами, воспитанными на гимнастикѣ, гребномъ спортѣ и игрѣ въ мячъ. Продолговатые мускулы рукъ и ногъ Аристіона привели бы въ завистливый восторгъ членовъ любого атлетикъ-клуба. Увы! современнымъ атлетамъ пивной соблазнъ и женолобіе никогда не дозволяютъ дойти до идеально безжирныхъ мышцъ греческаго гоплита. Это не мускулы на показъ—безобразныя, толстыя шишки твердаго мяса, какими щеголяютъ Фоссы, Сандорфы и иные, имена же ихъ ты, Господи, вѣси. Въ Аристіонѣ поражаетъ строгое распредѣленіе силы по всему тѣлу; въ этомъ человѣкѣ не было ни одного слабого мѣста. Онъ весь—готовая напечья мышца. Глядишь на Аристіона и начинаешь понимать, почему Киръ младшій находилъ выгоднымъ платить греческимъ наемникамъ дарейки чуть не гарницами и четвериками: масса, сплоченная изъ такихъ людей, должна быть почти неодолима. Леонидъ и его триста воиновъ при Оермопилахъ не удивляютъ меня болѣе. Не удивляютъ и баснословные переходы, прославленные Анабазисомъ: Аристіонъ тренированъ на страшную выносливость и энергію въ движеніи—въ бою ли, въ ходѣ ли. Онъ—долгоногій, какъ англичане-альпинисты, которые, ни спѣшно, ни медленно, уходятъ своимъ ровнымъ шагомъ по шести съ половиною верстъ въ часъ и пятидесятиверстный дневной переходъ считаютъ самымъ обычнымъ дѣломъ, совершая его безъ малѣйшей усталости. На мой взглядъ, въ Аристіонѣ и съ лица много англійскаго: такой холодный, сосредоточенный, порядочный человѣкъ; надо полагать, онъ былъ очень вѣжливъ, очень молчаливъ и очень внимателенъ къ разговорамъ другихъ; участвуя въ излюбленныхъ аѳинянами спорахъ, онъ говорилъ мало; за то, когда онъ начиналъ говорить, всѣ смолкали, чтобы при-

слушаться къ его вѣскому и солидному мнѣнію. Слову Аристіона вѣрили больше, чѣмъ самому вѣрному векселю, самой крѣпкой присягѣ; онъ былъ великій охотникъ держать пари и, проигравъ, платилъ добытые потомъ и кровью дарейки, не поморщившись. Барельефъ удивительно хорошо сохранился, какъ впрочемъ и большинство скульптуръ центральнаго музея; директоръ и описатель его, г. Кавадіасъ—великій мастеръ по возстановленію древностей. Это совсѣмъ гномъ какой-то. За семь лѣтъ, что мы не видались, онъ даже не постарѣлъ: вылился разъ навсегда въ форму, предопредѣленную ему судьбою, да такъ и засохъ въ ней, не мѣняясь. И, попрежнему, онъ днюетъ и ночуетъ въ кладовыхъ музея, заваленныхъ обломками, мраморнымъ мусоромъ, мучительно разглядывая: отъ какого именно лица отбиты вотъ этотъ носъ, вонъ то ухо? придется или нѣтъ мраморный мизинецъ къ найденной неподалеку отъ него ступнѣ? а ступня—въ свою очередь—кому принадлежить? Какъ обозначить ее въ каталогѣ? Судя по ремennому переплету—нога Гермеса, но, съ другой стороны, вѣдь и Аполлонъ не всегда ходилъ босикомъ? Вотъ и разбирайся! Не легка жизнь археологическая.

И даже вотъ какъ не легка.

Въ другомъ аѣинскомъ музеѣ древностей, Акропольскомъ, имѣется обломокъ конной группы: могучая лошадиная шея, переднія ноги и полморды. На конѣ сидѣлъ нѣкто, отъ кого остались двѣ прекрасныя ноги въ башмакахъ и начало спины, прикрытое пестрой рубахой. Статуя была раскрашена. Гиды выдаютъ эту группу за «раненую амазонку»; такъ рекомендуетъ ее и офиціальныи каталогъ. Но, когда я выразилъ свое восхищеніе этими ногами нашимъ русскимъ археологамъ, съѣхавшимся со мною въ Аѣинахъ, они заявили мнѣ, что ноги, конечно, очень красивы, но—почему онѣ ноги амазонки—это загадка составителей каталога.

— Кто же это, если не амазонка?

— Это—жандармъ.

— Какъ жандармъ?

— Ну, да, конный полицейскій — какъ у насъ жандармы. Вы замѣтили, какъ раскрашена рубаха на статуѣ? Это персидскій узоръ. А извѣстно, что конные городовые въ Аѣинахъ носили униформу персидскаго образца... И потомъ, на ней штиблеты по щиколку, — мужскіе, полицейскіе.

Не во гнѣвъ нашимъ молодымъ ученымъ, — я все-таки примыкаю къ г. Кавадіасу и стою за амазонку противъ коннаго городского. Пестрая рубашка и штиблеты, конечно, аргументы сильные; однако, пеструю рубашку могла надѣть и амазонка. Но съ какой стати будутъ у жандарма такія красиво-энергичныя ноги, полныя упругой силы, напоминающей гибкую несокрушимость толедскаго клинка, — ноги закаленной на пуантахъ танцовщицы или цирковой вольтижерки? Такъ вотъ и судите по этому примѣру, какъ широко качается маятникъ археологическихъ гипотезъ: отъ Пентезилей — къ вахмистру, отъ фантастическихъ дѣвъ-воительницъ, служительницъ цѣломудренной Діаны, къ самому прозаическому «осади назадъ!»

Не совсѣмъ рѣшено, что именно представляютъ собою въ томъ же акропольскомъ музеѣ каменные женщины восьмиугольной залы, которую гиды называютъ «павильономъ Аѣины». Предполагалось, будто заключенныя здѣсь изображенія, хотя разнолицыя, но схожія между собою по типу, — кумиры Аѣины, сдѣланные, хотя приблизительно и въ одно время, но разными художниками. Субъективизмъ послѣднихъ внесъ-де легкія измѣненія въ общеизвѣстный ликъ богини, отовсюду глядящій на васъ въ умершей столицѣ Атики, и, правду сказать, въ концѣ-концовъ весьма надоедающій. Другое предположеніе, будто эти статуи — портреты жриць акропольской богини, кажется мнѣ гораздо болѣе вѣроятнымъ. Тогда объясняется и родовое сходство, и видовое несходство между собою этихъ красивыхъ, но нельзя сказать, чтобы очень осмысленныхъ лицъ. Что это не

кумиры, но портреты, доказываетъ еще и отсутствіе въ нѣкоторыхъ лицахъ того цѣломудреннаго, строгаго и сильнаго, часто почти жестокаго выраженія, какимъ отличаются идеализированныя голова и фигура Паллады. Позволю себѣ напомнить здѣсь прекрасное объясненіе типа этой богини, сдѣланное покойнымъ Буслаевымъ:

«Въ типѣ Паллады греческое ваяніе умѣло стройно сочетать древнюю суровость съ идеальнымъ величіемъ по требованію позднѣйшаго, цвѣтущаго періода искусства. Прекрасныя, но не роскошныя формы этой богини не только не оставляютъ ничего желать совершеннѣйшаго, но даже передъ прочими богинями сообщаютъ ей взамѣнъ роскоши необыкновенно ясное успокоеніе, давая чувствовать каждому, что хотя она и отказалась отъ нѣжныхъ удовольствій жизни, однако не нанесла тѣмъ оскорбленія своей природѣ, уже отъ самаго рожденія къ нимъ мало склонной. Формы тѣла, въ которыхъ особенно раскрывается полнота и нѣга женской природы, у Аѣины значительно сокращены; руки же и ноги, а также и изгибъ спины можно бы назвать мужскимъ, если бы съ силою и легкостью не соединяли онѣ дѣвичьей нѣжности и граціи въ движеніяхъ. Чувствуешь, что сама Аѣина столько мужественна, что ей уже трудно, невозможно предаться мужчинѣ. Но не будь въ ней твердой рѣшимости оставаться неприступною, несмотря на врожденную ея непреклонность, въ типѣ ея не могло бы быть ни ясности духа, ни самоувѣренности въ собственной силѣ—качествъ, которыя человѣкъ спискиваетъ для своего духовнаго величія свободнымъ избраніемъ и твердою волею. Добровольно отказывая себѣ въ радостяхъ жизни (а были онѣ, по понятію грека, болѣе чувственныя), она становится строгою не только для другихъ, но и къ самой себѣ. Если природное расположеніе ваятель обозначилъ въ формахъ всего тѣла, то разумную побѣду души надъ увлеченіями могъ выразить только въ лицѣ. Ясное и продолговатое чело ея легко спускается къ тонкому очертанію носа; строгое

выраженіе усть и ланить (*torva genis*) довершается мало округленным подбородкомъ. Нешироко раскрытыми и внизъ опущенными глазами обозначались не застѣнчивость и стыдливость неопытной дѣвушки, а разумное сознаніе въ превосходствѣ дѣвственной чистоты и обращеніе глубокой и самодовольной натуры внутрь себя самой».

Вотъ этого-то, Буслаевымъ вѣрно замѣченнаго въ исторической прародительницѣ феминизма и нарочито подчеркнутаго, «цѣломудрія для цѣломудрія» — и не хватаетъ женскимъ статуямъ восьмиугольной залы акропольскаго музея, несмотря на ихъ внѣшнее сходство съ богиней. Это не отвлеченныя понятія, воплощенныя въ мраморѣ, но женщины отъ міра сего, а нѣкоторыя изъ нихъ даже чувственныя женщины. Это кокетливыя актрисы, наряженныя богиней, фигурантки изъ процессіи великихъ Панаоиней — но ни въ какомъ случаѣ не сама богиня. Съ нею сближаютъ ихъ лишь торжественное одѣяніе да черты лица. Очень можетъ быть, что жрицы Аѳины служили моделями для ея статуй, подвергаясь при этомъ тому же процессу типической идеализаціи и одухотворенія, какимъ впослѣдствіи Рафаэль Санціо превратилъ въ Мадонну, въ «чистѣйшей прелести чистѣйшій образецъ», свою сладострастную и сентиментальную Форнарину.

Несомнѣнно, что отъ великолѣпныхъ, но все-таки грубоватыхъ мраморныхъ жрицъ акропольскаго музея до изящной пареенонской Аѳины Фидіа, о которой даютъ намъ понятіе драгоценныя статуэтки центральнаго музея, Паллада-Аѳина прошла длинный путь послѣдовательнаго художественнаго усовершенствованія. Статуи жрицъ относятся къ VI вѣку до Р. Х.; ихъ находили въ слоѣ мраморнаго мусора, обязаннаго своимъ происхожденіемъ неистовамъ персидскаго пашествія. Онѣ были раскрашены въ зеленый, красный и голубой цвѣта: зеленый лучше другихъ сохранился; края гиматіевъ и хитоновъ были обведены красною и зеленою каемкой, какъ бы тесьмой; по матеріямъ, выткап-

нымъ узорами, разбросаны украшенія: пальмочки, розочки, крестики. Нагія части тѣла были сѣраго цвѣта, а волосы—рыжіе. Глаза тоже были выкрашены, а у одной (сохранились и теперь) сдѣланы были изъ горнаго хрустала. Эффектъ оригинальный и, въ своемъ родѣ, несравненный: когда по статуѣ скользитъ солнечный лучъ, лицо ея осмысливается, благодаря этому сверкающему взору, становится совсѣмъ живымъ, полнымъ какого-то удалства, насмѣшливаго, плутоватаго кокетства. У всѣхъ—странная, точно кружевная прическа, длинными и тонкими плетеными косами, сбѣгающая черезъ ухо на обнаженные плечи и грудь. Фигуры скованы однообразнымъ жестомъ; одна рука поддерживаетъ хитонъ, другая повѣшена вдоль бедра. Лица еще не совсѣмъ освободились отъ застылыхъ улыбокъ, напоминающихъ азіатскія и египетскія божества. Но за всѣмъ тѣмъ, въ таинственныхъ дѣвахъ уже есть грація, уже въ фигурѣ много воздуха, въ тѣлѣ есть порывъ къ мощному движенію, а въ лицѣ—попытка выразить характеръ, воплотить мысль... просвѣтить тѣло духомъ.

Необычайно любопытно слѣдить за этимъ художественно-историческимъ процессомъ. Центральный и акропольскій музеи даютъ къ тому значительныя удобства. Особенно — центральный, гдѣ всѣ предметы распределены въ строго послѣдовательномъ хронологическомъ порядкѣ. Совершенствомъ систематизаціи аѳинскій центральный музей оставляетъ далеко за собой не только наши, но даже итальянскія собранія мраморовъ. Тамъ—руководящая идея системы преслѣдуетъ цѣль ошеломить туриста богатствомъ собранныхъ сокровищъ, показавъ ихъ съ лицевой стороны. Все, что не знаменито и не красиво, въ итальянскихъ музеяхъ скромно задвигается въ темные уголки, какъ бы оно ни было важно въ научномъ и культурномъ отношеніи. Итальянскіе музеи рассчитаны, прежде всего, на зрѣлище; а аѳинскіе—на изученіе. Центральный музей открываетъ свои коллекціи остатками культа доисторическаго. Солонъ

былъ мальчишкою, когда первый номеръ музея—обрубокъ съ женскимъ лицомъ египетскаго типа, носящій названіе Артемиды и Артемидѣ же посвященный какою-то Никандрой съ острова Наксоса, считалъ себѣ уже цѣлое столѣтіе. Эту полустатую, полуглыбу нашли въ Делосѣ. Вокругъ нея—куда ни обернись—огромные, вытянутые во фронтъ, съ руками по швамъ атлеты—Аполлоны Тенейскій, Орхоменскій и такъ далѣе, также еще окованные цѣпами египетскихъ традицій: преувеличенныя сѣрыя тѣла безъ обозначенія мускуловъ, выраженіе блаженнаго безстрастія на продолговатомъ овалѣ толстаго лица, и странная улыбка, полная какого-то загадочнаго безсмыслія, какой-то чреватой таинственными намѣреніями глупости. Точно эти придурковатые сѣрые парии, при всей своей тупости,—себѣ на умѣ и, втихомолку, про себя, знаютъ кое-что такое, что и не грезилося взирающимъ на нихъ людямъ. Глядя на этихъ божественныхъ оболтусовъ, я невольно вспомнилъ пренетѣное стихотвореніе г. Соллогуба, рекомендующее:

Пусть смѣются дѣти,
Боги и глупцы...

— потому что въ улыбающихся полукамяхъ, полустукапахъ архаическихъ Аполлоновъ есть что-то именно и дѣтское, и дурацкое, и сверхчеловѣческое, мистическое. Словно распутные и глумливые юродивые какіе-то. Выраженіе это играетъ еще и на лицахъ акропольскихъ жриць, но тамъ оно — уже умирающее, а здѣсь господствующее и торжествующее. Аполлоны—начало, а акропольскія жрицы—конецъ дофидіевской скульптуры. Архаическій Аполлонъ—идолъ, близкій къ обращенію, но еще далеко не обращенный въ статую; а акропольскія жрицы —уже статуи, готовые обратиться въ божества; мраморныя куколки, изъ которыхъ не нынче-завтра вырвется, какъ бабочка, высокая религіозная идея.

IV.

Виповникомъ народненія скульптурныхъ идеаловъ, творцомъ божества въ мраморъ, слоновой кости и драгоценномъ металлѣ явился Фидій. Извѣстно, что отъ работъ Фидія потомству подлиннаго не досталось ничего или почти ничего, и намъ приходится принимать почти-что на вѣру и на слово древнихъ репутацію этого великаго мастера, опредѣлившаго собою одинъ изъ главнѣйшихъ рубежей въ исторіи духовной культуры человѣчества, много вѣковъ потомъ подчиненнаго религіозному, философскому и художественному вліянію Эллады. Лишь въ 1859 году статуэтка въ четверть человѣческаго роста, найденная на Пниксѣ, дала истинное понятіе о фидіевой Аѳинѣ Пароенона. Статуэтка эта вмѣстѣ съ другою, открытою въ 1880 году въ Афинахъ, на площади Варвакіонъ, хранится, какъ я уже упомянулъ, въ Центральномъ музеѣ, подъ стекломъ, окруженная вниманіемъ, доходящимъ до культа. Фидіево изображеніе богини Пароенона слишкомъ общеизвѣстно, чтобы надо было дѣлать его описаніе, — тѣмъ болѣе, что идею его превосходно уяснилъ Буслаевъ въ приведенной уже мною выпискѣ. Скажу лишь, что необычайная жизненность статуэтокъ, ихъ благородная простота, въ соединеніи съ тонкимъ, но чуждымъ всякой манерности изяществомъ внимательной работы, быстро захватываютъ вниманіе зрителя и заставляютъ его подолгу стоять предъ витринами, гдѣ хранятся эти маленькія чудеса. Человѣку, съ сильнымъ и привычнымъ къ зрѣлищу памятниковъ древняго искусства воображеніемъ, ничего не стоитъ представить себѣ эти маленькія статуэтки въ огромныхъ размѣрахъ, возсозданныхъ Фидіемъ изъ слоновой кости и «дѣвственнаго золота». Ихъ драгоценный мраморъ, загорѣвшій подъ аттическимъ небомъ до прозрачной, горячей, самосвѣтящейся жел-

тизны янтаря—представляется живымъ тѣломъ, заключающимъ въ себѣ сознательно-высокую, божественную душу, тѣломъ, полнымъ величественнаго, свободнаго движенія, одинаково привычнымъ къ землѣ и къ воздушному полету, тѣломъ, которое не говоритъ только потому, что не хочетъ говорить. Вы начинаете понимать, почему у древнихъ такъ широко развилась идея оракуловъ, краснорѣчивыхъ кумировъ-чудотворцевъ. Аѳина-Паллада Фидія невольно вызываетъ васъ на эту идею. Она—живая, она должна говорить. Это «не слѣпокъ, не бездушный трупъ» богини, но сама богиня, которая прежде облекала землю голубымъ небеснымъ сводомъ, а потомъ, воплощенная въ золотѣ и слоновой кости, сошла въ Аттику, подарила ей маслину, стала ея совѣтницей въ мирѣ, щитомъ на войнѣ, путеводительницей странниковъ и мореходовъ, покровительницей труда, домашнего очага и семейнаго согласія; олицетвореніемъ всей практической жизни великаго эллинскаго племени. Разнообразіе культа Аѳины-Паллады такъ пестро, что его смѣло можно сравнивать съ разнообразіемъ католическаго культа Мадонны въ южныхъ земляхъ—въ Испаніи, въ Сициліи, въ Корсикѣ, въ Провансѣ. Между величавой вооруженной Палладой Фидія и кроткою хрупкою дѣвушкою въ племѣ, которая, на одномъ барельефѣ, проходитъ, опираясь на копье, мимо придорожнаго столба, какъ объясняютъ одни, и извлекаетъ ударомъ копья маслину, какъ объясняютъ другіе—огромная нравственная разница. Ничуть не меньше, чѣмъ между грозною Notre Dame de la Haïne, которой молятся мужики въ Провансѣ передъ тѣмъ, какъ идутъ на вендетту, и трогательнымъ образомъ Матери всѣхъ скорбящихъ.

Я остерегусь вдаваться въ описаніе слишкомъ популярныхъ и много разъ описанныхъ памятниковъ аѳинскихъ музеевъ, вродѣ Гермеса Андросскаго—лучшей статуи Национальнаго музея, вышедшей изъ школы Праксителя, чьему Гермесу Олимпійскому она представляетъ прямое и

близкое подражаніе. Въ македонскую и римскую эпохи эту статую повторяли въ безчисленныхъ копіяхъ и видоизмѣненіяхъ; образцы ихъ, выкопанные въ Эгіонѣ и Аталантѣ, также имѣются въ аѳинской коллекціи мраморовъ. Коснусь лишь мимоходомъ Венеры, типа *Venus Genetrix*, изъ святилища Эскулапа въ Эпидаврѣ. Это, конечно, самая царственная, самая цѣломудренная и самая одѣтая изъ всѣхъ Венеръ въ свѣтѣ. Кто привыкъ сопоставлять съ именемъ Венеры сладострастные образы нагихъ статуй Флоренціи, Капитолія, неаполитанскаго Museo Nazionale, — того аѳинская Венера изумитъ: почти то же самое лицо, но до неузнаваемости измѣненное серьезною нѣжностью выраженія. Эта Венера — царица души, а не тѣла. Венера — любящая жена, неразлучная въ горѣ и радости, а не Венера — любовница. Очаровательныя женскія головки эпохи Праксителя, а можетъ быть, и его работы, о чемъ даютъ соблазнъ предполагать волнистая мягкость лицій и желтоватый тонъ мрамора, предшествуютъ этой статуѣ. Это — обломки Венеръ и Гигій изъ аѳинскаго храма Эскулапа. Трудно разобрать, которая Венера, которая Гигія. Типъ головокъ отражается въ головѣ значительно позднѣйшей Венеры Эпидаврской, о которой я только что говорилъ, но въ нихъ больше женственной нервности, ихъ изящный наклонъ въ груди кокетливъ, и въ то же время не лишены какого-то сентиментализма, и грустнаго, и влекущаго. Мы видимъ здѣсь предшественницъ Венеры Милосской, Медицейской, ватиканской Анадіомены, неаполитанской Каллипиги; съ Милосскою — сходство всего замѣтнѣе.

Вообще аѳинскіе мраморы зрителю, хорошо ознакомленному съ наиболѣе прославленными памятниками классической древности, часто представляются какъ бы этюдами, изъ которыхъ случайно, а иногда, можетъ-быть, и по преднамѣренному художественному замыслу и изученію, вышли общеизвѣстные впослѣдствіи скульптурные типы Греціи и Рима. Трудно, напримѣръ, думать, чтобы голова

Эскулапа, найденнаго въ Пиреѣ и отнесеннаго по несомнѣннымъ признакамъ къ греческой эпохѣ, не была извѣстна авторамъ группы Лаокоона: эта безглазая голова разительно схожа съ головой Лаокоона, именно, какъ первоначальный черновой этюдъ съ законченнымъ художественнымъ произведеніемъ. Уснувшая на скалѣ Вакханка—произведеніе римской эпохи—грубоватое подобіе знаменитыхъ гермафродитовъ Флоренціи, Рима, Неаполя и петербургскаго Эрмитажа. Однако, несмотря на грубоватость, Вакханка лучше своихъ прототиповъ или, наоборотъ, подражаній: не знаю, она имъ предшествовала, или они ей. Лучше потому именно, что скульптору не было надобности создать «лживый, но прекрасный» образъ, соединяющій съ мужскою ловкостью и мускулатурой женское сложеніе, женскую грацію, женскія формы, женское выраженіе лица, женски-кокетливныя позы. Художнику предстояла болѣе легкая задача—изобразить лишь сильную и полную жизни женщину, брошенную «божественнымъ» опьяненіемъ въ честь Вакха на скалу какъ разъ въ той позѣ, въ какой спятъ гермафродиты классической скульптуры.

Странную находку представляетъ собою одинъ мраморный бюстъ уже римской эпохи. Каталогъ опредѣляетъ его, какъ портретъ невѣдомаго побѣдителя на олимпійскихъ играхъ. Его семитическія черты такъ выдѣляются своимъ несоотвѣтствіемъ съ окружающими его античными типами, что пройти мимо, не замѣтивъ его, нельзя. А замѣтивъ и взглянувъ, вы долго стоите въ изумленіи: предъ вами Христосъ. Черта въ черту, линія въ линію, съ тѣмъ же самымъ страдающимъ выраженіемъ кроткихъ очей на не страдающемъ лицѣ, съ тою же самою загадкою возвышенной тайны на челѣ, съ тѣмъ же самымъ любвеобильнымъ складомъ устъ, съ тѣми же самыми волнами волосъ, падающихъ на плечи, и съ такою же короткою курчавою бородкою, какъ изображали Христа художники Возрожденія. У

него даже посадка головы, даже подъемъ глазъ, напоминаютъ Христа Корреджіо и Гвидо Рени. Даже увѣчье бюста—у него отколото лѣвое крыло носа, отъ переносья до самыхъ ноздрей,—не мѣшаетъ этому подобію, которому суждено остаться непостижимою историческою загадкой. Профессоръ А—ловъ, специалистъ по искусству первыхъ вѣковъ христіанства, написавшій цѣлое научное изслѣдованіе о первобытныхъ изображеніяхъ Христа,—былъ совсѣмъ озадаченъ этою головою. Во-первыхъ, она завѣдомо дохристіанской эпохи. Во-вторыхъ, если допустить даже натяжку, что она создана *post Christum natum*, въ ней все-таки нѣтъ ничего общаго ни съ Христомъ фресокъ въ катакомбахъ Рима, ни съ Христомъ равенскихъ мозаикъ. Христоподобный незнакомецъ аѳинскаго музея прямо смотритъ изъ языческой древности въ XVI вѣкъ... Кто же это? Аполлоній Тианскій, что ли? Язычество пыталось сблизить его черты съ чертами Спасителя, подобно тому, какъ пыталось біографію этого чудотворца - пифагорейца обратить въ противовѣсъ Евангелію. Вѣроятно же всего, что сходство совершенно случайно. Сходства, вѣдь, бываютъ очень странныя. Въ томъ же самомъ національномъ аѳинскомъ музеѣ, одинъ изъ тридцати трехъ косметовъ (начальниковъ гимназій) — живое повтореніе Ив. Серг. Тургенева, включительно до жирныхъ морщинъ на лбу и пряди волосъ, падающей съ виска къ глазу. А посмотрите въ Ватиканѣ знаменитаго мраморнаго Тритона съ весломъ. Развѣ это не точка въ точку Федоръ Ивановичъ Шаляпинъ, когда онъ размететъ свои вихры для торжественнаго концерта? Совсѣмъ какъ въ фантастической повѣсти Райдера Гаггарда «*She*», гдѣ двѣ тысячи лѣтъ тому назадъ умерщвленный грекъ возрождается, волосъ въ волосъ, голосъ въ голосъ, въ молодомъ красавцѣ-англичанинѣ, и послѣдній обязанъ, на основаніи этого родственнаго сходства, испытать самыя разнообразныя приключенія въ таинственной африканской странѣ, которою править

бессмертная волшебница и красавица «She», когда-то влюбленная въ предка юноши.

Сходство образовъ древняго искусства съ образами искусства эпохи Возрожденія особенно часто наблюдается, когда бродишь между саркофагами, занимающими лучшія залы центрального музея. Все это — результаты новѣйшихъ раскопокъ, а между тѣмъ можно подуматъ, что Тиціанъ и Веронезе прекрасно знали красивыхъ и сильныхъ людей, изъ чьего быта семейныя сцены передаютъ намъ надгробныя барельефы... Гордый и спокойный овалъ лица и прямой взглядъ величественной Цереры Тиціана въ генуэзскомъ Palazzo Durazzo, чувственно-наивное личико его же неаполитанской Данаи, не то слишкомъ наслаждающейся, не то немножко страдающей, были въ древнихъ Аѳинахъ заурядными: изъ десяти покойницъ на нихъ непременно походятъ двѣ-три. Семейныя сцены—а чаще всего прощанье умирающихъ съ семьею—преобладающій сюжетъ барельефовъ. Благодаря этому, блуждая по заламъ саркофаговъ, вы какъ бы перелистываете альбомъ аѳинскихъ модъ за нѣсколько сотъ лѣтъ. Это цѣлая исторія одежды, оружія, причесокъ, даже манеръ. Постановка фигуръ позднѣйшей эпохи типически разнится отъ постановки эпохъ болѣе раннихъ. Это доказываетъ, что и въ жизни оригиналы, позирующихъ на барельефахъ, лицъ уже измѣнили пластикѣ старины для пластики новой: фатъ Фидиппидъ побѣдилъ старомоднаго Стрепсиада; древне-эллинскіе приемы устарѣли и вышли изъ употребленія—подобно тому, какъ хорошій тонъ XVIII вѣка былъ бы весьма смѣшнымъ тономъ въ современномъ обществѣ. За исключеніемъ фамиліальныхъ сценоекъ, надгробныя стелы весьма интересны для любителей фантастическихъ причудъ во вкусѣ Жака Калло. Крылатые львы пожираютъ быковъ, ревушихъ, съ глазами и ноздрями, расширенными ужасомъ предъ сверхъестественнымъ врагомъ. Не то сирены, не то гарпій—женщины съ птичьими ногами и хвостомъ, но чешуйчатыми бедрами—съ

загадочною злобою переглядываются между собою через головы статуй. Юный геній мчится во весь опоръ верхомъ на полу-конѣ, полу-пѣтухѣ, гиппалектріонѣ Аристофана. Медузы, грифоны, стоголовый Тифонъ, сторукий Бріарей, эхидны, химеры, сфинксы, эмпузы и прочая нечисть классической Вальпургіевой ночи извиваются и корчатся по карнизамъ саркофаговъ. Изъ мифологическихъ сюжетовъ и здѣсь, какъ повсюду, наиболѣе излюблены аллегорическіе: похищеніе Прозерпины, травля калидонскаго вепря и смерть Мелеагра и т. п. Большимъ почетомъ ученыхъ наблюдателей пользуется барельефъ изъ Элевзиса, изображающій двухъ молодыхъ женщинъ и мальчика между ними: это—Деметра, Персефона и Триптолемъ, три фигуры Элевзинскихъ таинствъ, соединенныхъ здѣсь въ загадочномъ назначеніи. Но интересъ барельефа не въ этой загадкѣ (не рѣшено даже, какая изъ женскихъ фигуръ Деметра, какая Персефона), а въ древности барельефа и, несмотря на древность, въ его художественномъ совершенствѣ. Это—работа неизвѣстныхъ художниковъ V вѣка, весьма удачно называемыхъ въ каталогѣ г. Кавадіаса «праерафаэлитами классическаго искусства»...

Въ самомъ дѣлѣ, въ строгой, добросовѣстной работѣ этой, въ ея идеализированныхъ, но не удаленныхъ отъ природы, фигурахъ уже предчувствуются, уже сквозять, готовые осуществиться, совершенства скульптурнаго будущаго: и мягко изогнутыя волнистыя линіи фигуръ Праксителя, и свѣтлая сила Лизиппа, и внимательная наблюдательность Агазіаса Эфесскаго, удивительнаго скульптора, который въ своихъ борцахъ и атлетахъ читалъ современникамъ блестящія лекціи анатоміи. Одна изъ такихъ окаменѣвшихъ лекцій—сильно изломанная фигура воина, отражающаго нападеніе, украшаетъ національный музей. Она напоминаетъ знаменитаго гладіатора Боргезе въ Луврѣ. Мускулы ноги отставленной съ энергическимъ вывертомъ назадъ и упертой ступнею въ землю—поражаютъ своею си-

лою, объясненною художникомъ съ совершенно научною подробностью. Это — единовременно и совершеннѣйшій анатомическій этюдъ, и высокое художественное произведение. Я не видалъ мраморныхъ работъ Паоло Трубецкого, но — по его гипсамъ и бронзѣ — думаю, что, изъ скульпторовъ-современниковъ, вотъ онъ бы могъ такъ работать.

Одна англійская дама похвалила доктора Самуила Джонсона за то, что онъ не включилъ въ свой знаменитый словарь ни одного неприличнаго слова.

— А вы, стало быть, ихъ подыскивали? — рѣзко отвѣтилъ прославленный грубіанъ.

Я боюсь, что подвергнусь одинаковому упреку съ этой горемычной лэди, отмѣтивъ въ аѳинскихъ мраморахъ полное отсутствіе соблазнительныхъ сюжетовъ, какимъ отличаются художественныя коллекціи напримѣръ, неаполитанскаго Museo Nazionale — одинаково въ мраморахъ и бронзѣ Фарнезе, и въ помпейскихъ фрескахъ. Это тѣмъ страннѣе, что греки далеко не были ненавистниками нескромнаго — напротивъ. Ихъ остроуміе начинается Аристофаномъ и кончается Лукіаномъ Самосатскимъ: писатель отнюдь не для дѣвицъ школьнаго возраста! Какъ бы то ни было, — странный, но несомнѣнный фактъ: въ Атикѣ, этой родинѣ статуи, «одѣтой въ мраморъ наготы», и въ то же время родины людей, для которыхъ воздухъ составлялъ, дѣйствительно, чуть не единственное одѣяніе («грекамъ, говоритъ Плисій, свойственно ничего не прикрывать»); фигуры скульптурныя раздѣты менѣе, чѣмъ въ какой-либо другой странѣ Европы. Правда, одежды ихъ весьма легки, а даже часто совершенно прозрачны; правда, благодаря ихъ первобытному покрою изъ цѣлыхъ кусковъ еле схваченной складками матеріи, тѣло сквозить въ многочисленныя щели и прорѣхи. Тѣмъ не менѣе, *nudités* въ томъ заигрывающемъ смыслѣ, какъ понимаетъ ихъ современное искусство, унаслѣдовавъ это представленіе не отъ грековъ, но отъ римлянъ эпохи цезаризма и угождавшихъ имъ «греченковъ» (*graeculi*), надо

полагать, не слишкомъ правились афинскому народу. Грекъ любилъ грѣшить словомъ, не оставляющимъ слѣда, но остерегался грѣшить зрѣніемъ, проникающимъ въ священную для эллина сферу искусства. Иначе, какъ ни жестоко ограбленъ Парѳенонъ лордомъ Эльджиномъ и другими цивилизованными варварами,—все-таки хоть что-нибудь да осталось бы въ такомъ родѣ. Нагота греческихъ статуй пріобрѣтаетъ чувственный оттѣнокъ лишь въ позднѣйшія эпохи. Книдская Венера Праксителя, дошедшая до нашего времени лишь въ изображеніяхъ на монетахъ, да въ описаніяхъ Лукіана и Плинія, была послѣднимъ словомъ простодушной греческой эстетики, которая здраво и трезво глядѣла прямо въ глаза и любви, и красотѣ, не конфузясь за ихъ грѣховность и не имѣя надобности прикрывать послѣднюю лицемѣріемъ. То была эстетика естественныхъ идеаловъ. Эстетика первороднаго грѣха, еще не понявшаго своей грѣховности и простодушно наслаждавшагося собою, не думая о близкой необходимости прикрываться поясомъ изъ листьевъ. Въ Книдской Афродитѣ она высказалась до конца и съ тѣхъ поръ пошла на убыль. Въ раздѣтой Книдской Венерѣ было такъ же мало кокетства, стремленія къ соблазну, заигрыванью красотой, какъ и въ одѣтой Венерѣ Центрального музея, описанной мною выше. Это была прекраснѣйшая душа, которой выразителемъ являлось прекраснѣйшее тѣло. Но время пошло впередъ,—и красота тѣла стала преувеличиваться въ ущербъ равновѣсію съ красотой духа. Явилась Афродита Клеомена (Медицейская)—ближайшее изъ всѣхъ подражаніе Афродитѣ Книдской, но уже съ другимъ выраженіемъ и лица, и позы. «Книдская Афродита, возвышенная въ олимпійскомъ величіи, и не думаетъ о красотѣ своей и, будучи вся обнажена, забываетъ прикрыть свои прелести, а только, подчиняясь простодушной граціи, невольно опускаетъ руку. Афродита Клеоменова уже сама знаетъ всю цѣну своей роскошной натуры, и, застѣнчиво заслоняясь, чѣмъ болѣе

думаетъ скрыться, тѣмъ сильнѣе тревожить воображеніе приближающагося. Тотъ уже лукавить. кто утаиваетъ. Итальянскіе художники давно разгадали это лукавое, грѣшное выраженіе. Masazzo на фрескѣ *María del Carmine*, во Флоренціи, а за нимъ Рафаэль, въ ватиканскихъ ложахъ, такую же позу дали первой женѣ, когда она, соблазнительная въ своей роскошной красотѣ, уже согрѣшила». Этотъ переливъ отъ чистоты къ чувственности объясняется въ двухъ одинаковыхъ Венерахъ тѣмъ, что творецъ оригинала, Пракситель, еще вѣрилъ, что онъ ваяетъ божество, снисшедшее до вида женщины, а творецъ имитаціи, Клеоменъ, стремился уже изваять женщину, возвышенную до обожествленія. Пракситель былъ представителемъ эпохи, когда міеологія еще сводила небо на землю, а міеологія Клеомена стремится уже возвести землю на небо. Венера Книдская, такимъ образомъ,—красота, оцѣломудренная религіознымъ культомъ, тогда какъ красота Венеры Медицейской уже отгоняетъ религіозную идею на дальній планъ, возбуждая поклоненіе, хотя еще возвышеннаго, но все-таки совершенно земного характера. Венера Праксителя точно вырвалась изъ того таинственнаго царства идей, которое видѣлъ предъ собою духовными очами Платонъ, которое пытался увидѣть Гете, когда создавалъ во второй части «Фауста» загадку своихъ «матерей» и вызывалъ изъ ихъ таинственнаго общества величавый призракъ Елены Спартанской... Венера Медицейская—существо высокоодаренное и одухотворенное, она соединяетъ въ себѣ все, чѣмъ можетъ быть прекрасенъ человѣкъ, но сверхъестественнаго, надземнаго въ ней ничего нѣтъ: «не называй ее небесной и у земли не отнимай».

До какой степени могуче религіозное оцѣломудріе древней греческой скульптуры статуй-кумировъ, превосходнымъ нагляднымъ примѣромъ служить барельефъ, посвященный одному изъ самыхъ щекотливыхъ на взглядъ нашей художественной этики сюжетовъ. Это архаическая Леда.

Уже маловѣрное искусство римской эпохи бралось за исторію Леды лишь съ цѣлью создать красивый этюдъ женскаго тѣла, а еще чаще — просто порнографическую группу. Такой характеръ имѣютъ помпейскія фрески въ Museo Nazionale, изящная античная статуэтка венеціанскаго археологическаго музея въ Palazzo Ducale, даже огромная Леда первой галлерей скульптуръ въ флорентійскомъ Palazzo degli Uffizzi. Въ эпоху Возрожденія художники съ любовью возвратились къ Ледѣ. Ипполитъ Тэнъ, въ своихъ чтеніяхъ объ искусствѣ, сдѣлалъ мастерское сопоставленіе трехъ знаменитыхъ Ледъ: Леонарда да Винчи, Микель-Анджело и Корреджіо. — три разныхъ художника, три разныхъ Леды, три разныхъ идеи. Ни одна изъ этихъ Ледъ не имѣетъ внѣшняго сходства съ древнимъ барельефомъ, но Леда Леонардо да Винчи, изъ всѣхъ трехъ художниковъ наиболѣе близкаго къ античному міросозерцанію, пожалуй, не лишена чего-то общаго съ этимъ барельефомъ въ строеніи, которое такъ хорошо угадалъ и выразилъ Тэнъ. «Тайна первобытныхъ временъ, — говоритъ онъ, — глубокое родство между человѣкомъ и животнымъ, смутное языческо-философское чутье единой и всемірной жизни, нигдѣ не выразились съ такою мастерскою изысканностью и не обнаружили такъ вѣщей догадки столь пропитательнаго и вдумчиваго вмѣстѣ генія». Къ Ледѣ барельефа эти строки относятся въ еще большей степени, чѣмъ къ Ледѣ Леонарда да Винчи. Оно и естественно; вѣдь до Леды, какъ личности, послѣднему не было никакого дѣла, и его Леда была лишь «догадкою пропитательнаго и вдумчиваго генія» о символѣ міаа. Творцу же барельефа не о чемъ было «догадываться»: онъ вѣрилъ въ самый міаъ и воспроизвелъ его не какъ символъ, но какъ не подлежащій сомнѣнію фактъ, тайна котораго покоится въ лонѣ Зевеса. Неестественное для людей естественно для боговъ. И художникъ передаетъ съ патріархальною наивною простотою супружески-любовную сцену изъ закулисной жизни Олимпа. Леда

барельефа простодушна, какъ ея художникъ, больше того: простовата; она холодна; ея профиль не озаренъ сочувственной улыбкой; ея нѣсколько согбенная фигура выражаетъ равнодушную покорность и только. Уже барельефъ Леды съ лебедемъ можетъ дать хорошее понятіе о томъ, какими воздушными выходили въ тяжеломъ мраморѣ легкіе въ дѣйствительности предметы: перья, пухъ лебедя, полупрозрачное покрывало, скользящее съ колѣнъ Леды. Но,— что касается воздушныхъ драпировокъ,—еще болѣе замѣчателенъ другой барельефъ: «Побѣда» — къ сожалѣнію, обезглавленная фанатиками-турками; такъ какъ Корантъ воспрещаетъ изображенія лица человѣческаго, то мусульманскія орды, гдѣ ни проникалъ ихъ опустошительный путь, всегда и всюду оставляли по себѣ самые жалкіе слѣды на памятникахъ искусства: разбитыя статуи, обрубленныя головы на барельефахъ, замазанныя или соскобленныя лица на фрескахъ. Побѣда эта—какой-то живой водопадъ складокъ матеріи, настолько легкой и прозрачной, что, кажется, она затѣмъ лишь и надѣта, чтобы ярче отгѣнить линіи и рельефы прѣкраснаго стройнаго тѣла. Наша туристская компанія прозвала эту прозрачную даму—танцовщицей *serpentine*; въ самомъ дѣлѣ—подбитое вѣтеркомъ одѣяніе сходственно съ развивающимися балахонами нѣкогда знаменитой Иды Фуллеръ, спитыми только что не изъ папиросной бумаги. Эта, если только позволено будетъ такъ выразиться, «сквозность» мрамора въ афинскомъ барельефѣ едва ли еще не болѣе совершенна, чѣмъ въ знаменитой флорентійской группѣ Ніобы: вспомните дѣвочку, которая, въ ужасѣ, бросается отъ стрѣлы Аполлона подъ защиту матери, и рубашка ея, смоченная потомъ усталости и страха, прилипла къ дѣтскимъ плечикамъ...

V.

Прошу читателя простить, что я долго задержалъ его вниманіе на старыхъ Аѣинахъ и ихъ искусствѣ. Но старыя Аѣины куда интереснѣе новыхъ, и ихъ мраморное населеніе много привлекательнѣй населенія пзъ мяса и костей. За рѣдкими исключеніями, разумѣется. Съ народомъ освоиться я, конечно, не могъ, не зная ново-греческаго языка. Разные самоучители, проглатываемые на скорую руку, «Русскій въ Греціи», этимологія и справочникъ Бедекера — плохая помощь. Не разъ принимался я проклинать свое гимназическое образованіе, съ его архаическимъ греческимъ языкомъ по Эразму, такъ какъ часто убѣждался, что люди, изучавшіе греческій языкъ съ произношеніемъ по Рейхлину, принятымъ въ семинаріяхъ, довольно свободно понимаютъ новогреческую рѣчь. Слѣдовательно, недѣли черезъ двѣ практики могутъ и свободно говорить по-гречески, — подобно тому, какъ человѣкъ, хорошо знающій церковно-славянскій языкъ, свободно выучится въ двѣ недѣли говорить по-болгарски. Въ новогреческомъ языкѣ для русскаго семинарскаго выучки представляютъ затрудненіе только согласныя *delta* и *theta*, законы произношенія которыхъ рѣшительно неуловимы для иностранца. Говорятъ, будто ихъ надо произносить, какъ англійское *th*. Но почему же, однако, въ такомъ случаѣ не могутъ справиться съ ними англичане? Я много разъ убѣждался, что почтенныхъ британцевъ, пытающихся перейти на эллинскую рѣчь, греки понимаютъ такъ же худо, какъ и всѣхъ другихъ европейцевъ, если еще не хуже. А между тѣмъ, безъ новогреческаго языка въ Греціи туристу очень худо. По-французски говорятъ здѣсь мало, по-нѣмецки совсѣмъ не говорятъ, англійскій языкъ — жаргонъ отелей. Съ употребительнѣйшимъ изъ иностранныхъ языковъ — съ итальянскимъ — вы разстаетесь

вмѣстѣ съ голубою лентою Коринѣскаго залива. Въ Патрасѣ и на Ионическихъ островахъ итальянскій языкъ столько же свой, какъ греческій. Но за Коринѣомъ,—ни звука итальянскаго. Даже кондуктора желѣзнодорожные безгласны. Одна надежда—на гидовъ да такъ-называемыхъ курьеровъ. Промыселъ послѣднихъ—совершенно особый отъ обычнаго проводничества. Кромѣ Греціи, врядъ ли онъ сохранился въ такомъ видѣ гдѣ-либо еще въ Европѣ. Путешествуя съ курьеромъ, вы платите ему 20—25 франковъ золотомъ въ сутки,—и затѣмъ не знаете уже ровно никакихъ заботъ и расходовъ въ своемъ странствіи. По контракту, — если угодно письменному,—куррьеръ обязуется помѣщать васъ, кормить, поить, возить на свой счетъ: онъ долженъ даже имѣть при себѣ складную кровать и спальныя принадлежности—на случай, если бы вамъ пришлось заночевать подъ открытымъ небомъ. Конечно, теоретическія удобства этихъ контрактовъ требуютъ значительной поправки на практикѣ—и, прежде всего, въ расходной смѣтѣ. Вмѣсто чаемыхъ 20—25 франковъ вы все-таки истратите 35—40. Но тѣмъ не менѣе, путешествіе съ курьеромъ и экономнѣе, чѣмъ, если вы ѣдете одни, и больше знакомитъ васъ съ страной, черезъ которую ѣдете.

Итакъ,—народъ мнѣ пришлось наблюдать, какъ живую картину, не болѣе. Что касается аристократіи и *la haute comtesse* я въ оба раза попадалъ въ Аѣины въ глухую пору лѣтняго затишья: знать разъѣзжалась по островамъ и горнымъ дачамъ. Въ послѣдній пріѣздъ нѣсколько познакомилъ меня съ бытомъ аѣинскаго общества русскій дипломатическій представитель—уважаемый А. А. Смирновъ: онъ—самъ литераторъ, талантливый поэтъ фетовско-майковской школы, авторъ «Склирены», интересной исторической повѣсти изъ поздней византійской эпохи. Въ 1894 году я попалъ подъ любезную опеку покойнаго министра-президента Трикуписа, бывъ принятъ въ домъ его съ такою сердечною теплотой, что мнѣ стало почти совѣстно за свою

антипатію къ городу, гдѣ живутъ такіе милые люди. Трикупись былъ не женатъ; домою его заправляла сестра — пожилая дѣвица, лѣтъ сорока пяти, весьма популярная въ Аѳинахъ. Когда аѳинянинъ изъ порядочнаго общества называлъ *m-lle Sophie*, всякій уже зналъ, о какой именно *m-lle Sophie* идетъ рѣчь: къ другимъ Софіямъ надо прибавлять фамилію, а Софія, понятная и безъ фамиліи, была въ то время въ Аѳинахъ одна *m-lle Трикупись*. *M-lle Sophie*, какъ и братъ ея, были англійскаго воспитанія; и домъ былъ поставленъ ею на англійскій ладъ. Да и сама она представлялась мнѣ оригинальною фигуркою изъ англійскаго романа. У Вильки Колинза, у Брэддонъ и Генри Удъ встрѣчаются такіе кроткіе старыя дѣвушки, которыя пожертвовали своимъ личнымъ счастіемъ для счастья чужого и, въ жертвѣ этой, безропотно состарили свою молодость и красоту. *M-lle Sophie* не вышла замужъ исключительно ради того, чтобы всегда быть около своего брата и помогать ему въ его патріотической дѣятельности, а братъ не женился потому, что считалъ непосильнымъ соединить въ себѣ одновременно и страстнаго политическаго борца, и хорошаго семьянина; и — въ выборѣ между семьею и политикой — отдать предпочтеніе послѣдней. Это былъ человѣкъ умный, вдумчивый, симпатичный, — съ сильно развитою логикою мысли и послѣдовательностью въ чувствѣ. Мнѣ онъ очень нравился, какъ собесѣдникъ и какъ «историческая фигура». Даже враги Трикуписа уважали его честный патріотизмъ, которому онъ посвятилъ всю свою дѣятельность и отдать значительную долю состоянія. Для отдыха послѣ политическихъ бурь *m-lle Sophie* устроила брату домъ, какъ уголокъ рая. Въ ужасные іюльскіе дни Аѳинъ, когда вдобавокъ къ сорокаградусной жарѣ по улицамъ носится сирокко, засыпая городъ раскаленною пылью, домъ Трикуписа являлся для меня оазисомъ въ пустынѣ. Со своимъ огромнымъ ростомъ я не зналъ, гдѣ стать, гдѣ сѣсть въ этихъ маленькихъ комнатахъ, обращенныхъ въ садъ. Мебель тонетъ въ зелени и

цвѣтахъ; изъ-за гіацинтовъ, розъ и левкоевъ выглядываютъ статуэтки, портреты и миниатюрная фигурка женщины, съ старомодными буклями вдоль желтаго лица и въ черномъ, старомодномъ шелковомъ платьѣ, съ длиннѣйшимъ треномъ. Старомодная дама—это m-lle Sophie; она усаживаетъ васъ на какія-то потайныя, запутанныя зеленю кресла, при чемъ розы бьютъ васъ по лицу, пальма щекочетъ затылокъ, лиліи тянутся на рукава,—и вы не замѣчаете, какъ бѣжитъ время, слушая непрерывный потокъ рѣчей вашей собесѣдницы, остроумныхъ, живыхъ, полныхъ глубокаго знанія дѣла, на прекраснѣйшемъ французскомъ языкѣ, освѣщенномъ вспышками эффектныхъ mots... M-lle Sophie увлекается своею рѣчью, ея черные глазки вспыхиваютъ огонькомъ, она молодѣетъ на два десятка лѣтъ и въ оживленіи своемъ становится почти прекрасною. Политическое вліяніе этой домашней феи, вдохновительницы замѣчательнѣйшаго изъ государственныхъ людей Греціи, было огромно. Каждый шагъ ея брата былъ обусловленъ предварительнымъ совѣщаніемъ съ m-lle Sophie, какъ съ новою домашнею нимфой Эгеріей и, притомъ, самымъ добросовѣстнымъ и наиболѣе освѣдомленнымъ агентомъ.

Благодаря любезности именно Трикуписа и его сестры, мнѣ впервые удалось испытать не совсѣмъ обыкновенное наслажденіе — побродить часъ-другой между развалинъ Акрополя въ лунную почъ. Въ дневное время Акрополь открытъ для всѣхъ, но вечеромъ его запираютъ, и, чтобы войти, требуется специальное разрѣшеніе. Мнѣ сопутствовали капитанъ Г., о которомъ я говорилъ уже, и одинъ профессоръ-археологъ изъ Юрьева, любезно взявшій на себя скучную обязанность помочь намъ возстановить въ своемъ воображеніи Парѣенонъ и Эрехтейонъ такими, какъ были они, пока на Акрополѣ не хозяйничали ни турки, ни варваръ, худшій, чѣмъ всѣ турки, лордъ Эльджинъ. Великолѣпна сатира, которою высѣкъ этого разрушителя Байронъ, но—когда вы видите слѣды его безобразій—сатира

вамъ кажется слабою: еще бы его, разбойника! вмѣсто прутьевъ—скорпіонами! *Quod non fecerunt barbari, fecerunt Barberini*, но Эльджинъ перещеголялъ и варваровъ, и Барберини. Этотъ убійца Акрополя—виновникъ того, что аѳинскимъ Кремлемъ въ настоящее время можно искренно любоваться лишь по ночамъ, въ часы когда великіе призраки встаютъ изъ могилъ, и самъ онъ весь оживаетъ, какъ тѣнь великихъ архитектуръ прошлаго. Днемъ я поднимался къ Акрополю много разъ, но у меня не захватывало духъ отъ грандіозности зрѣлища, какъ было со мной, когда я впервые очутился между эпическихъ развалинъ римскаго форума и даже—на сравнительно ничтожномъ форумѣ Помпей. Изящество греческихъ построекъ было такъ тонко, такъ математически строго рассчитано на гармонію цѣлаго и деталей, что разрушеніе фризівъ и мраморной обшивки унесло съ собою и девять десятыхъ восторговъ, которые должны были возбуждать эти зданія. Чтобы возносить зрителя къ небу, ласковому, синему, они должны быть такими же яркими, какъ оно, должны сверкать лощеною пестротою мраморовъ. А теперь они сѣры и дряхлы; пепельный могильный оттѣнокъ жметъ къ землѣ ихъ фасады, дѣлаетъ приземистыми стройныя колонны портиковъ, выдаетъ первобытную толщину обрубковъ, изъ которыхъ вызваны къ вѣчному бытію громады Пропилеевъ. Аѳинскія развалины совершенно другого типа, чѣмъ развалины римскія: тамъ величіе грозное, могучее: Колизей, подземелья и фундаменты Палатина, памятники Аппіевой дороги. Это—не строенія, но первозданныя скалы: въ нихъ, точно въ зеркалѣ, отразилась вся львиная мощь и властность народа, заковавшего въ цѣпи половину земного шара. Въ Римѣ много тяжело-вѣснаго, жуткаго, навѣки впушительнаго: Римъ грозитъ и изъ-за могилы! Въ Аѳинахъ нѣтъ ничего подобнаго: развалины Акрополя легки, какъ игрушки, сравнительно съ Колизеемъ, Базиликой Константина, термами Каракаллы.

Ихъ прозрачная, какъ рѣшетка, стройка зоветъ чело-

вѣка къ возвышенной радости. къ восторженному подъему духа... а между тѣмъ—по причинамъ грабежей византийско-христіанскихъ, грабежей турецкихъ, грабежей Эльджиновыхъ. — ни радости, ни подъема духа не только не получается, но, наоборотъ, дѣлается даже жалковато. Одинъ разъ я видѣлъ въ Италіи, какъ старая актриса, когда-то знаменитость, играла Джульетту: ничто не могло быть печальнѣе ея увядшаго лица и мертвенныхъ глазъ, ея кокетство наводило ужасъ, ея голосъ скрипѣть и обрывался, было скучно и противно, всѣ зѣвали, но не было ни шпиканья, ни проницескихъ улыбокъ. Зрители чувствовали, что передъ ними—руина высокаго таланта и высокохудожественнаго исполненія: замыселъ не устарѣлъ, а формы одряхлѣли и стали въ такой карикатурный контрастъ съ замысломъ, что становилось и смѣшно, и больно. Или—видали вы, какъ семидесятилѣтній Сальвини пытается играть юношу Ингомара? Что можетъ быть печальнѣе этого древняго лица, покрытаго морщинами, которыхъ не въ сплахъ закрасить никакія бѣлила, — подъ бѣлокурьмъ паричкомъ, подъ розовымъ вѣнчкомъ? Вотъ таково и впечатлѣніе отъ Акрополя—днемъ.

Но, когда на Аѳины наплыветъ изъ-за Гимета синяя ночь, Акрополь воскресаетъ. Лишь три силы властны придать старому зданію очарованіе прозрачной повизны: даль, луна и электричество. Самая сильная изъ нихъ — луна. Зданіе Акрополя — труны, съ которыхъ содрана лишь кожа, а формы ихъ прекрасно сохранились. Ночью, когда всѣ конки сѣры вы не замѣчаете ободраннаго, мусорнаго вида памятниковъ. Колонны, между которыми зелеными полосами падаетъ на мраморныя плиты лунный свѣтъ, стройнѣютъ и вытягиваются. Таинственные красавицы-каріатиды Эрехтейона теряютъ свою угрюмость и выглядят такими легкими, будто онѣ ожили и расправляютъ члены, затекшіе отъ неподвижнаго дневнаго стоянія подъ тяжелымъ архитравомъ. Все бѣлѣетъ. Стоишь на ступеняхъ Парфенона — и мол-

чишь въ священномъ восторгѣ... На горизонтѣ золотымъ щитомъ блещетъ недалекое море, на которомъ Оемистоклъ и Эврибиадъ разбили флотъ царя Ксеркса. Направо—подъ обрывомъ—огоньки города, облагороженного луною. Днемъ, если смотрѣть на Аѣины съ Акрополя, какая это противная, пыльная, сѣрая куча плоскихъ кровель!... точно сгрудилось щитами безчисленное стадо колоссальныхъ черепахъ!... А ночью—прелесть. Тихо на Акрополѣ удивительно. Тишь пустыни, смиряющая, убаюкивающая, навѣвающая грезы. Эта тишь, въ заговорѣ съ луннымъ свѣтомъ и сверкающимъ щитомъ золотого моря, прямо гипнотизируютъ васъ... Такъ и хочется видѣть, какъ по широкимъ ступенямъ Пропилеевъ, труднымъ для шага современнаго человѣка, быстро летучею походкой горца, обращеннаго гимнастикой въ атлета, поднимается Периклъ, окруженный толпою друзей. Мы только-что расфантазировались было на эту соблазнительную тему, какъ вожатый-профессоръ осадилъ насъ.

— Позвольте васъ спросить, что бы они здѣсь дѣлали въ такую пору?

— Да вѣдь это же Акрополь...

— Ну, да, Акрополь. Священное мѣсто, переполненное храмами, которые тщательно и бережно охранялись, къ которымъ приближаться надо было съ благоговѣніемъ,—и шлаться между ними въ ночное время, ради прогулки, было для афинянина такъ же неестественно, какъ неестественно для нашего брата ломиться ночью въ Исаакіевскій соборъ...

Вообще, профессоръ оказался человѣкомъ, чреватымъ классическими разочарованіями. Капитанъ Г.—патріотъ своего отечества, готовый перервать горло всякому, кто скажетъ, что онъ не происходитъ по прямой линіи отъ Мильтіада—кипѣлъ негодованіемъ, когда профессоръ, вооружась россійскимъ скептицизмомъ пополамъ съ германскою невозмутимостью, принимался послѣдовательно опро-

вергать ходячія представленія о статуѣ Аѣины-Воительницы.

— Шеломъ ся, видите ли, былъ виденъ мореходамъ отъ мыса Суніонъ,—ворчалъ онъ.—Греческія басни! Еще Лукіанъ сказалъ: «если бы изгнать изъ Греціи всѣ сказки и легенды, то проводники умерли бы съ голода, такъ какъ чужеземцы не хотятъ слушать правды и даромъ». Не только шеломъ не было видно, но и конца копья,—развѣ что греческіе мореходы имѣли способность видѣть сквозь камень и известку...

— Почему это? почему? — свирѣпѣлъ капитанъ.

— Потому что между ихъ глазами и статуей приходились вонъ эти горы,—хладнокровно продолжалъ профессор,—а, надѣюсь, вы не предполагаете, чтобы можно было воздвигнуть статую-чудовище выше этихъ громадъ?

— Можно! — упорствовалъ капитанъ.

— Да помилуйте, если бы аѣиняне въ теченіе всей своей исторіи не тратили своихъ государственныхъ доходовъ ни на что другое кромѣ уплаты за матеріалы для такой статуи, такъ и то у нихъ не хватило бы денегъ... А ужъ работа—не въ счетъ! И притомъ они были народъ со вкусомъ: неужели они стали бы уродовать такимъ непропорціональнымъ чудовищемъ свой великолѣпный Акрополь? Довольно уже онъ изуродованъ пьедесталомъ Агриппы... Вы посмотрите только: какимъ честолубивымъ дуракомъ надо быть, чтобы построить эту неуклюжую громадину, поставить на ней самого себя въ видѣ такого же огромнаго золоченаго болвана и всѣмъ этимъ разстроить гармонію красивѣйшаго въ мірѣ зданія Пропилеевъ?! Этакій купеческій вкусъ: хоть не складно, да зато здорово,—знай нашихъ!

Пришли на «бельведеръ». Капитанъ Г., вдохновленный видомъ Аѣинъ, вскочилъ на какой-то жертвенникъ, обтесанный въ видѣ колонны, выхватилъ саблю и замеръ въ воинственной позѣ.

— Что это за колонна?—спрашиваю я.

— А Богъ ее знаетъ!—желчно возражаетъ профессоръ.—Это—новое. Развѣ не видите, какое безобразіе?

— Зачѣмъ же они ее здѣсь взгромоздили такъ некстати?

— Надо полагать, для охотниковъ рисоваться.

Капитанъ разсердился и слѣзъ наземь...

Акрополь—единственное мѣсто въ Аѣинахъ, гдѣ древность не профапирована сосѣдствомъ самой ношлой повседневнощины. Тезейонъ, гимназіи Адриана, агора, Стоа Аттала слѣшкомъ затерялись между рыноковъ, балагановъ, казармъ и вонючихъ желѣзнодорожныхъ станцій. Сравнительно съ римскими развалинами, аѣинскія имѣютъ одно важное преимущество: вамъ не отравляютъ существованія своимъ приставаніемъ и невѣжественною болтовнею проводники. Они здѣсь не навязчивы и очень дешевы. Сверхсмѣтныхъ уплатъ и поборовъ не водится. Въ запускѣлой «Башнѣ Вѣтровъ» поднесутъ вамъ какой-то желтый курослѣпъ, именувый «цвѣткомъ Эола», у входа въ Пропилеи заставятъ васъ выпить стаканъ воды изъ Акропольскаго ключа, на все это въ совокупности вы истратите полъ-драхмы,—вотъ и все. Зато Римъ, Неаполь, Верона гораздо почтительнѣе къ своимъ руинамъ, чѣмъ Аѣины. Какъ-то ночью отправился я въ развалины храма Зевса Олимпійскаго. Отъ этого храма-колосса, который Филостратъ называлъ великой «побѣдой надъ временемъ», осталось всего тринадцать колоннъ, еще соединенныхъ архитравомъ, легко лежащимъ на ихъ капителяхъ, подобныхъ цвѣточнымъ корзинамъ. Одна изъ колоннъ опрокинута ураганомъ 1852 года. Сѣлъ я на нее и принялся смотрѣть на костры, что вспыхивали далеко, далеко въ горномъ ущельи, звѣздочками-маяками для пѣшеходовъ Это старый обычай Эллады... еще «Орестей» Эсхилова начинается разсказомъ о немъ... Такъ, вѣроятно, вспыхивали эти огоньки и въ ночи, современныя Пизистрату, первостроителю храма, гдѣ я сажу и поэтизи-

рую... И вдруг—въ этотъ моментъ, когда, казалось, вотъ-вотъ почва дрогнетъ подъ ногами, и старый храмъ возникнетъ изъ праха, и заблестятъ надо мною изъ темной цѣллы драгоценные камни очей царя боговъ,—грянули нестройные звуки контрабаса, скрипки, флейты и барабана .. Слушаю и ушамъ не вѣрю:

— Господи! Да вѣдь это — «Стрѣлокъ!»

Я хочу вамъ рассказать,
Рассказать,
Рассказать,
Какъ дѣвицы шли гулять,
Шли гулять...
Да!

Его у насъ въ Россіи уже и мужики забыли, считаютъ «моветономъ», а вотъ привелъ Богъ снова имъ насладиться... въ Аѳинахъ, на ступеняхъ храма Зевса Олимпійскаго!.. Развалины справа и слѣва стиснуты кафе-шантанами, безчисленно разсѣянными по сосѣдству, столики какого-то кабачка разбросаны между самыми колоннами: при мнѣ разыгрался скандалъ между пьяницей и обсчитанной проституткой... До такого олимпійскаго позорища и Оффенбахъ не додумывался! А у Зевса не осталось ни громовъ, ни молніеноснаго орла, чтобы наказать наивныхъ осквернителей своей святыни. Во второй пріѣздъ, къ счастью, я уже не засталъ этой мерзости. Неурожаи коринки вычистили у грековъ карманы такъ ловко, что садики и кафешантаны въ столицѣ Аттики умерли естественною смертію,—и гробница отца боговъ покоится теперь среди площади—хотя и нищей, но, по крайней мѣрѣ, нравственно чистоплотной.

«Стрѣлку» въ Аѳинахъ удивляться нечего. По столицѣ Греціи шатается множество шарманщиковъ съ удивительно старыми и хрипыми шарманками; звуками ихъ смутился бы самъ Ноздревъ. Все подержанные инструменты, купленные изъ третьихъ-четвертыхъ рукъ въ Россіи, черезъ Одессу. Въ восьмидесятыхъ годахъ, одно время, по русскимъ городамъ было великое полицейское гоненіе на шарманку,—и

она бѣжала въ Грецію, славянскія земли, на Анатолійскій берегъ. Репертуаръ нашихъ бабушекъ: «Куда ты, ангелъ мой стремишься», «Соловей», «На зарѣ ты ее не буди»... Это ужасно смѣшно слушать: точно, вдругъ, подъ классическое небо, въ самый центръ классическихъ руинъ вкатывается, звеня и дребезжа, самодѣльный рыдванъ захолустной русской помѣщицы а въ немъ кряхтитъ и стонетъ измаянная скверною дорогою Коробочка!

Театры не работали, соблюдая лѣтнія вакаціи, а въ лѣтнихъ театрахъ шли какія-то ужасно патріотическія драмы съ пѣніемъ въ родѣ «Василія Болгаробойцы». Поютъ скверно, играютъ того хуже. Зашелъ въ циркъ. Боже! у насъ такой мерзости и въ Кременчугѣ не стерпѣли бы. Какія-то инвалидныя дамы скачутъ на клячахъ, современныхъ Буцефалу Александра Македонскаго. У каждой женщины въ глазахъ — мечта о богадѣльнѣ. У каждой лошади:

— Да когда же меня продадутъ цыганамъ на маханину?

Невыскаательны на развлеченія аониняне, нѣкогда самые строгіе въ мірѣ судьи искусства и спорта.

Однимъ изъ самыхъ пріятныхъ аонинскихъ воспоминаній осталась для меня воскресная поѣздка въ Фалеръ, на гулянье у моря. Весело было летѣть туда на быстрой паровой конкѣ, хотя вагоны были переполнены настолько, что приходилось уже не стоять, а висѣть въ воздухѣ, кое-какъ уцѣпившись ногами за подножку. Я было захватилъ себѣ скамеечку, но нахлынула цѣлая стая дамъ, и я уступилъ одной изъ нихъ свое мѣсто.

— Что вы сдѣлали?—вознегодовалъ капитанъ Г.— Съ какой стати вы отдали ей мѣсто?

— Дама...—объяснилъ я съ нѣкоторымъ недоумѣніемъ.

— Какая она, къ чорту, дама! Горничная какая-нибудь или модистка. Всѣ онѣ такія разряженные по праздникамъ...

— Ахъ, вы!—упрекнулъ я его,—а еще демократъ!

— Да что же, въ самомъ дѣлѣ? Горничной мѣсто

уступать! Ну, ужь, если сдѣлали глупость, такъ ухаживайте за ней по крайней мѣрѣ.

— Позвольте спросить: какъ?

— Заговорите съ нею...

— На какомъ языкѣ?

— Да, вѣдь вы не знаете по-эллински, — догадался капитанъ. — ну, въ такомъ случаѣ, конечно, вамъ трудно, — закончилъ онъ глубокомысленно. — А то вотъ что — толкайте ее ногами: пойметъ! — обрадовался онъ.

Но къ столь специально-греческому методу побѣды надъ сердцами я не рѣшился прибѣгнуть

Аѳинянки, въ общемъ, не слишкомъ красивы и изящны, хотя изрѣдка попадаются изумительныя красавицы. Послѣ великолѣпныхъ левантинокъ Константинополя и Смирны, женщинъ Ионическихъ острововъ и — всѣхъ ихъ величіемъ своимъ затмевающихъ — черногорокъ, онѣ кажутся дурнушками весьма мѣщанскаго типа: такихъ лицъ, покрытыхъ платочками по чернымъ волосамъ, множество въ русскихъ городахъ, которые встарь были порубежными, — въ Курскѣ, Путивлѣ, Новгородѣ-Сѣверскомъ. Аѳинянка или (весьма часто) приземистая толстенъкая кубышка, съ глазками, похожими на коринки, или (довольно рѣдко) худая и высокая женщина-змѣя, матовой блѣдности, съ огромными чашеподобными глазами, въ которыхъ свѣтится лихорадочная тоска не то болѣзненной страсти, не то болѣзненной усталости, съ красными губами вампира, съ таліей осы, гибкою, какъ пружина... «Коринѣская невѣста» Гете и гречанки Байропа были, конечно, изъ этого типа. Какія-то не то безумно влюбленныя, не то въ конецъ затрепанныя маляріею. Въ первомъ типѣ — поэзіи немного.

Нравы Аѳинъ очень строги. Открытой проституціи почти нѣтъ, а существующая связана по рукамъ и ногамъ суровымъ надзоромъ полиціи. Тѣмъ не менѣе, по вечерамъ, на улицѣ Стадіона, на площади Конституціи, — стало быть,

въ самыхъ показныхъ пунктахъ города, женское приставанье, все-таки, не рѣдкость. И—что особенно печально—все дѣвчонки лѣтъ двѣнадцати, тринадцати. Полиція, вѣроятно, задарена и смотритъ на нихъ сквозь пальцы...

Вагонъ трамвая мчится въ Фалеръ вдоль синяго моря, переполненнаго у береговъ человѣческими тѣлами. Это—аѳиняне. Въ безводныхъ, пыльныхъ, жаркихъ Аѳинахъ они грязнятся цѣлую недѣлю, чтобы въ воскресенье омыться въ водахъ Фалера. Это—въ родѣ русской бани по субботамъ. Аѳинскіе купцы средняго разбора и ремесленники выѣзжаютъ по воскресеньямъ въ Фалеръ, съ утра, съ семьями, на собственныхъ повозкахъ или верхомъ на коняхъ, на ослахъ, съ запасомъ провизіи и вина и остаются тамъ до поздней ночи. Это заслуженный воскресный отдыхъ. Іюльскіе жары въ Аѳинахъ ужасны. Городъ стоитъ въ котлѣ, загороженный отъ освѣжающаго дыханія моря, и съ утра накаляется, какъ мѣдный Молохъ. Даже тифлискіе не могутъ вообразить себѣ ничего подобнаго: у нихъ все-таки есть хоть какая-нибудь тяга изъ горъ. Здѣсь — никакой. Гиметь — самъ печка печкою. Сплошное накаливаніе: хочешь, варись, хочешь, жарься,—совсѣмъ духовая печь. Каждое утро у меня—человѣка, привычнаго выносить какую угодно жару, если она влажная: въ Сициліи, напримѣръ, я ничуть не страдалъ, хотя термометръ показывалъ градусы много выше, чѣмъ въ Аѳинахъ, — каждое утро у меня шла кровь носомъ, и греки находили, что это прекрасно.

— Значить, привыкаете къ нашему климату. Не правда ли, потому у васъ цѣлый день голова легкая?


— Легкая-то—легкая, а все жъ лучше бы безъ этого...

— Нѣтъ, иностранцамъ эти кровопусканія полезны. А то у насъ въ эту пору заѣзжему человѣку опасно: того гляди, хватить ударъ... Зато весною и осенью—рай. И зима хорошая.

Писать, работать лѣтомъ въ Аѳинахъ нѣтъ никакой

возможности: гнетъ раскаленнаго воздуха удушаетъ всякую мысль. Дышать возможно только во время проливныхъ дождей, которыми раза по два на день угощали насъ страшныя, величественныя, но бесплодныя горныя грозы. Бесплодныя, потому что —гремятъ-гремятъ, дождить-дождить: думаешь, что почву до девонскихъ пластовъ промочило,— анъ, едва выглянуло солнце, черезъ полчаса опять пыль смерчами, опять у всѣхъ встрѣчныхъ—видъ больныхъ, безнадежно задушенныхъ астмою. При такихъ условіяхъ особенно понятно, что въ воскресенье прибрежныя Фалерскіе луга и пески представляютъ картину отчасти цыганскаго табора, отчасти ярмарочнаго съѣзда: повозки, задранныя къ небу дышла, пасущіеся кони и ослы, палатки, трапезующія семьи... Очень весело: много шума, пѣсенъ, звуковъ волынки и гитары.

Въ самой гавани Фалера толкотня невообразимая. Толпа шумна и пестра; яркіе цвѣта преобладаютъ, хотя національныхъ костюмовъ совсѣмъ не видно; все—желтыя, зеленныя, полосатыя платья. Причудливую яркость ихъ дѣлаетъ еще болѣе рѣзкою румяный отблескъ вечерней зари. Темно-вишневое солнце тонетъ въ аломъ морѣ, небо надъ нимъ чуть не до зенита сверкаетъ разнообразнѣйшими тонами краснаго и золотого цвѣтовъ... Только двѣ краски, но сколько переходовъ, переливовъ, полутоновъ, оттѣнковъ, контрастовъ! Чтобы бороться съ художественнымъ могуществомъ и богатствомъ заходящаго въ Эгейское море солнца, слишкомъ бѣденъ обычный красочный запасъ современной палитры. Даже испанцы — самые смѣлые, почти дерзкіе въ передачѣ свѣтовыхъ эффектовъ художники нашего вѣка, даже Прадилла, Галлегасъ, Виллегасъ, Барбудо —и тѣ въ смущеніи опустили бы кисти, безсильныя бороться съ величіемъ этой лучезарной бездны. Древніе любили сравнивать небо съ опрокинутымъ кубкомъ. Мнѣ вспомнилось это уподобленіе въ гавани Фалера: дѣйствительно, точно кубокъ опрокинулся и съ краевъ его сбѣ-



гаетъ на землю море красного вина, прозрачнаго и блестящаго вина олимпійцевъ.

Сумерекъ почти нѣтъ. Едва солнце спряталось, падаетъ ночь—съ золотымъ кругомъ луны, съ изумрудными звѣздами въ темносинемъ небѣ, съ серебряными гребнями набѣгающихъ на берегъ волнъ. Въ глубинѣ моря, куда уходитъ огромная, деревянная эстрада, служащая показнымъ центромъ гулянья,—волненія никакого. Это—только у берега гроыхаетъ пѣнистый прибой: шумно топчутъ водяные кони Посейдона. Мѣсяцъ успѣлъ уже превратить море въ свѣтло синее, съ чешуйчатымъ золотымъ столбомъ поперекъ отъ берега до горизонта. Берегъ засвѣтился огоньками. Рестораны, палатки полишинелей, циркъ, передвижной кафешантанъ торгуютъ, не успѣвая удовлетворять потребителей,—толкотня, крикъ, частыя ссоры... впрочемъ, скромныя, греческія ссоры: съ проклятіями всѣхъ родныхъ противника, съ загвоздками по адресу всѣхъ святыхъ, даже съ дракою, но не далѣе. Если бы грузину, андалузцу или сициліанцу сказать хоть десятую долю оскорбленій, какими угощаютъ другъ друга греки, давно бы засверкали ножи. А грекъ слушаетъ, глотаетъ и только, въ отвѣтъ, самъ шире раскрываетъ горло и громче ругаетъ «Панагію» своего недруга. Накричатся, осипнуть и разойдутся.

Мы успѣлись уничтожить устрицъ—довольно большихъ и жирныхъ—у самаго моря, на мокромъ пескѣ; волна, стукаясь о берегъ, то и дѣло подмачивала намъ подошвы разбѣгающейся пѣной... Ручная лисица, которая весь вечеръ невѣроятно юрко даже не вертѣлась, а какъ-то скользила подъ ногами гуляющихъ, подбѣжала къ намъ и, утѣвши на заднія лапы, внимательно слѣдила за скорлупами, когда мы швыряли ихъ въ море. Она была такъ мала и такъ мила съ своимъ пушистымъ хвостомъ, длиною почти равнымъ стройному тѣльцу, что я понялъ непостижимаго спартанскаго мальчика, котораго всѣ хрестоматіи ставятъ юношеству въ примѣръ физической выносливости. Вы, ко-

нечно, помните, какъ этотъ мальчикъ изловилъ лисенка и, спрятавъ подъ одежду, принесъ въ классъ, какъ лисенокъ изгрызъ ему животъ, какъ мальчикъ, несмотря на то, глазомъ не мигнулъ и отвѣчалъ урокъ, пока нестерпимыя боли не заставили его лишиться чувствъ... Нетрудно до страсти привязаться къ такому хорошенькому и веселому звѣренку...



Константинополь.

(Отрывокъ.)

1896 г.

Соч. А. Амфитеатрова.

Боже мой, что за содомъ подняли сегодня ночью уличные псы, и какія здѣсь вообще проклятыя ночи... Говорятъ, будто въ Неаполѣ шумно. Неправда. Неаполь—ангель тишины и спокойствія сравнительно съ Перою и Галатою. Въ Неаполѣ шумъ красивый, человѣческій; слагается изъ говора и смѣха сильныхъ грудныхъ голосовъ, изъ уличныхъ пѣсенъ и криковъ торговцевъ, похожихъ на пѣсни. Неаполитанскій шумъ можно положить на музыку, что и сдѣлалъ Оберъ въ «Нѣмой изъ Портичи». Въ Неаполѣ зареветъ осель,—и то выходитъ какъ-то кстати, точно удачно примѣненный фаготъ въ инструментовкѣ сложной симфоніи. А здѣсь—какая-то музыка сверхъ-будущаго. Всеночное нарушеніе общественной тишины всѣми зависящими отъ людей и собакъ средствами.

Такъ какъ собакъ въ Константинополѣ приблизительно и по самому скромному счету втрое больше, чѣмъ людей, то да не будетъ поставлено мнѣ въ проступокъ если я сперва займусь преобладающею частью константинопольскаго населенія—четвероногою. Я ненавижу этихъ собакъ ночью, но очень люблю ихъ днемъ. Любопытныя твари. Наблюдать за ними—истинное и весьма поучительное удовольствие. Врядъ ли, кромѣ константинопольской собаки, осталось на свѣтѣ другое животное, пребывающее въ столь тѣсной дружбѣ съ человѣкомъ, питающееся отъ человѣка, работающее на человѣка, и которое вмѣстѣ съ тѣмъ человѣку не принадлежитъ и никакъ не можетъ считаться ручнымъ. Константинопольская уличная собака ни домаш-

ная, ни дикая; она — сама по себѣ *). Именно — равноправный членъ города, вмѣстѣ съ человѣкомъ. Она представляет собою верхъ культуры и порядка въ общежитіи, которыхъ звѣрь можетъ достигнуть своимъ умомъ, безъ человѣческой помощи и дрессировки.

Въ Скутари, азіатскомъ городкѣ Константинополя, мнѣ встрѣчались собаки всѣхъ возможныхъ и приличествующихъ добродѣтели псу цвѣтовъ, но въ Стамбулѣ, Перѣ, Галатѣ — почти исключительно желтыя, изрѣдка грязносерыя, Природный мундиръ константинопольской собаки — рыжеватый: прямое наслѣдство предка-шакала. Послѣ полудня, во время сыесты, мостовыя усыяны клубочками шерсти — точно дѣтскія шубки, свернутыя мѣхомъ вверхъ. Ъдетъ экипажъ, — изъ шубокъ поднимаются остренькія мордочки и осматриваютъ возницу. Если править турокъ, собака остается лежать спокойно: она знаетъ, что всякій порядочный мусульманинъ уважить ея кейфъ и вѣжливо объѣдетъ ее стороною. Если править грекъ, собака встаетъ и, присѣвъ у стѣнки на хвостъ, лѣниво зѣваетъ, пока фаэтонъ не прокатитъ мимо: отъ грека легко получить ударъ плети, — собачій культъ греку чуждъ. Я долго не вѣрилъ, когда мнѣ говорили, что собаки умѣютъ различать грековъ отъ турокъ, но потомъ убѣдился въ томъ десятками примѣровъ. Впрочемъ, теперь я готовъ повѣрить о константинопольской собакѣ чему угодно, даже не особенно удивлюсь, если скажутъ, что она выучилась говорить: только этого ей и не достаетъ.

Константинопольская собака — природный статистикъ и политико-экономъ. Сейчасъ я разскажу, какъ упорядочили эти умные звѣри систему своего питанія. Кормится константинопольская собака исключительно уличными отбросами. Она была четыреста лѣтъ главнымъ, если не единственнымъ, ассенизаторомъ города, и лишь въ послѣд-

*) Это писано еще до знаменитой нынѣ сказки Киплинга о кошкѣ, которая была сама по себѣ... (1903).

нее время люди пришли ей въ этомъ на помощь. Такъ какъ отбросовъ сравнительно мало, а собакъ много, то мудрые псы учредили строгую и безобидную дѣлежку пищи — по кварталамъ. На каждый городской кварталъ полагается столько-то собакъ. Счетъ свой онѣ знаютъ твердо, и горе, напримѣръ, псу съ Большой улицы Перы, если лукавый или голодъ соблазнять его забраться воровскимъ манеромъ въ какую-нибудь захолустную Венеціанскую улицу. Тутъ-то и начинается адская суматоха, шариварилая, воя, визга, урчанія, рычанія, почти каждую ночь заставлявшія меня вскакивать съ постели и бѣжать къ окну: что это — мятежъ Зеленыхъ и Голубыхъ? Споръ францисканцевъ съ раввинами? Падишахъ Магометъ вторично беретъ городъ приступомъ? Армянская революція? И каждый разъ ночной сторожъ успокаивалъ меня:

— Ничего, господинъ, это только — собака изъ чужого квартала, убей Богъ ея душу.

Ночные сторожа въ Константинополѣ, подобно собакамъ, созданы главнымъ образомъ для того, чтобы мѣшать спать усталымъ путешественникамъ. Говорятъ, будто какая-то французская компанія предлагала туркамъ миллионъ рублей за всѣхъ собакъ — на шкуру и кожи. Если бы сдѣлка состоялась и зависѣла отъ меня, то ночныхъ сторожей я отдалъ бы съ удовольствіемъ въ придачу даромъ, ибо пользы отъ нихъ, именно съ падишаха Магомета, еще никто не видѣлъ никакой, а непріятностей они доставляютъ много. Обязанности сторожа таковы: ежеминутно онъ стучитъ по тротуару, гдѣ есть тротуары, или по мостовой длинною толстою палкою, съ пустотою внутри, для резонанса. Тукъ-тукъ-тукъ... Удивительно звонко и гулко это у нихъ выходитъ: слышно въ комнатѣ, точно стучить у самой постели въ изголовьѣ. Раздражаетъ съ непривычки невыносимо. Ну, вотъ, наконецъ, слава Богу, свыкся, дремлю, передъ глазами поплылъ туманъ, скользнули двѣ-три тѣни, предтечи сна...

— А-а--э-э-э-і-і-і-ууууу...

Господи помилуй! Кого рѣжутъ? гдѣ пожаръ? или опять землетрясеніе? Васъ сбрасываетъ съ постели, какъ будто пружиною, сердце колотится въ груди, какъ пойманная птица, лобъ въ поту... Совсѣмъ нечеловѣческій вопль... И опять ничего особеннаго: это ночной сторожъ исполняетъ вторую свою обязанность, возвѣщаетъ добрымъ горожанамъ, который часъ, и что, Аллахъ великъ и милосердъ, на улицахъ все благополучно. Въ промежуткахъ воя и стука, сторожъ коротаетъ ночь, распѣвая турецкія пѣсни. Покойникъ Андреевъ Бурлакъ рассказывалъ, какъ однажды въ вагонѣ встосковалась болонка на рукахъ у пассажирки, а та давай ее унимать:

— Перестань, Амишка! у-у-у-у! стыдно! у-у-у! вотъ и стыдно! у-у-у! что о тебѣ подумаютъ? у-у-у!

Сосѣдъ слушалъ-слушалъ,—и не вытерпѣлъ:

— Сударыня,—говорить,—будьте милосерды: пусть ужъ одна Амишка воетъ.

Много разъ вспоминался мнѣ этотъ анекдотъ, когда ночной сторожъ подѣ моимъ окномъ принимался воспѣвать черные глаза какой-то *кызъ*, и, вторя ему, заливались жалостнымъ аккомпанементомъ псы всего квартала. И, когда, наконецъ, на зло всему, усталость сморить васъ дремотою,—какіе дикіе сны видятся подѣ этотъ волчій концертъ!

Сейчасъ рамазанъ, и стамбульская жизнь слагается такимъ порядкомъ: днемъ правовѣрные голодаютъ и ходятъ сумрачные и злые, какъ проклятыя души въ аду; а послѣ захода солнца благополучно обжираются до отвала и, пьянѣя отъ ѣды на долго тощій желудокъ, кричатъ и дурачатся по кофейнямъ до поздней ночи. Гвалтъ прекращается только къ разсвѣту, по слову Корана—«когда можно простымъ глазомъ отличить отъ нитки черной нитку бѣлую», то-есть часу во второмъ, а въ четыре уже «встаетъ купецъ, идетъ разносчикъ, на биржу тянется извозчикъ»—и вся

эта компанія спѣшитъ увѣдомить почтеннѣйшую публику о своемъ пробужденіи, испуская вопли дикаго ирокеза, пляшущаго танецъ побѣды на могилѣ злѣйшаго своего врага. А въ промежуткѣ—собаки и сторожа, сторожа и собаки. И, для оживленія постояннаго репертуара, сюрпризный дивертисментъ—въ родѣ хора пьяныхъ грековъ, котормъ, возвращаясь изъ кафе-шантана, вздумалось вообразить себя итальянцами:

*Margarita, pensa a Salvatore,
Margarita, l'uomo è cacciatore...*

Если бы не шумъ, константинопольская ночь—ночь спокойная. Скандалы—большая рѣдкость. Ночныхъ фей, рокового зла сѣверныхъ большихъ городовъ, на улицахъ не имѣется. Постоянные обходы часовыхъ: то одиночкой, то патрулемъ. Нѣкоторое время я возвращался домой довольно поздно и, теряя въ темнотѣ представленіе о запутанномъ лабиринтѣ неосвѣщенной Перы:—даже главная улица освѣщена лишь въ широкой своей части, новой, совсѣмъ обьевропеившейся, а въ переулкахъ—могильный мракъ,—неизмѣнно встрѣчалъ со стороны турецкой полиціи самую предупредительную любезность. Слѣдуетъ принять во вниманіе, что и оказывать-то любезность было имъ затруднительно: я ни слова по-турецки, а милѣйшіе полиціанты «бельмесь» по всякому другому. И всегда какъ-то дотолковывались до дѣла, и меня съ торжествомъ провожали до дверей Hôtel de France, гдѣ, пожелавъ спокойной ночи, почтительнѣйше откланивались. Ни разу ни одинъ полицейскій не спросилъ съ меня за такіе проводы обыкновеннаго бакшиша и, когда я предлагалъ, — всегда отказывались. А еще недавно—всего лѣтъ пять тому назадъ,—въ переулкахъ Перы и Галаты нельзя было, послѣ сумерекъ, ходить безъ револьвера: прохожихъ чуть не на каждомъ углу поджидали ночные грабители, и звать на помощь было напрасно,—полиція была въ стачкѣ съ мошенниками и,

когда тѣ хватали людей за горло, еще помогала*). Занимались грабежомъ, впрочемъ, не столько турки, какъ греки и итальянцы, — отбросы портовъ Марселя, Бриндизи, Александрии. Сейчас не совѣтуютъ лишь предпринимать одинокія экскурсіи внизъ отъ Grande Rue de Pera къ Галатѣ по узкимъ, угрюмымъ переулкамъ, гдѣ квартируетъ весь константинопольскій развратъ, — развратъ европейскій, но на quasi-восточный ладъ, грязный и безудержный.

Это — бичъ Константинополя. На каждомъ углу Перывасъ подстерегаетъ «жолифамщикъ»: такую мѣткою кличкою прозвали наши моряки сомнительныхъ, не то приличныхъ, не то прямо изъ острога — сразу не разберешь — господъ въ фескахъ, съ пронырливыми острыми глазками буравчикомъ и съ готовностью, за одинъ наполеонъ, сдѣлать какую угодно мерзость — украсть, отравить, изнасиловать, что хотите. Это даже не пресловутые парижскіе сутенеры, — это что-то хуже, «звѣрѣе». Они выныриваютъ изъ какихъ-то подворотенъ, будто изъ-подъ земли; еще не видишь самого жолифамщика, а уже голосъ его шепчетъ надъ самымъ ухомъ:

— «Volez vo» jolie femme?

Если его отправляютъ къ чорту, онъ не смущается — и лишь переходитъ на тотъ языкъ, какъ его обругали. Обругаютъ на другомъ, и онъ на другой, третій. Говоритъ на всѣхъ діалектахъ одинаково скверно и одинаково бойко. Ни Мопассанъ, ни Катюль Мандесъ, ни Ришпенъ не описали еще формы разврата, которой не предложилъ бы вамъ жолифамщикъ — и, что всего курьезнѣе, вовсе не тономъ

*) Теперь опять возродились эти милые нравы. Полицію развратилъ терроръ полномочій, предоставленныхъ ей противъ армянскихъ и македонскихъ революціонеровъ. Тайнственные убійства и нападенія въ закоулкахъ ставятся на счетъ „комитетцамъ“, и тѣмъ дѣло кончается. Десятки преступленій въ Стамбулѣ, совершаемыхъ съ цѣлью грабежа, обращаются лѣнью и подкупностью полиціи въ „политическія“, якобы производимыя неизвѣстными злоумышленниками. (1903).

змія - искусителя, нѣтъ, наоборотъ, самымъ дѣловымъ, озабоченнымъ, ариметическимъ, можно сказать, тономъ.

— Я видѣлъ, синьоръ, что къ вамъ подходилъ Яни. Пошлите его къ чорту: это грязная дрянь, дуракъ. Что онъ знаетъ? Что у него есть? Вся его кліентела—три паршивыя гречанки, изъ которыхъ у одной,—клянусь святою Ириною!—злѣйшая чахотка, а у другой мужъ-шантажистъ и любить дѣлать скандалы... А я, синьоръ, я моихъ кліентовъ даже не хвалю! Я только говорю: подите и взгляните. Да! взгляните! И вы тогда поймете, какой человѣкъ Насто, и не захотите знать никого другого. И я не прошу никакихъ денегъ: деньги—если синьору что-нибудь понравится, деньги послѣ. Пусть синьоръ только взглянетъ... Отчего вамъ не взглянуть, синьоръ? Вѣдь это васъ не разорить—взглянуть ничего не стоитъ.

Люди совсѣмъ безпардонные и крайне опасные. Ихъ надо обходить далеко; глухое молчаніе въ отвѣтъ на ихъ жужжащій шепотъ надъ ухомъ — единственное дѣйствительное средство отъ нихъ отвязаться, хотя и не избавляющее отъ дерзостей вслѣдъ. А, если туристъ плотію слабъ и идетъ на соблазны жолифамщиковъ, то долженъ съ ними держать не только ухо остро, но и кулакъ, и револьверъ наготовѣ. Новички, имѣющіе дерзость слѣдовать за этими волками въ ихъ труппы, не разъ попадали въ ловушки, откуда либо выходили безъ кошелька и часовъ, либо вовсе не выходили, либо приходилось, въ счастливомъ случаѣ, прокладывать себѣ дорогу револьверомъ. Такъ какъ главный элементъ, на который рассчитываютъ константинопольскіе мерзавцы, торгующіе живымъ мясомъ,—восточные человѣки: греки, персы, армяне, левантинцы, — то и главный товаръ жолифамщиковъ — несовершеннолѣтнія дѣвчонки. Ихъ дрессируютъ на «ремесло» съ семи - восьми лѣтъ и—лѣтъ въ одиннадцать — продаютъ и пускаютъ въ дальнѣйшій оборотъ. Проститутки двѣнадцати - тринадцати лѣтъ—самое обыденное явленіе

въ Константинополѣ. И, кажется, такое преждевременное развращеніе дѣтей даже не преслѣдуется ни полиціей, ни закономъ. Я видѣлъ этихъ несчастныхъ: ни малѣйшаго стыда и почти гордость собою—тѣмъ, что «я уже женщина»... Хвастовство порокомъ,—безъ всякаго цинизма, а скорѣе наивное: вотъ, молъ, какая я умница! *si jeune et si bien décorée!*.. Контингентъ такихъ отравленныхъ, загубленныхъ бѣдняжекъ пополняется преимущественно гречанками и армянками. Современное армянское разореніе бросило въ ряды проституціи множество женщинъ и дѣтей изъ Азіатской Турціи.

Если жолифамщикъ видитъ, что рыбка не клюетъ на его приманку, и онъ нарвался на опытнаго иностранца, онъ мѣняетъ роль и переходитъ на амплуа благороднаго нищаго:

— Въ такомъ случаѣ, муссю, дайте мнѣ піастръ на ужинъ, одинъ только піастръ... Я сегодня весь день не жрала, муссю.

Одинъ подобный субъектъ выпрашивалъ у меня по піастру четыре дня подрядъ.

— Да вы все врете, — говорю ему на пятый, — какъ это можно — при вашихъ, въ нѣкоторомъ родѣ блестящихъ дарованіяхъ, голодать пятья сутки?

— Посмотрите на меня, *monsieur*, вы увидите, что это правда. Совсѣмъ нѣтъ торговли, муссю. Вотъ уже пятья сутки я живу исключительно вашими піастрами.

Тонъ и глаза какъ будто правдивые. Дѣйствительно, — вглядываюсь — на проходимцы лица нѣтъ: голодъ глядитъ изъ каждой ямки желтаго, тощаго лица.

— Собачье же ваше занятіе, если оно, вдобавокъ, такъ плохо васъ кормить.

— Истинно собачье, *monsieur*.

— Тогда зачѣмъ же вы имъ занимаетесь? Работали бы...

— Нѣтъ, ужъ лучше такъ... Я не умѣю работать. Знаете,

всѣ ремесла такія грязныя, совсѣмъ не для порядочнаго человека. Притомъ не всегда бываютъ дурныя полосы: иной разъ выпадетъ кушъ,—такъ цѣлый мѣсяцъ потомъ живу бариномъ. Случается: дастся фортуна въ руки,—вотъ и обезпеченъ на всю жизнь. Живи въ своемъ конакѣ, принимай гостей, играй въ рулетку. Жизнь—лоттерея, *mon-sieu*.

И онъ съ увлеченіемъ разсказалъ мнѣ, какъ года два тому назадъ попался на крючекъ его собратъевъ по ремеслу богатый англичанинъ. Почтенный мистеръ Джонъ Буль, начитавшись Байрона и Мура, пожелалъ, во что бы то ни стало, имѣть романическое приключеніе въ гаремѣ. Съ англичанина содрали 150 фунтовъ и—вмѣсто гарема, преспокойно привели его въ захолустный притонъ разврата, меблированный на этотъ высокаторжественный случай въ восточномъ вкусѣ. Любопытно, что, когда обманъ раскрылся, англичанинъ не только не пожалѣлъ истраченныхъ денегъ, но рѣшился заплатить ту же сумму вторично—съ тѣмъ лишь, чтобы, на сей разъ, побывать уже въ гаремѣ настоящемъ. Ему дали честное слово, съ него взяли деньги и... повторили съ нимъ ту же продѣлку, только въ другой части города. Англичанинъ уѣхалъ на родину, счастливый и довольный, а исторія его и посейчасъ притча во языцѣхъ и любимѣйшій анекдотъ константинопольскихъ гидовъ.

Вечеромъ въ Константинополѣ человѣку, привычному къ образу жизни большихъ европейскихъ и русскихъ городовъ, тоска смертная: совсѣмъ некуда дѣваться. Театровъ настроено много, но въ нихъ ничего не играютъ, потому что антрепренеры ѣдутъ въ Константинополь неохотно,—кто ни сниметъ театръ, прогоритъ. Оперетки еще кое-какъ держатся: при мнѣ была даже турецкая,—какіе-то армяне изображали на турецкомъ языкѣ «Маскотту». Ужасъ, что такое. Покойники въ гробахъ говорили спасибо, что умерли. Въ антрактѣ очень красивая, но очень толстая армянка

«изъ общества», по «благосклонному участию», пѣла Una voce rose fa—тоже по-турецки: это было очень смѣшно. Гортанные звуки восточнаго языка престранно контрастировали съ пѣвучею кантиленою Россіи. Словомъ, спектакль для слушателей восточнаго факультета и студентовъ Лазаревскаго института въ Москвѣ. Театры Константинополя малы и характеръ ихъ постройки напоминаетъ объ ихъ эфемерности. Одеонъ, напримѣръ, устроенъ великолепно, но такъ, чтобы, въ случаѣ плохихъ дѣлъ, было можно мгновенно повернуть въ кафе-шантанъ, съ красивымъ и просторнымъ зеркальнымъ заломъ*). Кафе-шантаны—совсѣмъ дрянь: поютъ и играютъ отбросы, не принятые ни на какую европейскую «лирическую сцену», какъ важно величаютъ гг. Омоны, Гинцбурги и Комп. свои шато-кабаки.

— Вотъ варвары - то! — возмущались мои сосѣди по табльдоту, французы, комми-вожеры, — что дѣлаютъ они по вечерамъ? Ходятъ другъ къ другу въ гости? спать?.. Въ ихъ кафе-шантанахъ нельзя бывать: свѣжаго человѣка или стошнить отъ сальностей, или, наоборотъ, возьметъ злая скука отъ вялаго исполненія... Ихъ забавляютъ просто выгнанныя горничныя нашихъ шансонетныхъ пѣвицъ!

Притомъ: всюду рулетка, — и какая! самая шулерская! однѣ рожи крупье чего стоятъ! Проигрывать начнешь, — снимутъ рубашку; выиграешь, — ограбятъ.

— Я здѣсь добродѣтеленъ поневолѣ, — жаловался одинъ русскій, — бѣсъ не придумалъ для Константинополя другихъ соблазновъ кромѣ brasserie и кафе, а эти соблазны приводятъ лишь къ тому высоконравственному результату, что въ десять часовъ ночи я уже въ постели и сплю сномъ праведника.

Кафе и brasseries Перы, дѣйствительно, очень хороши, а нѣкоторыя—напримѣръ, Яни, Splendide Centrale — даже

*) Впослѣдствіи именно такая судьба его и постигла. (1901).

великолѣпны. Нѣмцы обособили себѣ Pilsen-Brasserie, гдѣ хозяинъ встрѣтилъ насъ чистѣйшею русскою рѣчью:

— Вы можете найти здѣсь самое лучшее пиво.

— Русский?!

— Нѣтъ, я, такъ сказать, братъ-славянинъ.

Этотъ «такъ сказать, братъ-славянинъ» съ самымъ лучшимъ пивомъ напомнилъ мнѣ слѣдующую исторію. Въ Вѣнѣ фланируетъ по Рингу благополучный россіянинъ. Впереди его какая-то очаровательная, но сомнительная особа. Вдругъ, особа спотыкается, и — прежде, чѣмъ россіянинъ подоспѣлъ поддержать — растягивается на тротуарѣ во весь ростъ. Ушиблась очень больно. Россіянинъ протягиваетъ руку помощи, особа съ трудомъ встаетъ, и — отъ боли — изъ красивыхъ губокъ ея вдругъ вырывается русская фраза изъ числа непредназначенныхъ для печати. Россіянинъ опѣшилъ:

— Русская?! — только и нашелся воскликнуть онъ.

Очередь опѣшить осталась за особою.

— Н-нѣтъ... сестра-славянка, — проворчала она сквозь зубы и торжественно удалилась.

Съ русскимъ языкомъ въ Константинополѣ надо быть осторожнѣе, чѣмъ гдѣ-либо за границу: изъ десяти, ну, пожалуй, двадцати человѣкъ, на улицѣ одинъ уже непременно говоритъ по-русски, а двое понимаютъ. Это и удобство, и неудобство. Въ одномъ изъ своихъ парижскихъ очерковъ И. С. Тургеневъ рассказываетъ такой случай. Онъ сидѣлъ съ нѣкоторымъ подозрительнымъ по виду господиномъ на бульварѣ и велъ съ нимъ бесѣду политическаго свойства. Въ это время подходитъ А. И. Герценъ.

— Помилуй, — говоритъ онъ по-русски Тургеневу, — съ кѣмъ это ты сидишь? Вѣдь это шпіонъ, несомнѣнный наполеоновскій шпіонъ... Достаточно на рожу взглянуть, чтобы убѣдиться, что шпіонъ.

Возвращается Тургеневъ къ скамьѣ, гдѣ сидитъ его обруганный собесѣдникъ, а тотъ ему и преподноситъ:

— Вотъ, г. Иванъ, хочу я вамъ сказать: есть у васъ, русскихъ, скверная привычка выражать за границею по-русски самыя сокровенныя мысли, въ твердой увѣренности, что васъ не понимаютъ. Кто, молъ, въ сихъ цивилизованныхъ странахъ знакомъ съ нашимъ дикимъ языкомъ? Кому надо? Вашъ пріятель,—я его знаю: это г. Герценъ, — думалъ, что я не пойму слова, которыя онъ сказалъ вамъ на мой счетъ. А я, между тѣмъ, все дословно понялъ.

Никогда не сознавалъ я полезности совѣта, заключеннаго въ этомъ тургеневскомъ разсказѣ, болѣе доказательно, чѣмъ въ путешествіяхъ по южной Европѣ. На Востокѣ русскій языкъ очень нуженъ, и учатся ему—практически, разумѣется,—охотно и многіе. Не говорю уже о Болгаріи, гдѣ — послѣ паденія Стамбулова — русскій языкъ снова въ такомъ же ходу и распространеніи, какъ, напримѣръ, у насъ французскій. Тамъ нечего и думать секретничать по-русски вслухъ. Но и за болгарскими границами русскій языкъ не разъ награждалъ меня весьма неловкимъ положеніемъ, а тѣхъ, кто говорилъ на немъ — неловкимъ въ квадратѣ, въ кубѣ. Впрочемъ, по большей части — виноваты были встрѣчи не съ иностранцами-русофонами, но съ соотечественниками...

Первый разъ въ Константинополѣ. Тамъ есть прелестный садъ, по названію Таксимъ. Существуетъ константинопольская поговорка: кто пилъ воду изъ Таксима, тотъ не покинетъ Константинополя навсегда,—вернется. Грузины Тифлиса выражаются проще и короче: Кура вода пилъ,—нашъ будешь. Какъ видите, одно и то же. Лѣтнимъ днемъ среди душнаго, жаркаго и, сказать правду, весьма отвратительнаго Константинополя, Таксимъ — чуть ли не единственное мѣсто, гдѣ можно дышать. Я забирался въ Таксимъ послѣ обѣда и уходилъ оттуда лишь передъ закатомъ солнца, который слишкомъ красивъ съ моста Золотого Рога, чтобы, кто можетъ его видѣть,

вздумалъ хоть однажды его пропустить. Въ одно прекрасное послѣ-обѣда сижу въ Таксимѣ и читаю газету. Сижу, какъ водится по восточному — въ фескѣ и туфляхъ... Влетаютъ двѣ барыни — худенькія, блѣдненькія, недурныя собой, одѣтыя пестро, но не безвкусно, съ быстрыми глазками и развязными манерами. Мой опытный взглядъ сразу призналъ соотечественницъ: даму просто пріятную и даму пріятную во всѣхъ отношеніяхъ. По тону—южанки: либо изъ Кіева, либо изъ Харькова, но не одеситки, — на этихъ, какъ на всемъ московскомъ, есть особый отпечатокъ. Дамы расположились на скамьѣ, сосѣдней съ моею, и продолжали свой начатый еще раньше разговоръ. Какой?... Скажу стихами Лермонтова изъ «Казначейши»:

Вамъ не случилось двухъ сестеръ
Замужнихъ слышать разговоръ?

А изъ-за ширмовъ раза два
Такія слышалъ я слова...

Словомъ, не успѣли барыни разговориться, а мнѣ уже стало невозможно признаться имъ, что я русскій, и, слѣдовательно, понимаю все, что онѣ говорятъ. Это значило бы слишкомъ ихъ сконфузить. Душу свой смѣхъ и все ниже и ниже наклоняюсь надъ «Левантскимъ Курьеромъ», кстати посланнымъ мнѣ богами въ руки. Но... вдругъ «разговоръ двухъ сестеръ» обращается на мою собственную персону.

Долженъ оговориться: ораторствовала, собственно, одна, а другая, на всякое замѣчаніе подруги, только хохотала, всплескивала руками и взвизгивала:

— Ахъ, Лидія Александровна! да можно ли это?!

И вотъ, Лидія Александровна, рассказавъ десятка полтора пикантныхъ анекдотовъ, замѣчаетъ:

— Посмотрите, Леля, какой огромный турокъ сидитъ...

«Огромный турокъ» — это я. Какъ-то Богъ помогъ не фыркнуть... Но затѣмъ... затѣмъ началась подробная критика моей скромной персоны... критика не только по на-

гляднымъ даннымъ, но и предположительная. Я крѣпился, чтобы не расхохотаться, чуть не до апоплексического удара.

— Хотите, Леля, я спрошу, какъ его зовутъ?

— Ахъ, Лидія Александровна!

— Вѣдь, они всѣ здѣсь — либо Ахметъ, либо Юсупъ, либо Мустафа...

Тутъ уже я не выдержалъ:

— А вотъ и ошиблись: меня зовутъ Александромъ, Лидія Александровна...

Два страшныхъ взвизга въ воздухѣ, двѣ убѣгающихъ тѣни по аллеѣ и я — умирающій отъ истерического смѣха... На завтра вечеромъ я встрѣтилъ разговорчивыхъ дамъ въ саду Aux petits champs и имѣлъ жестокость почтительнѣйше съ ними раскланяться. Боже, какъ онѣ бросились къ выходу!

Не меньшей осторожности съ русскимъ языкомъ требуетъ Вѣна — городъ полуславянскій, съ массою поляковъ, русиновъ, русскихъ евреевъ и проѣзжихъ русскихъ. Однажды сижу у Лейдингера. Я съ пріятелемъ моимъ англичаниномъ, г. Мальтеномъ *), только что совершилъ долгую экскурсію на Заммерингъ. Устали и проголодались. Набросились на ѣду, какъ голодные волки. Слышу съ сѣднаго стола мужской голосъ:

— Нѣтъ, ты посмотри, Маша, какъ жрутъ эти нѣмцы. Этотъ длинный съѣдаетъ уже второй ростбифъ и пьетъ четвертую кружку пильзенскаго пива. Молодцы нѣмцы!

Оборачиваюсь и патріотически спрашиваю:

— Почему же вы думаете, что русскій того же не въ состояніи сдѣлать?

Понятное дѣло, — вмѣсто человѣка, предо мною — статуя Лотовой жены по обращеніи оной въ соль.

*) См. о немъ мою книгу «Сказочныя Были». Статья «Землетрясеніе».

Третій случай...

Шагаю по стриженнымъ аллеямъ вѣнскаго Шенбруннъ-Парка, а передо мною, шагахъ въ десяти, плетется російскій интеллигентъ, съ гидомъ. Видно, что интеллигенту опротивѣло все: и путешествіе, и Вѣна, и гидъ, и самъ онъ... Но—взялся за гужъ, не говори, что не дюжъ. Терпѣть и смотреть. Изъ любопытства я послѣдовалъ за этою четой. Показалъ гидъ бѣдному туристу и группу Нептуна, и римскія развалины... Туристъ пыхтитъ и приговариваетъ:

— Римскія развалины... очень, очень прекрасно... Обелискъ... а! это обелискъ! ска-а-ажите, какъ интересно!

Правду сказать, въ Шенбруннѣ нѣтъ ровно ничего, пригоднаго для восхищеній. Кто видалъ Петергофъ, а на русскомъ югѣ Софіевку, Александрію, въ томъ Шенбруннѣ возбудить только недоумѣніе. Но... гидъ говоритъ, что надо восхищаться—стало быть, туристу, нечего дѣлать, остается восхищаться.

Наконецъ, гидъ подводитъ моего бѣдняка къ какимъ-то дубамъ и заставляетъ ихъ щупать...

Пощупаль... и, видимо, не понимаетъ, зачѣмъ щупаль: дубы—какъ дубы... Выраженіе лица у туриста самое разочарованное. Но, надо полагать, дубы были послѣднею каплей, переполнившей чашу его терпѣнія. Дубы сломили его; дубовъ онъ не вынесъ. Слышу вопросъ:

— Ну-съ, обелискъ видѣли, Нептуна видѣли, развалины тоже, дубы щупали... дальше-то что же?

— Дальше, mein Herr, — оторопѣвъ, возражаетъ юркій гидъ, — дальше... дальше... zahlreiche mythologische Gruppen in allen Theil...

— Zahlreiche?!... О...

Послѣдовало самое откровенное трехэтажное восклицаніе. Это было такъ искренне, такъ отъ души сказано, что я не выдержалъ и сѣлъ на ближнюю скамью, чтобы въ волю отхохотаться.

Мнѣ везло въ томъ отношеніи, что всякій разъ, какъ я попадалъ въ Константинополь, между Россіей и Турціей были хорошія политическія отношенія, и русскіе были въ модѣ, на первыхъ мѣстахъ.

— Московъ! карошъ московъ... Инглизь худой... бормочеть любой левантинскій купецъ Стамбула, норовя въ то же время всучить вамъ склянку поддѣльнаго розоваго масла, стоимостью въ одинъ франкъ, по крайней мѣрѣ, за десять. Покупая что-либо въ Константинополѣ, я всегда торговался, какъ Шейлокъ съ Тубаломъ,—даже мои спутники русскіе конфузились, а, приходя домой, все-таки, узнавалъ отъ милѣйшаго хозяина нашей гостиницы m-г Франкля, что переплатилъ вдвое, втрое.

Первое, что бросается смотрѣть туристъ по пріѣздѣ въ Константинополь, это именно то мѣсто, гдѣ и сидрають съ него семь шкуръ: стамбульскій старый базаръ. Я видѣлъ стамбульскій базаръ еще до землетрясенія 1894 года, когда подъ его дряхлыми, Византію помнящими сводами, погнбло болѣе пятисотъ человѣкъ. Теперь онъ утратилъ много изъ своей прежней оригинальности; возобновленія и передѣлки—некрасивыя пятна и бородавки на его типически восточной фізіономіи. Здѣсь можно имѣть втридорога хорошее оружіе, новое и старое: знатоку не жаль отдать деньги,—попадаютъ вещи удивительныя, но профанамъ-коллекціонерамъ не совѣтую приступаться къ оружію константинопольскаго базара. — цѣну возьмутъ огромную, а подсунутъ дрянъ, а то и просто имитацію вѣнской работы. Я ходилъ на базаръ исключительно, чтобы смотрѣть толпу. Она интереснѣе и богаче всѣхъ товаровъ, наполняющихъ базаръ и смежные съ нимъ узкіе кривые переулки, съ дырами и выбоинами на первобытной мостовой, съ медленно ползущими сквозь эти дыры и выбоины потоками жидкой грязи. Бродишь въ хаосѣ пестрыхъ лицъ, одеждъ и такихъ же пестрыхъ криковъ. Левантинскіе евреи, въ фескахъ, перебѣгаютъ вамъ дорогу и, съ

лихорадочными глазами, рекомендуютъ янтарь, платье, шелкъ, золоченныя туфли—по самымъ дешевымъ цѣнамъ... ровно втрое превосходящимъ русскія. Бедуинъ, забывшій наѣзды для торговли желѣзнымъ хламомъ, сидитъ на кучѣ ржавыхъ сабель, ухватовъ, сломанныхъ ружей, пистолетовъ безъ курковъ, закутался въ бѣлый бурнусъ, отъ котораго рожа его, мертво-смуглая, съ неподвижными чертами, кажется вдвое чернѣе, и невозможно гнусить не то пѣсню, не то молитву, не то просто закликъ покупателя. Персы въ острыхъ шапкахъ, — желтолицыя, глаза маслинами; наши косоглазые татары изъ Казани; бронзовые нубійцы въ фескахъ, точно приросшихъ къ гладко-бритымъ головамъ, и съ такими мускулами голыхъ рукъ, что взглянуть — душа радуется; сирійцы — красавецъ къ красавцу, въ платкахъ, чалмами намотанныхъ вокругъ головы, съ грудью открытою, несмотря на холодъ, узкимъ прорѣзомъ незашитой рубахи чуть не по поясъ; дюжіе аскеры султанской гвардіи въ залитыхъ золотомъ мундирахъ; — все это тѣснится плечомъ къ плечу, волнуется, колышется, сверкаетъ на солнцѣ, пестритъ и рябитъ въ глазахъ неустанною зыбью человѣческаго моря. Въ морѣ этомъ незамѣтно тонуть скромныя фигуры мусульманскихъ женщинъ въ темныхъ мѣшкахъ, скрывающихъ всю фигуру, съ вуалемъ-яшмакомъ на лицѣ. Христіанки, — не желая отстать отъ мусульманокъ въ скромности, а также во избѣжаніе приставанья турокъ-ловеласовъ, весьма безцеремонныхъ къ христіанскимъ красавицамъ если не на дѣлѣ, то на словахъ, — тоже носятъ свои платки низко на лобъ, оригинальною складкою, напоминающею нѣсколько головной уборъ сфинкса. Мѣшки и платки, по большей части, полосатыя, подобранныя въ тѣнь, изъ одной и той же матеріи. Всѣ эти Гюльнары, Медоры, Гаиде, Лалла-Рукъ, рожденныя будто бы воспламенять воображеніе поэтовъ, очень бѣлы (по большей части накрашены), очень толсты, очень глазасты, очень носасты и, въ весьма частыхъ встрѣчахъ, чрезвычай-

но усыпы. Иногда изъ-подъ навѣса головного убора, вмѣсто бѣлаго лица, вдругъ сверкнуть перламутровыя глядѣлки, блеснетъ чернымъ лакомъ кожа негритянки, съ оттопыренными впередъ толстыми губами. Между ними есть тоже свои красавицы: мнѣ показали на гуляньи въ Aqua Dolce одну такую—супругу какого-то египетскаго купца, христіанина... Это была удивительнѣйшая головка, тонко и изящно выточенная изъ чернаго дерева, и только слегка утолщенные губы, да барашковая курчавость волосъ портили впечатлѣніе почти классическихъ чертъ темнокожей красавицы, да взглядъ былъ—какъ у всѣхъ цвѣтныхъ—немного по-звѣриному пугливый.

Вообще по зимнему Константинополю съ типомъ восточной красоты, такъ блистательно представленной лѣтомъ въ дачныхъ мѣстахъ и на гуляньяхъ Босфора, знакомиться нельзя. Главныя ея представительницы, изнѣженныя, капризныя левантинки, по цѣлымъ днямъ дрожать отъ холода, тщетно отогрѣваясь у своихъ тандуровъ, или переѣзжаютъ въ закрытой каретѣ—черезъ улицу, въ гости къ пріятельницѣ, чтобы тоже посидѣть у тандура, благодѣтельнаго источника зимняго тепла и вмѣстѣ съ тѣмъ всѣхъ городскихъ сплетень. Константинопольцы живутъ, какъ видно, очень тѣснымъ кружкомъ: всѣ какъ-то все про всѣхъ знаютъ, и всѣ обо всѣхъ говорятъ, даже въ самыхъ интимныхъ подробностяхъ, съ такою увѣренностью, точно о самихъ себѣ. Я былъ въ обществѣ русскомъ, французскомъ, у двухъ итальянцевъ: всюду жаловались на непомѣрное сплетничество и лицемерную *gruderie* коренного константинопольскаго общества.

— Репутаціи здѣсь не стоятъ ни одного сантима—говорила мнѣ жена одного француза-коммерсанта, родомъ изъ Марселя.—Ихъ губятъ съ такою же легкостью, какъ убиваютъ хлопущою муху. Главное, что досадно: общество этихъ господъ съ Леванта—втайнѣ, можетъ быть, самое безнравственное общество въ Европѣ. Знаете, какъ англичане:

лицемѣрили, ханжили, возмущались нами, французами, нашимъ Парижемъ,—и вдругъ разоблаченія «Pall Mall'я», Оскаръ Чайльдъ и пр., и пр. Левантинка спокойно заводитъ себѣ трехъ-четырехъ «друзей дома», и всѣ это знаютъ, и прежде всѣхъ мужъ, но—пока соблюдаются внѣшнія приличія—никому до этого дѣла нѣтъ; она—почтеннѣйшая и добродѣтельнѣйшая женщина и можетъ развратничать, безъ потери репутаціи, сколько ей угодно, въ полное свое удовольствіе. Но вотъ, если она полюбитъ искренно не изъ одной блажи, тогда дѣло плохо: задумай она разойтись съ мужемъ,—ее зашвыряютъ камнями. Да что говорить о такихъ крайностяхъ! Мою сестру однажды—по просьбѣ ея же мужа—довезъ до дома изъ театра одинъ нашъ общій пріятель, немолодой уже человѣкъ... На другой день объ этомъ кричалъ весь коммерческій Константинополь, и у двухъ-трехъ тузовъ сестру перестали принимать, а мужа ея въ Галатѣ встрѣтили ироническими взглядами и подлѣйшими намеками. А какъ глупо это общество, если бы вы знали! О мужчинахъ скажу только, что они скучны: они ушли съ головою въ дѣла, въ денежную жадность, и выныриваютъ изъ своей золотой пучины лишь для того, чтобы, въ видѣ отдыха, наѣсться, напиться и купить себѣ въ жены или любовницы красивую женщину. Но эти женщины ихъ! Это—идiotки. Говорятъ, глаза—зеркало души. Вотъ вамъ прямое опроверженіе: левантинки. Краше ихъ глазъ не найти нигдѣ, а души у нихъ вовсе нѣтъ: у нихъ паръ, какъ у животныхъ. Вы замѣтите: у нихъ всегда, если не умное, то задумчивое, мечтательное выраженіе лица. Между тѣмъ, левантинка никогда ни о чемъ не думаетъ, никогда ни о чемъ не мечтаетъ. Лакомка, обжора, самка, щеголиха и сплетница—вотъ ея составные элементы. Спросите левантинку объ ея дѣтяхъ, она затруднится вамъ отвѣтить, какъ идетъ ихъ ростъ, ихъ здоровье, ихъ воспитаніе. Зато—скандальную хронику всего города, и въ особенности по-сольствъ и иностранныхъ семей изучила наизусть и мно-

гое сама присочиняетъ. И очень зло, очень подло и искусно—смѣю васъ увѣрить... А хороши онѣ... кто же спорить? хороши собою, какъ ангелы...



КОРФУ.

I.

Я попалъ на Корфу случайно — совершенно по тому же маршруту и рецепту, какъ, три тысячи лѣтъ тому назадъ, попалъ сюда же злополучный Одиссей, приблизительно по тѣмъ же причинамъ и, вѣроятно, въ одинаковой съ нимъ степени нравственнаго удрученія и физическаго разстройства.

Въ гимназіи, гдѣ я имѣлъ удовольствіе нѣкогда обучаться, былъ сторожъ — по имени Шенкевичъ. Онъ дружилъ съ гимназистами и, будучи человѣкомъ весьма любознательнымъ, обожалъ тѣхъ, кто не лѣнился пересказать ему, что интереснаго было въ классѣ. Преимущественно же интересовался онъ Гомеромъ, а въ Гомерѣ быстроногимъ — увы! Шенкевичъ упорно звалъ его долговязымъ! — Ахиллесомъ и хитроумнымъ Одиссеемъ. Юношескій возрастъ жалости не знаетъ, уваженія къ любознательности въ немъ тоже немного. Классическія пристрастія сторожа гимназисты обратили въ посмѣшище. Одинъ изъ моихъ товарищей Н. П. — большой комическій талантъ, изъ котораго впоследствии, сверхъ всѣхъ ожиданій, вышелъ не второй Андреевъ-Бурлакъ, но весьма серьезный и солидный врачъ — вздумалъ рассказывать Шенкевичу Одиссею приблизительно въ томъ духѣ и на томъ quasi-народномъ языкѣ, какъ покойный И. Ѳ. Горбуновъ рассказывалъ о всемірномъ потопѣ и столпотвореніи вавилонскомъ. Вы, конечно, слышали, какъ становой ѣхалъ съ колокольчикомъ

на мертвое тѣло Авеля, а исправникъ, съ колокольчикомъ же, обгонялъ его, спѣша на усмиреніе смѣсившихся языковъ.

— Динь-динь-динь!

— Что такое?

— Становой ѣдетъ.

— Что случилось?

— Каинъ Авеля убилъ.

— Хоронись въ ковчегъ, робята, а то въ понятые позовутъ!

— Динь-динь-динь!

— Что такое?

— Исправникъ ѣдетъ.

— Пошто ѣдетъ?

— Языки смѣсились!

— Кто смѣсилъ?

— Хамъ!

— Позвать его, с... с...!

Ну, такъ вотъ въ этомъ-же родѣ П....ъ передалъ Шенкевичу страданія, вынесенныя Одиссеемъ за то, что спутники его «сѣли быковъ Геліоса, надъ нами ходящаго бога». Можетъ-быть, теперь оно и не показалось бы смѣшно, но тогда, по юности лѣтъ нашихъ, мы хохотали до слезъ, слушая, какъ П....ъ, съ невозмутимою, до мрачности даже доходящею серьезностью, повѣствовать:

«Выпили, закусили.... и взыскался вокругъ себя Одиссей.

— А гдѣ же, госпожа Цирцея, теперича къ примѣру будутъ мои товарищи?

— А товарищей вашихъ, господинъ Одиссей, я загнала въ хлѣвъ, за дурную ихнюю поведенцію.

— Однако—фунтъ! Всеё-то капральство?!

— И оченно просто, потому какъ они въ дому набезобразили и вопче, не къ чести вашей сказать, довольно даже простонародные свиньи.

Одиссей, какъ будучи человѣкъ военный,—въ обиду:

— Ахъ, говорить, мадамъ! такой вы изъ себя розанчикъ, и столь жестокия ваши слова! Совсѣмъ занапрасно вы такъ много неглиже съ христолюбивымъ воинствомъ! А что надѣлали вамъ шкандалу, на томъ извините: народъ артельный, время праздничное—Успленья матушка....»

Грѣхъ Одиссеевыхъ спутниковъ, что съѣли они быковъ Геліоса, надъ нами ходящаго бога, въ пересказѣ П... а принялъ соотвѣтственную окраску:

— Сидитъ Одиссей, бештекъ съ горчицей кушаетъ, а въ календарь не глядитъ. Посмотрѣлъ въ календарь,--и взвылъ: анъ, на дворѣ-то пятница!

Разказъ объ Одиссеевомъ беззаконномъ мясоѣдѣ произвелъ странное впечатлѣніе. Шенкевичъ—солдатъ благочестивый и богомольный—сразу понизилъ свою прежнюю симпатію къ Одиссею процентовъ на пятьдесятъ. Мы рассказывали, какъ страдалъ горемычный царь Итаки отъ одноглазаго Полифема, отъ дьяволоподобныхъ Лестригоновъ, отъ лающей Сциллы, отъ чаръ хитрой Цирцеи, а упрямый стражъ нашихъ шинелей, ничуть не умиляясь, знай—твердилъ одно:

— И нишѣ ему! подѣломъ! не жри, нехристь, мясаща по пятницамъ!

Этотъ Шенкевичъ съ «мясищемъ по пятницамъ» воскресъ въ моемъ воображеніи, когда я высадился на берегъ Корфу—такимъ же разбитымъ и измученнымъ, какъ герой Одиссеи; обоихъ насъ истрепало о скалы и подводные камни сердитое море. За что разсвирѣпѣлъ на меня Посейдонъ, не знаю; какъ говорить Гейне: «я ни одного камня не разрушилъ на стѣнахъ священной Трои, ни одного волоска не спалилъ на глазу Полифема, Посейдону любезнаго сына». Тѣмъ не менѣе коварный богъ голубой стихіи напалъ на меня на купаньи въ водахъ Патраса съ такою злобною силою, что Паллада-Аѣина, ископная покровительница пляющихъ по свѣту писателей-туристовъ, вытащила меня на берегъ полуживымъ. Для этой благородной

цѣли богиня приняла видъ быкоподобнаго греческаго матроса, который, когда я очнулся,—первымъ дѣломъ ругательно меня изругалъ за неосторожность, а потомъ полуотвель, полуотнесъ въ ближайшій кабакъ отпаивать рицинатомъ. Это—вино, настоенное на смолахъ. Вы помните чудотворный бальзамъ, который варилъ Донъ-Кихоть въ качествѣ лѣкарства противъ самыхъ страшныхъ ранъ и противъ всѣхъ болѣзней? Помните и плачевныя послѣдствія волшебнаго бальзама для желудковъ достославнаго рыцаря и его вѣрнаго Санчо-Пансо? Ну, такъ я сильно подозреваю, что рициновое вино ведетъ свое происхождение по прямой линіи отъ стряпни Ламанскаго героя. О вкусѣ можете составить понятіе, накапавъ въ стаканъ лафита капель двадцать скипидара, капель десять керосина, съ прибавкою малой толики толченаго сургуча. Смѣшай, выпей и.... если доживешь до завтра, не повторяй опыта: не всегда можно искушать судьбу безнаказанно. Говорятъ, что рицинатъ превосходно сохраняется и отлично выносить самую дальнюю перевозку. Очень можетъ быть, но—вопросъ: зачѣмъ сохранять такое мѣсиво и кому куда надо его перевозить? Иностранцы пробуютъ рициновыя вина только ради *couleur locale* или по необходимости, но греки... виновать, они любятъ, чтобы ихъ звали эллинами—пьютъ и не нахвалятся. На здоровье!

Быкоподобная Паллада морского вѣдомства свезла меня на мерзѣйшій пароходъ «Scilla» мерзѣйшаго итальянскаго (сициліанскаго) общества Florio e Rubattino. Однако, надо было радоваться уже и тому, что попалъ только въ Сциллу, а не въ Харибду—въ родѣ парохода той же компаніи «Segesta», на которомъ тащился я однажды изъ Генуи въ Неаполь. И тѣсно, и грязно, и лампаднымъ масломъ воняетъ, кормятъ скверно, и вмѣсто вина какая-то гуща изъ сицилійскаго винограда, и пароходишко неустойчивый, треплетъ его море, какъ скорлупу. Путь отъ Патраса до Корфу весьма живописенъ, но «не требуй пѣсенъ отъ пѣвца, когда жи-

тейскія волненія», а морскія—тѣмъ паче: не жди описаній отъ туриста, когда по волѣ волнъ онъ чувствуетъ себя наполовину живымъ человѣкомъ, наполовину готовымъ къ сковородѣ бифштексомъ, уготованнымъ для пира людодовъ. За полночь началась качка: боковая, килевая и вселенская. Въ каютахъ вой, ругань и морская болѣзнь. Я отъ этой прелести избавленъ,—серьезно избавленъ, а не такъ; какъ увѣряетъ Джеромъ К. Джеромъ: будто—кто всѣхъ храбрѣе относится къ морской болѣзни на сушѣ, тому всѣхъ хуже приходится отъ нея на морѣ. Нѣтъ, я спокойно обѣдаю и пью вино, когда кругомъ никто не въ силахъ проглотить ничего кромѣ рюмки коньяку, куска лимона, сухого чернослива, когда среди пассажировъ повально разыгрываются траги-комическія сцены, въ родѣ пресловутаго морского суда, изъ «Путешествія въ Китай»:

— Votre nom?

— Anatole.

— Métier?

— Ma...la...de...

— Pendul

— Merci.... et, cher monsieur, plus vite, au nom du ciel!

Я помню генерала, который на Черномъ морѣ серьезно грозилъ капитану отдать его подъ судъ, «ежели вы, сударь, немедленно меня не высадите!»—и никакъ не хотѣлъ принять въ соображеніе, что до берега мало-мало пятьдесятъ узловъ, а времена Моисея, когда въ модѣ было пѣшествовать по морю, яко по суху, давно миновались.

И тогда я отлично питался, не испытывая даже головокруженія, и хохоталъ надъ болящими. Но, если качка не вліяетъ на меня, какъ средство внутреннее, дала она моимъ бокамъ знать себя въ эту ночь, какъ средство наружное. Если бы вы знали, что такое хорошая качка для избитаго по всему тѣлу человѣка! Безпомощно катаясь по довольно жесткому дивану каютъ-компаніи, я, право, на-

чиналь уже жалѣть, что не остался лежать хладнымъ трупомъ подъ скалами патрасскаго побережья.

Утро прекратило качку, и мы подошли къ Корффу по гладкому, сизому морю, подъ блистающимъ синимъ небомъ. Чудный островъ! Недаромъ Гомеръ помѣстилъ на немъ блаженныхъ феаковъ и—на передышку отъ вселенскаго горемыканья — загналъ сюда Одиссея сидѣть у очага царя Алкиноя, слушать пѣсни вѣщаго Демодока и цѣловаться по угламъ съ прекрасною Навзикаей.

По Гомеру, Навзикая была прекрасная царевна и хорошая прачка—два качества, врядъ ли соединимыя въ нашъ вѣкъ. Преемницы Навзикаи въ современномъ потомствѣ, къ сожалѣнію, сохранили гораздо больше признаковъ второго ея качества, чѣмъ перваго. Ужъ куда неизящны! Некрасивы, коротки, какъ обрубки, съ квадратными таліями и вульгарными лицами. Должно быть,—весьма вѣрныя супруги, хорошія матери и образцовыя хозяйки. Если таковы были и древнія феакійки, я Одиссею не завидую, а Гомеру удивляюсь. Видно, правда, что «и великій Гомеръ ошибался». Но врядъ ли. Есть прямое доказательство, что у стараго слѣпотаго поэта былъ тонко развитъ вкусъ на женскую красоту. Онъ провозгласилъ смиряннокъ самыми прекрасными женщинами на свѣтѣ, и до сихъ поръ, бродя по набережной Смирны, только ахаетъ: такія великолѣпныя женскія лица встрѣчаются на каждомъ шагѣ. Значить, не Гомеръ лжетъ, а корфіотки выродились *).

Впрочемъ, здѣсь ли точно жили феакійки и феаки,—еще подлежитъ сомнѣнію. Римапъ въ своихъ изысканіяхъ объ Ионическихъ островахъ доказываетъ, что никакихъ феа-

*) Это только въ городѣ. Болѣе отъ патрасскихъ ушибовъ, въ 1894 году я не въ состояніи былъ дѣлать экскурсіи внутрь острова. Посѣтивъ Корффу вторично въ 1901 году, я изъѣздилъ его вдоль и поперекъ и беру обратно свои слова о красотѣ корфіотокъ: и мужское, и женское населеніе корфіотской деревни прекрасно. Попадаются очень часто божественные типы античныхъ статуй... (1903).

кійцевъ на Корфу не было, а были... вѣроятно, англичане,—съ лордомъ Алкиномъ, въ качествѣ губернатора. Я нахожу противъ этой теоріи лишь одно возраженіе: на островѣ имѣются какіе-то воображаемые «сады Алкиной», но нѣтъ ему памятника. Будь Алкиной англичаниномъ, ужъ торчалъ бы, въ честь его, какой-нибудь обелискъ. Англійскіе монументы покрываютъ всю эспланаду—огромный центральный скверъ города Корфу: сэръ Фредерикъ Адамъ (1823—1832) построилъ водопроводъ,—бронзовая статуя; сэръ Томасъ Майтландъ и сэръ Говардъ Дугласъ были просто англійскими комиссарами,—одному обелискъ, другому круглая бесѣдка въ стилѣ старинныхъ «Храмовъ Утѣхъ», «Пріютовъ уединеннаго воздыханія», «Эрмитажъ любви» и пр., и пр. изъ стараго помѣщичьяго сада блаженной памяти крѣпостной Россіи. Въ такихъ бесѣдкахъ объяснялись въ любви Лизамъ Лаврецкіе и, вслѣдъ за тѣмъ,—неравенъ часъ!—приказчикъ поролъ провинившагося поваренка, чтобы подальше отъ господъ,—не обезпокоилъ бы, паценокъ, барскія ушки своимъ крикомъ.

Неанглійскихъ памятниковъ — два: Капо д'Истріа, главѣ недолговѣчной автономіи Ионическихъ острововъ, и маршалу Шулембургу, который въ 1716 году отразилъ отъ Корфу несмѣтныя оттоманскія орды Ахмета III. Вся исторія Корфу занята тѣмъ, что кто-нибудь отражаетъ чьи-нибудь орды. Это началось еще за семь съ половиною вѣковъ до Христа, когда Корфу колонизовалъ коринѣянинъ Герсикратъ. Тогда островъ звался Дрепанонъ, или Спаріа. Сейчас онъ, для грековъ, Коркира, а Корфу—итальянское названіе, съ этимологіей такого происхожденія. Скалы, гдѣ возвышается мѣстная цитадель, называются Коруфѡ (Корюфо). Ихъ двѣ. Ъхать въ Корциру значило ѣхать къ Корюфамъ—εις Κоруφους (ейсъ Корюфусъ), откуда уже ясно сокращеніе Корфу. Наука словообразованія, опора сравнительнаго языковѣдѣнія, прекрасная наука. Съ ея помощью можно доказать, что угодно. Утверждалъ же

одинъ филологъ, что лисица, нѣмецкій Fuchs, происходитъ отъ греческаго алопексъ. — Отбрось а, — говорилъ онъ, — будетъ лопексъ; отбрось л, — опексъ; отбрось о, — выйдетъ пексъ. Пексъ — пиксъ — паксъ — пуксъ: вотъ вамъ и Fuchs!

Корфіоты дрались со всѣми государствами древней Европы, начиная съ своихъ старшихъ братьевъ — коринеянъ. Ихъ тянуло больше къ Италіи, чѣмъ къ Греціи. А въ римскихъ своихъ связяхъ они всегда во-время примыкали къ сильнѣйшей сторонѣ. Были, такъ сказать, австріяками древняго міра и, задолго до Меттерниха, удивляли все-ленную своею политическою непорядочностью. Держались за Помпея, но умѣли, когда онъ палъ, поклониться и Цезарю. Шли за Брутомъ и Кассіемъ, но, когда «послѣдніе римляне», при Филиппахъ, проткнули своими собственными мечами свои собственные животы, благополучно признали Октавія и Антонія. Поддерживали Антонія противъ Октавія, но... тутъ удача оставила корфіотовъ: этотъ побѣдитель, всегда спокойный, благоразумный и своевременный, не далъ имъ срока перемѣнить фронтъ, а нагрянулъ и произвелъ жестокую экзекуцію... Въ средніе вѣка мелькають на Корфу варвары, византійцы, крестоносцы, норманскіе герцоги — разбойники изъ Сициліи, Комнены, неаполитанцы. Въ 1386 году здѣсь водворились венеціанцы — истые создатели новаго Корфу и его культуры. Они построили неприступную цитадель и великолѣпную гавань, маяки, башни, церкви; насажали гарнизоновъ съ наемными удалцами — начальниками, полурыцарями, полубандитами; дрались съ турками, торговали, съ кѣмъ придется, и чѣмъ можно, то вырѣзали другихъ, то сами бывали перерѣзаны, поголовно вымирали отъ чумы и опять населяли островъ... Словомъ, общая исторія всѣхъ венеціанскихъ колоній. Послѣднею замѣчательной страницей въ исторіи Корфу является августовское сидѣнье 1814 года, когда французскій гарнизонъ съ невѣроятной храбростью боролся противъ гораздо сильнѣйшихъ численно войскъ англійской осады.

Климатъ и море Корфу, его ласкающее уединеніе излѣчили нервное разстройство и меланхолическій психозъ императрицы Елизаветы Австрійской. Здѣсь все дышетъ памятью ея пребыванія, — какъ въ Сорренто — памятью императрицы Маріи Александровны, супруги императора Александра II. Великолѣпная Strada Marina — лучшая изъ прогулокъ въ городѣ Корфу — переименована въ бульваръ императрицы Елизаветы.

Да! эта Strada Marina — въ самомъ дѣлѣ, лѣкарство отъ психическихъ недуговъ. Она успокаиваетъ и возвышаетъ душу. Придешь вечеромъ на безконечную, щеголеватую набережную, прильнешь къ периламъ, да ужъ и отрываться не хочется. До самаго горизонта — гладкое яхонтовое море; чуть морщить его, чуть всплескиваетъ у берега. Изъ-за дальняго острова медленно ползетъ огромный красный шаръ луны, точно только-что выкупанный въ крови. И, чѣмъ выше ползетъ онъ въ темно-синій хрусталь неба, тѣмъ нѣжнѣе и яснѣе становятся и самъ онъ, и озаренная имъ ночь; кровавые оттѣнки переходятъ въ золотые, золото — въ серебро; даль мерцаетъ фосфорическимъ туманомъ; просвѣтляется высь, просвѣтляется море... Золотой столбъ убѣгаетъ по водамъ въ голубой просторъ, — чѣмъ дальше, тѣмъ шире и ярче, — пока не исчезаетъ гдѣ-то на границѣ моря и воздуха въ раздольи серебрянаго блеска. Барки, парусныя лодки застыли на блестящихъ волнахъ черными пятнами. Ихъ даже не качаетъ, — теплое безвѣтріе; пѣсни съ нихъ слышатся... дрожать, трепещутъ въ воздухѣ... «О, Эллада, Эллада!.. *)»

Трепчатъ цикады. Уныло дудить удои. Протяжно кричатъ какія-то особенныя лягушки — странный звукъ,

*) Къ сожалѣнію, вся эта поэзія берега — въ прошломъ. Въ 1901 году я нашелъ городской берегъ въ Корфу въ мерзости запыленія, а море, загрязненное свалками, ужасно воняло. Смерть благодѣтельница острова, императрицы Елизаветы, дурно отозвалась на его благосостояніи. (1903).

схожій съ полицейскимъ свисткомъ, только *piano pianissimo*... Заведеть подводный городской свою тихую минорную трель и дрожить на ней добрую четверть часа, не переставая.

Пѣсенъ много—только не такихъ бы пѣсенъ сюда надо. Греки слишкомъ немзыкально гнутся; итальянцы здѣсь—все изъ интеллигенціи, тянутъ, слѣдовательно, «образованную» музыку: «*Cavalleria Rusticana*», «*Pescatori di perle*»... Хотѣлось бы—какъ въ Италіи: въ воздухѣ колеблется, какъ стрекотанье кузнечика, тремоло мандолины, ему глухо поддакиваютъ баски гитары, льется широкая народная кантилена тенора съ звучною и низкою второю баритона...

*Stanotte e bello lu mare,
Cantando e bel a vocare,
Vocando e bel a cantare...*

Все это, однако, лишь въ концѣ набережной, у предмѣстья Гарицы. Ближе къ городу—нарядная гуляющая толпа. Дамы — неизмѣнно въ черныхъ туалетахъ. Мужчины—точно только сейчасъ изъ магазина готового платья, гдѣ ихъ экипировали съ ногъ до головы по вѣнскимъ моделямъ. Много иностранцевъ — англичанъ и австріаковъ. Аристократія острова сплошь коммерческая. Если слышите славянскую рѣчь,—навѣрное, далматинецъ. Какъ большинство греческихъ городовъ, Корфу живетъ ночью, хотя днемъ въ немъ и нѣтъ такого каторжнаго пекла, какъ, напримѣръ, въ Аѣинахъ. Тридцать градусовъ жары въ Аѣинахъ невыносимы, въ Константинополѣ тяжелы, а въ Корфу ихъ мало замѣчаешь: море дышетъ со всѣхъ сторонъ. Все равно, что на Капри, гдѣ къ вечеру даже прохладно: подумываешь, не набросить ли пальто, а, тѣмъ временемъ, въ Неаполѣ, за три часа морского пути, при той же самой температурѣ, отъ удушающей жары чувствуешь себя гдѣ-то на границѣ между человѣкомъ въ аффектѣ «убійства по умоизступленію» и бѣшеною собакою.

Купаться на Корфу хорошо. Надо удивляться, что купанья Корфу не гремятъ по свѣту, какъ сравнительно недалекіе отъ него итальянскіе Римини, Лидо, Анціо, Віареджіо, Санъ-Ремо, Санта-Маргарита. Они такъ же хороши по качеству воды, какъ всѣ названные бадорты, но едва ли не лучше устроены. Кабины чистенькія, аккуратныя, съ простыми, но красивыми туалетными приборами; въ каждую проведена прѣсная вода, чтобы обмывать соль съ волосъ и лица послѣ купанья. Limite для неумѣющихъ плавать—на итальянскихъ купаньяхъ, обыкновенно, гнилая веревка, связывающая распатанные столбы — здѣсь представляетъ непроницаемую рѣшетку изъ желѣзныхъ прутьевъ, до самаго дна. Кто желаетъ непременно помѣряться съ морскимъ пространствомъ, долженъ перелѣзть черезъ эту преграду. Но, такъ какъ площадь, охватываемая limite, весьма значительна, то особенной надобности въ морскомъ просторѣ не ощущается. Тѣмъ болѣе, что плохой пловецъ можетъ испытать сильныя ощущенія и въ предѣлахъ limite. Уже прямо отъ берега глубина выше пояса; ступилъ нѣсколько шаговъ впередъ,—и «съ головкой»: не угодно ли плыть? Самыя удобныя купанья для того, чтобы выучиться плавать; захлебываться и барахтаться можешь, сколько угодно, а утонуть нельзя: и берегъ—только руку протянуть, и съ берега слѣдятъ сторожа въ купальныхъ костюмахъ, и лодочники въ легкихъ шлюпкахъ скользятъ вдоль limite. Женское купанье, говорятъ, обставлено еще большими удобствами. Совмѣстныхъ мужскихъ и женскихъ купаній, какъ въ Италіи,—здѣсь нѣтъ. Ихъ считаютъ на востокѣ верхомъ неприличія, почти безстыдствомъ. Однако, въ итальянскихъ бадортахъ я никогда не наблюдалъ неприличныхъ сценъ, а только было весело. Но даже и на цѣломудренныхъ началахъ раздѣленія половъ, корфійоты купаются не иначе, какъ въ полныхъ купальныхъ костюмахъ, т. е. въ глухихъ джерсѣ,—казалось бы и бесполезныхъ. Вода—теплая,

какъ парное молоко, голубая и прозрачная на огромную глубину, хотя и не доходить до хрустальной прозрачности водъ ни Капри, ни даже Каstellамаре. Есть, сравнительно съ послѣдними, и еще одинъ пробѣлъ: море окрестностей Везувія насыщается у береговъ обильными минеральными источниками вулканическаго происхожденія—чаще всего сѣрными. Здѣсь—только горько-соленая вода.. Зато какая вода! Жаль вылѣзть изъ нея. Англичане купаются здѣсь почти круглый годъ: температура водъ очень рѣдко падаетъ ниже 15° *). Корфіоты, въ лѣтнее время, только что не живутъ въ морѣ: купаются даже по солнечномъ закатѣ, при свѣтѣ луны, когда итальянца вы силою не затащите въ воду. «Ночью купаются только ревматика, женщины и дѣти», говорятъ мужики на неаполитанскомъ побережьѣ. А здѣсь, пользуясь сумракомъ, дѣти дѣвушки, подростки прямо съ набережной лѣзутъ въ море и полощутся между подводныхъ камней... Хохоть, визгъ бултыханья воды... Превесело!

1894.

*) Вода, попрежнему, удивительная, но самое stabilimento страшно одряхлѣло и стало неряшливо. (1903).

II.

Ахиллейонъ.

Лишь розы отцвѣтають,
Амврозіей дыша,
Въ Элизій улетаетъ
Ихъ легкая душа.
И тамъ, гдѣ волны сонны
Забвеніе несутъ,
Ихъ тѣни благовонны
Надъ Летою цвѣтутъ...

Эти граціозные стихи великаго русскаго поэта сами собою возродились въ моей памяти, когда я очутился впервые, одинъ-одинешенекъ, въ паркѣ виллы Ахиллейонъ на островѣ Корфу. Нигдѣ никогда не испытывалъ я впечатлѣнія болѣе глубокой и прекрасной тишины. Поэтъ Щербина, въ чудесномъ стихотвореніи, описалъ Элладу мертвою красавицею, въ родѣ спящей царевны, въ гробу роскошной природы подъ кровомъ вѣчно синяго неба. Представленіе чудной, могучей и красивой жизни, обмершей въ ожиданіи, скоро ли сказочный царевичъ придетъ нарушить оковы смертнаго сна и воззвать красавицу на новое веселье и счастье, розлито по всей виллѣ. Именно—Элизій, населенный снами, грезами, тѣнями и сказками. Какъ будто — царство идей, а не предметовъ: тѣни отцвѣтшихъ розъ надъ сонными ручьями, несущими забвеніе.

Вилла Ахиллейонъ принадлежала австрійской императрицѣ Елизаветѣ, такъ трагически кончившей жизнь свою

подъ ножомъ убійцы. Въ чудныхъ и таинственныхъ садахъ Корфу она искала излѣченія отъ меланхоліи, жестоко ее удручавшей. Мрачное исканіе какого-то, именно, забвенія, потребность воды изъ Леты было характернымъ двигателемъ жизни этой женщины, съ сердцемъ, чувствительнымъ, какъ эолова арфа, полнымъ глубоко-поэтическихъ и, по большей части, страдательныхъ настроеній. Ихъ подсказывали императрицѣ и природный характеръ ея, и жизнь — на рѣдкость неудачно сложившаяся жизнь, съ вѣчными грозными тучами на горизонтѣ.

Если трагическая поэзія вернется къ идеѣ рока, управлявшей вдохновеніями древнихъ драматурговъ, то врядъ ли будущій Эсхиль или Софокль найдетъ для такой трагедіи сюжетъ болѣе подходящій, героя болѣе достойнаго, чѣмъ жизнь императора Франца-Іосифа и семьи его. Кроткій, умный, любимый, достойный счастья монархъ — въ семейномъ быту своемъ, безспорно, несчастнѣйшій изъ смертныхъ. Мечъ насильственной смерти простертъ надъ его домомъ, — ужасъ за ужасомъ смѣнялся въ его стѣнахъ. Въ исторіи Габсбурговъ было много кровавыхъ, грозныхъ страницъ насилія надъ подданными и надъ народами, которые не хотѣли быть ихъ подданными. Можно подумать, что слѣпая судьба, вспомнивъ страницы эти, стала, по закону возмездія, вымещать на императорѣ-потомкѣ грѣхи императоровъ-предковъ, не желая знать, что удары ея падаютъ на жертву неповинную.

Убійство, самоубійство, безуміе, неврастенія, физическая чахлость, всѣ бѣдствія вырожденія окружили императора Франца-Іосифа, въ частномъ быту его, злорадною, насмѣшливою толпою съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ нога его коснулась ступеней трона. Судьба послала ему долгую жизнь и царствованіе — и отравила каждую минуту ихъ! Ни одной розы безъ шиповъ, ни одного вѣнка безъ колючаго терна. Въ самую свѣтлую минуту жизни этотъ нравственный мученикъ не могъ радоваться иначе, какъ

сквозь слезы, потому что предшествующая минута, навѣрное, несла ему какое-нибудь тяжкое горе, а послѣдующая грозила новымъ разочарованіемъ. Пятьдесятъ лѣтъ «благополучнаго», какъ принято выражаться, царствованія!.. Бросить взглядъ въ глубину этого огромнаго срока,—что за тяжкій крестный путь представляется глазамъ! У католиковъ есть обрядъ особыхъ пилигримствъ по «кальваріямъ», когда богомольцы ходятъ отъ часовни къ часовнѣ, отъ креста къ кресту, сопровождая эти переходы воспоминаніями о страстяхъ Христовыхъ: вотъ гора моленія о чашѣ, вотъ римская преторія, гдѣ бичуютъ Христа, вотъ Голгоѳа... Въ прежнія времена богомольцы, въ соотвѣтствіи съ указаніями евангельскихъ событій, жестоко истязали плоть свою. Такою же нравственною кальваріей, переходомъ отъ горя къ горю, воистину «хожденіемъ по мукамъ» должна быть память злополучнаго монарха, когда онъ углубляется въ картины своего прошлаго. Человѣкъ добра и мира, онъ окруженъ потоками крови... и чьей крови!—самыхъ близкихъ, самыхъ дорогихъ ему людей. Разстрѣлянный Максимилианъ, безъ вѣсти пропавшій эрцгерцогъ Іоаннъ, самоубійца Рудольфъ, зарѣзанная злодѣемъ Елизавета... Какіе страшные житейскіе этапы!.. Безъ семьи, безъ прямого наслѣдника, подъ градомъ бѣдствій, престарѣлый императоръ доживаетъ свой вѣкъ одинокимъ сиротою... «О, если бы вѣрно взвѣшены были вопли мои, и вмѣстѣ съ ними положили на вѣсы страданіе мое! Оно, вѣрно, перетянуло бы песокъ морей!»

Бываютъ семьи, приближаясь къ которымъ человѣкъ вдругъ чувствуетъ нѣчто въ родѣ какъ бы нравственнаго удушья. Отчего?—необъяснимо.

Люди, казалось бы, прекрасные, честные, добрые, благожелательные, ласковые, но — тяжело съ ними! И имъ самимъ тяжело другъ съ другомъ. Чувствуется вліяніе чего-то зловѣщаго, запахъ какого-то тлѣнія...

точно незримо висить надъ семьею какая-то злая, непреодолимая сила — мойра древнихъ, и вотъ-вотъ рухнетъ всю тяжестью и раздавить. Отъ такихъ семей часто сторонятся даже несуетливые люди, какъ бы опасаясь заразиться отъ нихъ несчастьемъ...

„Вѣгу! бѣда надъ этимъ домомъ!
Вѣгу, да не погибну съ нимъ!“

Подобное настроеніе—частое, историческое повтореніе въ царственномъ домѣ Габсбурговъ, начиная еще съ Карла V. Но никогда не сказывалось оно въ такомъ яркомъ напряженіи, съ такой мучительною наглядностью, какъ при императорѣ Францѣ-Іосифѣ. Удрученность эту сознаетъ одинаково самъ онъ, народъ его, иностранцы, подъ нею изнываютъ ближайшіе члены его семьи. Всѣ они стараются по возможности уклоняться отъ близости къ великой власти, которой невольными участниками сдѣлало ихъ право рожденія. Отвращеніе къ высокому сану—характерная семейная черта дома Франца-Іосифа. Ею болѣлъ престолонаслѣдникъ Рудольфъ, много было ея въ императрицѣ Елизаветѣ, всего же ярче выразилась она въ эрцгерцогѣ Іоаннѣ, который отказался отъ рода и племени со всѣми правами, имъ принадлежащими, и превратился въ простого моряка Іогана Орта. Самъ Францъ-Іосифъ—скорѣе невольникъ престола, чѣмъ его обладатель; въ теченіе пятидесяти лѣтъ его царствованія, слухи о возможномъ его отреченіи возникали не менѣе пяти разъ и держались всегда съ упорствомъ, ясно доказательнымъ, что они возникали не безъ основаній. Императоръ оставался у власти, очевидно, не по собственному пристрастію къ ней, но по необходимости, не по волѣ, но противъ воли, по чувству долга общественнаго.

Въ бѣгствѣ отъ тяжелыхъ сновъ вѣнскаго дворца, Іоганъ Ортъ, невѣдомо куда, уплылъ въ далекое море. Рудольфъ ползалъ по альпійскимъ скаламъ, стрѣляя орловъ и соколовъ для своей орнитологической коллекціи,

а Елизавета заключилась въ чудеса Ахиллейона. Его сады, скалы, воды и небо спасли императрицу. Она уѣхала отсюда здоровою, но призраки ея болѣзни—кажется впечатлительному туристу—еще блуждаютъ по аллеямъ въ лунныя прозрачныя ночи, мучатся на скалахъ, облитые краснымъ заревомъ заката, рыдаютъ въ пѣсняхъ соловьевъ надъ цвѣтниками, опьяняющими воздухъ благоуханіемъ влюбленныхъ розъ.

Надъ этимъ міромъ грезъ господствуетъ храмъ, посвященный императрицею полубогу поэзіи XIX вѣка—тому, кто всѣхъ ярче передалъ въ своихъ «отравленныхъ» пѣсняхъ тайны любовнаго безумія: Генриху Гейне... Мраморный поэтъ спитъ между «кипарисами, резедою и лиліями», съ «одинокую слезкою» на щекѣ и ждетъ, онѣмѣлый, но все еще любящій и грезящій, когда рука любимой женщины «постучитъ въ крышку его гроба и возвѣститъ ему вѣчный день».

Монументъ купался въ розовыхъ отблескахъ вечерней зари, когда я, со своею дорожною спутницей, вторично прошелъ въ Ахиллейонъ проститься съ нимъ передъ отъѣздомъ съ Корфу.

— Здѣсь хорошо должно быть при лунѣ,—замѣтила моя дама.—На одной выставкѣ въ Вѣнѣ я видѣла картину, гдѣ этотъ памятникъ изображенъ при лунномъ свѣтѣ: очень красиво. Рядомъ была огромная картина—«Послѣдняя мысль Гейне»... Онъ, истомленный, умирающій, вытянулъ впередъ руки въ послѣдней агоніи, а къ нему со всѣхъ сторонъ летятъ женщины, которымъ онъ посвятилъ свою любовь и свои пѣсни... Эту картину художникъ написалъ подъ впечатлѣніемъ здѣшняго памятника и этой природы. А между тѣмъ,—развѣ это правда? Развѣ послѣднія мысли Гейне были о любви?

Я невольно улыбнулся. Мнѣ пришло на память знаменитое «Завѣщаніе нѣмецкаго поэта»:

„Ну, конецъ существованью!
Приступаю къ завѣщанью
И съ любовью готовъ
Надѣлать моихъ враговъ.
Этимъ людямъ, честнымъ, твердымъ,
Добродѣтельнымъ и гордымъ,
Я навѣки отдаю
Немощъ страшную мою:
И слюну, что давить глотку,
И въ спинномъ мозгу сухотку,
И конвульси, и злой,
Чисто-прусскій геморой!..“

Но вслухъ я, разумѣется, этихъ стиховъ не напомнилъ, а, напротивъ, разсердился на самого себя за свою совершенно русскую способность ввести комическую нотку въ самый патетическій концертъ. Русскіе какъ-то не умѣютъ отдаваться красивымъ впечатлѣніямъ цѣльно. У славянъ—изъ интеллигенціи—располовиненныя души. Если одна половина въ восторгѣ, другая скептически наблюдаетъ, критикуетъ и подтруниваетъ. Если одна половина души негодуетъ, другая—уже въ сомнѣніи: а, можетъ быть, негодовать не изъ-чего? И игра не стоитъ свѣтъ? Вѣчное раздвоеніе, изъ котораго, какъ прямой потомокъ, родится и наше принципиальное къ большинству «вопросовъ» равнодушіе...

— Какъ вамъ сказать?—возразилъ я, — Гейне такъ часто и охотно умиралъ въ своихъ стихахъ, что догадаться, когда онъ, въ этихъ разнообразныхъ смертяхъ, былъ правдивъ, довольно мудрено... Но здѣсь такъ хорошо, что хочется вѣрить вашему художнику и, вмѣстѣ съ нимъ, идеализировать поэта... Здѣсь все дышетъ любовью, вся жизнь проходитъ въ любви, и самая смерть должна поглощаться любовью... Это—какъ въ рыцарскихъ поэмахъ: человекъ любилъ до самой смерти и не замѣчалъ, когда кончалась любовь и начиналась смерть.

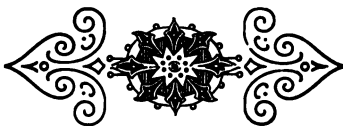
Императрица Елизавета обожала Гейне: едва ли не по ея инициативѣ былъ затѣянъ монументъ ему въ Дюссельдорфѣ, о которомъ возникло столько споровъ, надо ли его

ставить,—по крайней мѣрѣ, императрица выразила желаніе поддержать это дѣло и оказать ему щедрую помощь. На Корфу, въ уединеніи своемъ, она окружила память любимаго поэта почти религіознымъ культомъ. «Предъ нимъ курились еиміамы и воздвигались алтари». Едва ли сама императрица не была поэтессою. Въ настоящее время, въ царственныхъ домахъ Европы много членовъ отдаетъ свои досуги литературнымъ занятіямъ, таковы: К. Р., шведскій король Оскаръ, князь черногорскій Николай, Кармень Сильва, итальянская королева Маргарита. Ничего нѣтъ удивительнаго, если къ благородному увлеченію поэтическимъ творчествомъ была причастна и императрица Елизавета, столь склонная къ возвышеннымъ мыслямъ и мечтательному настроенію. Да на Корфу не только такая чуткая душа, а кто хотите, станеть поэтомъ! Вѣдь этотъ островъ—родина любви,—осколокъ миѳической золотой планеты любви, низринутой нѣкогда съ неба на землю!

Кстати, объ этой легендѣ корфіотовъ.

Докторъ, англичанинъ, который лѣчилъ меня на Корфу отъ патрасскихъ ушибовъ, состоявшій нѣкогда при особѣ императрицы Елизаветы, увѣрялъ меня, будто мѣстная сказка о золотой планетѣ, перешедшая въ народъ, плодъ поэтической фантазіи императрицы. Насколько справедливо это, не берусь рѣшать; въ свое время, я записалъ сказку и сдѣлалъ изъ нея фантастическій рассказъ *).

1898.



*) См. мой сборникъ *«Грезы и Тѣни»*, рассказъ «Золотая планета».

Приложенія.

Князь Фердинандъ Болгарекій.

(Изъ корреспонденцій 1894 и 1896 годовъ).

О король Александръ.

(Посмертная замѣтка).

Князь Фердинандъ Болгарскій.

(Изъ корреспонденцій 1894 и 1896 годовъ).

Я былъ свидѣтелемъ двухъ важныхъ политическихъ моментовъ, создавшихъ почти неожиданно новое русло въ теченіи современной болгарской исторіи: смутныхъ дней 1894 года, когда палъ Степанъ Стамбуловъ и рухнулъ упроченный имъ режимъ, и радостныхъ празднествъ 2 февраля 1896 года, когда воля Государя Императора Николая Александровича положила предѣлъ тягостному отчужденію Россіи и Болгаріи и, признавъ принца Фердинанда Кобургскаго законнымъ княземъ болгарскимъ, возстановила дипломатическія, торговыя и обще-культурныя отношенія между двумя славянскими государствами, прерванныя въ теченіе почти десяти лѣтъ.

Судьба позволила мнѣ быть первою ласточкою наступившей теперь весны. Восемь лѣтъ суровая бдительность Стамбулова заграждала русскому журналисту доступъ въ Болгарію. Восемь лѣтъ русское общество получало извѣстія объ этой злополучной странѣ изъ крайне сомнительныхъ третьихъ рукъ австро-германской печати, враждебной идеѣ славянскаго единенія, создавшей послѣдовательную систему оглашать ложные слухи, фальшивые документы, обманные характеристики и корреспонденціи, которыя, беспорядочно волнуя и болгарское, и русское общественное мнѣніе, разжигали все большее и большее недовольство съ обѣихъ сторонъ. Русскія газеты были запрещены Стамбуловымъ ко ввозу въ Болгарію, но его органъ «Свобода» усердно перепечатывалъ на своихъ страницахъ каждую безтактную выходку нашихъ шови-

нистовъ, которая могла бы послужить доказательствомъ, что русскіе—кровные враги болгарской независимости. Къ сожалѣнію, наша печать, въ огромномъ большинствѣ случаевъ, обращалась съ болгарскою прессою по тому же рецепту: подчеркивала голоса, враждебные Россіи, и совершенно замалчивала голоса, взывавшіе о мирѣ и согласіи.

Кромѣ австро-германской печати, органами посредничества между Россіей и Болгаріей за этотъ печальный періодъ были болгарскіе эмигранты, укрытые Россіею послѣ грознаго разгрома регентствомъ Стамбулова и К^о заговорщиковъ 9 августа—противъ князя Александра I Баттенберга, послѣ казней Паницы, Узунова, Панова, послѣ убійства Бельчева и лицемѣрнаго процесса по этому убійству, съ неправою казнью Миларова и его друзей въ финалѣ,—казнью, за которую именно и поплатился Степанъ Стамбуловъ своею буйною головою. Изъ русскихъ, въ стамбуловскую пору, посѣтили Болгарію два писателя *ring sang*: одинъ бывший дипломатъ, другой — корреспондентъ изъ крайнихъ шовинистовъ. Оба скользнули по Болгаріи мелькомъ и не съ цѣлью описать ея дѣйствительное положеніе, но въ намѣреніи попытать въ ней счастья со своими проектами политическаго упорядоченія болгаро-русскихъ отношеній. Наконецъ, писали кое-что немногочисленные русскіе политическіе эмигранты, пріютившіеся въ Болгаріи. Одинъ русскій государственный мужъ, въ Петербургѣ, имѣлъ полное основаніе сказать мнѣ, когда, передъ первою поѣздкою, я заѣхалъ къ нему съ прощальнымъ визитомъ:

— Главное, пишите свои корреспонденціи, какъ лѣтопись,—«добру и злу внимая равнодушно, не вѣдая ни жалости, ни гнѣва». Помните: мы такъ отвыкли отъ Болгаріи, такъ основательно сбились съ пути въ ея лабиринтѣ, что въ отношеніи болгарскаго вопроса можемъ по совѣсти признаться, какъ Фаустъ: «мы не знаемъ ничего, что точно стоило бы знанья».

Я никогда не занимался политикою и, равнодушный ко всѣмъ болгарскимъ партіямъ, не могъ удариться въ политиканство. Отъ меня требовали и ждали простого разсказа, кто изъ политическихъ дѣятелей что творить въ Болгаріи, требовали впечатлѣній совершенно объективныхъ, способныхъ явиться твердымъ и незаподозрѣннымъ матеріаломъ для сужденія по нимъ о чувствахъ болгарскаго народа и правительства. Эту задачу я и старался выполнить и, кажется, небезуспѣшно и небезполезно.

За эти строки меня могутъ упрекнуть въ нескромности. Пускай! Я купилъ себѣ право быть нескромнымъ дорогою цѣною: въ свое время я столько вытерпѣлъ за Болгарію брани и насмѣшекъ и отъ вѣнскихъ руссофобовъ, и отъ російскихъ шовинистовъ, отъ сознательныхъ и безсознательныхъ враговъ славянскаго единенія, что мое путешествіе, какъ говорится, мнѣ сокомъ вышло. Побѣдили однако мои, а не ихъ взгляды.

Во время празднествъ 2 февраля я имѣлъ удовольствіе встрѣчать въ княжескомъ конакѣ лицъ, которыя, еще за два дня, не знали для Фердинанда иныхъ титуловъ, какъ «узурпаторъ», «авантюристъ», «австрійскій поручикъ». Теперь они весьма почтительно именовали его «ваше царское высочество» и съ низкими поклонами принимали дарованные имъ ордена.

У насъ, русскихъ, есть одна очень дурная и вредная намъ національная черта. Когда мы ссоримся съ кѣмъ-нибудь, мы находимъ странное удовольствіе воображать своего непріятеля глупѣе, слабѣе, неловче, невѣжественнѣе, чѣмъ онъ есть на самомъ дѣлѣ. Этотъ способъ политическаго опошленія, устами стоголосой прессы, былъ примѣненъ и къ Фердинанду Кобургскому. Когда, впервые отъѣзжая въ Софію, я взялся за русскія газеты съ цѣлью выжать изъ нихъ хоть приблизительное понятіе: къ кому собственно я ѣду? что это за человѣкъ?—я пришелъ къ убѣжденію, что ни одна изъ русскихъ газетъ сама не имѣ-

еть ни малѣйшаго понятія о принцѣ Кобургскомъ (по эффектному полемическому титулу Каравелова—«князь части болгарскаго народа») и отдѣляется въ войнѣ противъ него смѣшками, шуточками, либо ругательными общими мѣстами. Я узналъ, что у Фердинанда—большой носъ, что Стамбуловъ «чуть не билъ его», что ему «поднесли гарбузь» сначала всѣ именитыя невѣсты Европы, что у него есть строгая и бойкая мамаша Клементина, что сидитъ онъ на болгарскомъ престолѣ едва ли не исключительно по заказу и для удовольствія политическихъ карикатуристовъ и газетныхъ передовиковъ; когда нѣтъ темы, то валяй съ принца Фердинанда! не съ чего, — такъ съ бубень! Больше ничего не узналъ. Однако, мнѣ стало странно, какими же колдовскими чарами этотъ смѣшной, ограниченный, трусливый, ненавистный народу поручикъ съ большимъ носомъ ухитряется сидѣть на незаконно занятомъ имъ тронѣ восемь лѣтъ сряду, на зло непризнанію его державами, нарушая конституцію, среди вѣчной борьбы политическихъ партій? Нѣтъ, тутъ что-то не такъ!

И уже въ Букурештѣ я убѣдился, что заподозрѣнное мною «не такъ»—дѣйствительно, совсѣмъ «не такъ».

— Не вѣрьте полемической болтовнѣ. Фердинандъ—человѣкъ чрезвычайно приличный и, вопреки юмористическимъ о немъ толкамъ, безспорно умный. Смѣшнымъ его дѣлаютъ фатовство и франтовство: камни, перстни, изнѣженные манеры. Но не надо забывать, что онъ еще молодъ, не уходился, что онъ страшно богатъ и воспитанъ въ австрійской арміи, гдѣ франтовство вообще развито больше, чѣмъ, напримѣръ, среди нашего офицерства. Тамъ все щегольки. Франтовство—его личная слабость, а не государственное дѣло, и драгоценные камни не мѣшаютъ ему быть сильнымъ политикомъ. Отставку Стамбулова онъ провѣлъ такимъ ловкимъ и смѣлымъ ходомъ, *) что показаль

*) См. о томъ подробно мою книгу «Недавніе Люди», статья «Степанъ Стамбуловъ».

себя совсѣмъ въ новомъ свѣтѣ. Говорю вамъ: это—въ дипломатическихъ шахматахъ будущаго — очень недюжинный и внимательный игрокъ.

Такъ рекомендовалъ принца Кобургскаго вовсе не другъ и не поклонникъ его, а, напротивъ, человекъ, положительно отвергавшій возможность, чтобы когда-нибудь Европа признала Фердинанда болгарскимъ княземъ, сколько бы Стамбуловыхъ ни смѣнили онъ у премьерскаго портфеля. Правда, не ожидая для Фердинанда официального признанія, дипломатъ предполагалъ, что Кобурга не потревожатъ на болгарскомъ тронѣ, и, хотя непризнанный, онъ доцарствуетъ до самой смерти или до совершеннолѣтія своего престолонаслѣдника.

— И, пожалуй, лучше пусть царствуетъ онъ, чѣмъ искать новаго, заводя за-ново смуту избранія, конституціонныхъ компромиссовъ, создавая муку для Болгаріи и безконечный рядъ неловкихъ положеній для всѣхъ безъ исключенія державъ европейскаго концерта... Что за радость снова попятить страну на восемь лѣтъ назадъ къ междуправствію послѣ Баттенберга? Какъ ни разбирайте, Кобургъ утвержденъ уже въ Болгаріи—силою давности. Вотъ уже семь лѣтъ, какъ онъ себѣ живетъ да поживаетъ въ Софіи загадкою для всей Европы, непризнанный никѣмъ, кромѣ своихъ подданныхъ, а этими—съ грѣхомъ пополамъ. Семь лѣтъ! Послушайте, если вы поставите эту вотъ чернильницу на столъ и не тронете ее съ мѣста, то и она, предметъ бездушный, безвольный и недвижимый, должна оставить подъ собою глубокій слѣдъ. Такъ и Кобургъ, безспорно, уже углубился, вѣлся, какъ говорятъ, въ болгарскую жизнь. Въ Европѣ могутъ дѣлать видъ, будто Кобурга *нѣтъ*, но, если наступитъ такой моментъ, что его, дѣйствительно, не будетъ, и Европѣ придется возиться съ новыми болгарскими претендентами, тогда она должна будетъ убѣдиться, что Кобургъ *былъ*...

Недѣлю спустя послѣ этого разговора, г. Стоиловъ

представилъ меня князю Фердинанду на софійскомъ вокзалѣ желѣзной дороги, когда княгиня Марія-Луиза отправлялась въ Франценсбадъ. Она, какъ предполагаемая участница паденія Стамбулова, была тогда въ апогеѣ своей популярности. Проводы поэтому вышли очень торжественные. Тогда, на первомъ знакомствѣ, князь сказалъ мнѣ лишь нѣсколько любезныхъ словъ. Общій смыслъ ихъ былъ таковъ:

— Вы желали видѣть нашу страну; я удовлетворилъ ваше желаніе. Смотрите все, что вамъ угодно, и откровенно пишите все, что вы увидите.

Это было сказано уже на платформѣ вагона. Затѣмъ князь, провожавшій свою супругу до Цариброда (сербской границы), вошелъ въ вагонъ и поѣздъ тронулся... Раскланиваясь изъ окна вагона, князь замѣтно выдѣлилъ изъ общаго поклона придворной толпѣ—особый для меня, чѣмъ и надѣлалъ софійскимъ политиканамъ толковъ на цѣлый день. Здѣсь не укрывается отъ всеобщаго вниманія и наблюденія ни одна мелочь въ поведеніи officialнаго лица, все обсуждается, все принимается во вниманіе. Князь былъ особенно любезенъ съ корреспондентомъ русской газеты, даже самъ пожелалъ, чтобы корреспондентъ этотъ былъ ему представленъ,—значить, князь въ руссофильскомъ настроеніи ума и духа. А такъ какъ руссофильская партія тогда была въ Болгаріи наивліятельнѣйшею и наиоткровеннѣйшею, то, стало быть, «на нашей улицѣ праздникъ».

Прошла еще недѣля. Согласно личному обѣщанію князя и г. Стоилова, я получилъ аудіенцію во дворцѣ. Дворецъ, дороговизною и мнимой роскошью котораго такъ попрекали Баттенберга (даже Лавелз!), не великъ и только комфортабеленъ, не больше. Аристократическій вкусъ двухъ послѣдовательныхъ обитателей-хозяевъ дворца не позволилъ испортить зданіе чрезмѣрно кричащими заявленіями: «вотъ какъ мы богаты». Баттенбергъ этого не могъ сдѣлать по бѣдности, Кобургъ не захотѣлъ по здоровому смы-

слу. Однако—два года спустя—я нашелъ во дворцѣ большія перемѣны въ пользу его пышности и нарядности,—его бѣлая столовая, тронный залъ, красная приѣмная стали прямо великолѣпны. Княжескій дворецъ—передѣлка стараго конака турецкаго паши-намѣстника. Здѣсь же была и государственная тюрьма. Въ стѣнахъ той самой бѣлой столовой, гдѣ теперь лились такіа славянофильскія рѣчи, турецкіе палачи допрашивали и пытали болгарскаго патріота Василя Левскаго и отсюда повели его на убой.

Мнѣ пришлось обождать князя нѣсколько минутъ въ въ аванъ-залѣ, всецѣло посвященной памяти князя Александра Баттенберга: здѣсь его портретъ, сабля—подарокъ Царя-Освободителя, самарское знамя болгарскихъ дружинъ, ружья русско-турецкой и сербско-болгарской войны. Половина стѣны, у входныхъ дверей, занята огромнымъ и очень удачнымъ портретомъ Императора Александра II. Среди залы стеклянная витрина съ адресами отъ болгарскихъ городовъ, поднесенными князю Фердинанду по случаю его бракосочетанія съ княгиней Маріей-Луизой. Приглашеніе во дворецъ было прислано мнѣ письмомъ на русскомъ языкѣ: обстоятельству этому мои софійскіе знакомые придавали весьма много значенія; можетъ быть, такъ оно и есть, не знаю,—я въ этикетѣ не знатокъ. Выжидая князя, мы, съ его флигель-адъютантомъ г. Стояновымъ, который именно и писалъ письмо, обсуждали, помнитъ ли онъ правила російской грамматики,—онъ въ своихъ познаніяхъ сомнѣвался, а я его утѣшалъ, что все въ русскомъ письмѣ обстоитъ благополучно, и есть въ Россіи русскіе, которые не только пишутъ хуже, но еще и печатаютъ писанное. На обѣдѣ, въ честь экзарха, 31 января, мы возобновили знакомство съ этимъ симпатичнымъ и на-диво красивымъ юношею и весело вспоминали наши первыя грамматическія совѣщанія.

Провели къ князю—въ не особенно обширный залъ, заставленный мебелью съ шелковой малиновой обивкою.

Князь Фердинандъ, въ бѣломъ кителѣ съ нѣсколькими орденами (простите: назвать ихъ не умѣю, ибо форменныя отлички, погоны, выпушки и петлички—не по моей части) и, дѣйствительно, какъ мнѣ его описывали раньше, со множествомъ дорогихъ перстней на холеныхъ рукахъ, показался изъ своего кабинета. Во второй прїѣздъ мой перстни уже исчезли. Доняли ли князя выходки на этотъ счетъ прессы, или онъ счелъ неудобнымъ сверкать камнями въ присутствіи столь важныхъ гостей, какъ русскіе и турецкіе послы, экзархъ Іосифъ, все болгарское духовенство etc.,—не знаю.

Манеры Фердинанда замѣчательно изящны и мягки—до вкрадчивости; маленькіе сѣрые глаза смотрятъ весело и «себѣ на умѣ»; интонаціи голоса, явственнаго, но не громкаго, спокойны и любезно-предупредительны. Въ пылу разговора, онъ не замѣчаетъ своей привычки жестикулировать лѣвой рукой и поминутно касаться платья собесѣдника. Носъ принца, такъ безбожно вытягиваемый европейскими и нашими карикатуристами, въ дѣйствительности—самый безобидный носъ, безъ особенныхъ преувеличеній со стороны матери-природы и ничуть не портитъ удлиненный овалъ лица. Князь очень занимается своею наружностью. Онъ слегка сутуловатъ. Но, пока молодъ, круглота спины и высокія плечи не мѣшаютъ ему, а скорѣе помогаютъ: даютъ осанистость и солидность не по лѣтамъ. Онъ держится очень прямо, часто откидывая голову назадъ; желая сказать что-нибудь, что вы должны хорошо запомнить, онъ долго смотритъ въ глаза собесѣднику улыбающимся, но пронизательнымъ и значительнымъ взглядомъ:

— Не переверн—дескать...

— Здравствуйте,—началь князь по-французски,—я очень радъ видѣть русскаго журналиста въ своемъ дворцѣ. Этого, къ сожалѣнію, давно не случалось. Вы довольны своимъ прїѣздомъ въ Софію и болгарскими впечатлѣніями?

— Очень доволенъ, ваше высочество; я не ожидалъ

встрѣтить такъ много порядка въ странѣ и такой радушный пріемъ повсюду.

— Вы, оказывается, мой ближайшій сосѣдъ, прервалъ князь; Стояновъ сказалъ мнѣ, что вы живете въ отелѣ Кобургъ (противъ дворца). Вы выбрали отель, названіе котораго не можетъ звучать пріятно для русскаго уха.

— Ваше высочество, будемъ надѣяться, что когда-нибудь этотъ звукъ станетъ болѣе для насъ пріятнымъ, — возразилъ я — какъ потомъ упрекали меня болгары, маленькой непреднамѣренною двусмысленностью; но князь принялъ эту фразу, какъ и намѣревался я ее произнести, въ смыслѣ самомъ благопріятномъ для него.

Въ послѣднее наше свиданіе послѣ 2 февраля, когда князь призвалъ меня къ себѣ, чтобы проститься онъ сказалъ, между прочимъ:

— Помните, какъ — два года назадъ — мы бесѣдовали съ вами, строя всякія теоретическія возможности выйти изъ тяжелаго напряженія, въ какое поставила Болгарію и Россію ихъ взаимная политика! Мы не предчувствовали, что жизнь разрѣшитъ этотъ вопросъ сама и гораздо скорѣе, чѣмъ можно было предполагать.

— Винавать, ваше царское высочество, — возразилъ я, — я позволю себѣ замѣтить, что уже тогда ждалъ для Болгаріи всего лучшаго. Можетъ быть, вы припомните, что на ваши слова, будто имя Кобургъ непріятно звучитъ для русскаго уха, я выразилъ надежду, что скоро звукъ этотъ станетъ для насъ болѣе отраднымъ...

Князь весело засмѣялся.

— Это истина! Это истина! — воскликнулъ онъ. — Я хорошо помню.

Возвращаясь къ первой аудіенціи 1894 г.

— Трудно исправить прошлое, очень трудно... — задумчиво произнесъ князь.

— Подождемъ будущихъ фактовъ, — сказалъ я.

— Какихъ фактовъ? — быстро переспросилъ князь,

настороживъ свое вниманіе. Надо замѣтить, что и болгары, и ихъ правительственные люди относились къ моей поѣздкѣ въ первое время довольно подозрительно: имъ не хотѣлось вѣрить, что я попалъ въ Софію только какъ журналистъ, — они все желали видѣть во мнѣ посланца офиціознаго, въ родѣ С. С. Татищева... Противъ этого много приходилось спорить.

— Я хочу сказать, что историческія ошибки не исправляются однимъ почеркомъ пера, и согласіе между двумя разрозненными государствами не возстановляется въ одинъ день.

— Да, — сказалъ князь, собирая кожу на лбу въ серьезные морщины, — я не отрицаю, что Россія имѣла много причинъ къ неудовольствію за минувшія восемь лѣтъ. Ее вызывали на ссоры, ее раздражали часто безъ всякаго повода, заводили раздоръ ради раздора. Я неоднократно говорилъ Стамбулову, что такъ нельзя, но мои слова не оказывали должнаго дѣйствія. Онъ былъ сильнѣе меня.

— Я не могу скрыть отъ вашего высочества, что отставка Стамбулова произвела въ русскомъ обществѣ отрадное впечатлѣніе.

— Русское общество имѣло право не любить Стамбулова, я это понимаю, — возразилъ князь. — Но за что оно всегда высказывалось противъ меня? Что я ему сдѣлалъ? Его оскорблялъ Стамбуловъ. Но развѣ Стамбуловъ — я, а я — Стамбуловъ? Про меня распространили слухъ, будто я лишь безсловесный исполнитель стамбуловскихъ намѣреній, и, однако, преслѣдовали меня съ большимъ ожесточеніемъ, чѣмъ Стамбулова. Меня гласно обзывали узурпаторомъ, авантюристомъ. Я не узурпаторъ: я сѣлъ на тронъ по призванію народной воли, провозглашенной великимъ народнымъ собраніемъ. Говорятъ: оно незаконное. Почему я обязанъ былъ вѣрить тѣмъ, кто это утверждаетъ? Почему законно собраніе, провозгласившее княземъ Баттенберга, и которое Баттенбергъ, однако, долженъ былъ сперва дважды

распустить, а потомъ нарушить, изъ-за его хаотичности, конституцію пресловутыми полномочіями 1881 г.? Признають ли меня, нѣтъ ли великія державы Европы, но Болгаріей я признанъ, и, такъ какъ болгарскій князь—не для великихъ державъ, а для Болгаріи, значить, я не узурпаторъ. Я происхожу отъ слишкомъ благородной родословной вѣтви, чтобы можно было называть меня авантюристомъ. Русское правительство и общественное мнѣніе не могутъ не сознавать всего этого: зачѣмъ же оскорблять меня и усиливать вражду словами, когда она и безъ того уже достаточно доказана фактами?

Все сказанное я привожу съ буквальной точностью.

Кстати о «благородной родословной вѣтви». Въ свое время надѣлала много шума легенда о происхожденіи князя Фердинанда отъ св. великой княгини Ольги. По изслѣдованію архимандрита Леонида, извѣстнаго археолога, великая княгиня Ольга была родомъ не изъ Пскова, какъ обычно думаютъ, но болгарка. У нея была пра-правнука, дочь Ярослава Мудраго, Анна Ярославна, которая вышла замужъ за Генриха I, короля французскаго. Отъ сего послѣдняго, по прямой линіи, происходитъ принцесса Климентина, мать князя Фердинанда... Такимъ образомъ, въ послѣднемъ соединяются русская, болгарская и французская кровь. Легенда достаточно нелѣпа, чтобы быть остроумною—и обратно. Болгары надъ нею хохотали. Самъ князь принялъ ее, какъ придворную шутку. По крайней мѣрѣ, когда онъ говоритъ объ изобрѣтенномъ для него новомъ происхожденіи по русско-болгарско-французской линіи, въ глазахъ его начинаютъ бѣгать весьма веселые огоньки, и уголки губъ складываются въ ироническую улыбку. Но ему очень хочется ослабить нѣсколько свое происхожденіе, и онъ охотно намекаетъ на принадлежность свою къ династіи Витинговъ, корень которой—славянскій...

— Вотъ что,—сказалъ князь Фердинандъ—позвольте мнѣ васъ предупредить: я желаю, чтобы нашъ разговоръ

не былъ interview, спеціально назначеннымъ для печати, во всей своей цѣлости. Я принялъ васъ не какъ журналиста *par excellence*, а какъ русскаго человѣка и писателя. Мнѣ хотѣлось бы говорить откровенно, чего я, разумѣется, не могу сдѣлать, разъ наша бесѣда обратится въ interview. Общія впечатлѣнія, общіе выводы, общія мнѣнія, взятые вами изъ разговора со мною—къ вашимъ услугамъ, но я желалъ бы, чтобы факты и нѣкоторые частныя указанія и замѣчанія, необходимыя для меня въ настоящей бесѣдѣ, остались бы между нами. Вы можете заявить, что видѣли меня и говорили о такихъ-то вопросахъ, можете указать общее направленіе моихъ мыслей, какъ вы ихъ поняли, но остальное—частный разговоръ, отнюдь не для печати. Я не буду въ претензіи, если вы будете рассказывать нашу бесѣду, но положительно противъ ея подробнаго оглашенія.

Въ свое время я сдержалъ обѣщаніе, но факты, которые были тогда тайною, давно уже стали общимъ достояніемъ. Все, что говорено было княземъ о паденіи Стамбулова, вошло въ позднѣйшую мою статью о послѣднемъ. (См. сборникъ «Недавніе Люди»).

Между прочимъ князь Фердинандъ говорилъ мнѣ:

— Увѣряють, будто я врагъ всего русскаго. Это неправда. Что я не могу сейчасъ питать особенно пылкихъ дружескихъ чувствъ къ странѣ, гдѣ меня ежеминутно оскорбляютъ и обзываютъ бранными именами, понятно; но я не врагъ Россіи. Наоборотъ. Меня къ ней влечетъ, тянетъ. Не знаю, какимъ предчувствіемъ меня всегда съ дѣтства тянуло ко всему славянскому. Я присутствовалъ, двадцатилѣтнимъ мальчикомъ, на коронаціи Государя Императора Александра III, и зрѣлище это глубоко залегло въ мою память, въ мою душу, какъ свидѣтельство величія и могущества Россіи. Судьба сдѣлала меня болгарскимъ княземъ... Вѣрьте: на болгарской почвѣ я сталъ болгаринимъ, и, какъ для всякаго болгарина, память Царя-Освободителя для меня священна, его завѣты ненарушимы. Моя малень-

кая страна—Болгарія для болгаръ—должна быть одинаково внѣ вражды и внѣ господствующаго вліянія внѣшнихъ силъ. Я одинаково хорошъ съ Вѣной, Берлиномъ, Лондономъ но они не оказываютъ на наши дѣла давленія, какъ не оказываетъ его и Петербургъ, съ которымъ мы вовсе не хороши. Сейчасъ въ Болгаріи нѣтъ русскаго вліянія, но вѣрьте—нѣтъ и ничего другого.

Въ 1896 году, когда всѣ наши не безъ удивленія повторяли руссофильскія и славянофильскія рѣчи князя Фердинанда, — однажды (послѣ обѣда въ честь экзарха) князь сдѣлалъ мнѣ знакъ подойти къ нему.

— Вы, который знаете меня два года, — сказалъ онъ, — находите ли вы, что я перемѣнился въ моихъ взглядахъ и желаніяхъ?

— Нѣтъ, ваше высочество: если слова—точное изображеніе мыслей, то вы и тогда думали такъ же, какъ и теперь.

— Неужели такъ трудно повѣрить въ искренность человѣка?—возразилъ онъ не безъ горечи, задумчиво глядя мнѣ въ глаза.

Я промолчалъ. Онъ, улыбаясь, продолжалъ:

— Радость моя пришла ко мнѣ немножко поздно, но, слава Богу, что она пришла!.. Кажется, я заслужилъ ее — ждалъ и терпѣлъ долго...

Послѣ паденія Стамбулова, которое было принято всею Европою за первый сигналъ къ признанію князя Фердинанда, много носились съ идеею, пущенною, кажется, капитаномъ Бендеровымъ: о переизбраніи князя. Личное самолюбіе не позволяло Фердинанду рѣшиться на эту мѣру, въ то время совершенно для него безопасную, потому что лѣтомъ 1894 года къ нему примкнули положительно всѣ партіи и фракціи партій политической Болгаріи, кромѣ стамбулистовъ.

Болгарскіе же государственные люди протестовали противъ переизбранія по такимъ мотивамъ:

— Какой видъ имѣло бы переизбраніе? Всѣ рѣшительно считаютъ Фердинанда законнымъ княземъ—и вдругъ, пожалуйста: начинайте снова провѣрку этой законности! Зачѣмъ? Потому что это угодно иностраннымъ державамъ. Избиратель широко откроетъ глаза: какое ему дѣло до иностранныхъ державъ? Онъ выбралъ своего князя, онъ знаетъ своего князя, а вѣдаться съ иностранными державами—уже дѣло князя и его правительства. Онъ избралъ князя для себя, а не для иностранныхъ державъ, и переизбирать его, съ исключительной цѣлью угодить послѣднимъ, оскорбительно не только для князя, но и для народнаго самолюбія ¹⁾). На эту мѣру указываютъ, какъ на шагъ къ признанію князя Фердинанда Россіей? Если бы такой шагъ оказался дѣйствительнымъ, можно бы рискнуть многимъ, конечно, но наши свѣдѣнія о Россіи и русскомъ правительствѣ темны, смутны; не имѣя никакихъ ясныхъ сношеній съ Петербургомъ, мы не можемъ и судить, чего тамъ хотятъ, или не хотятъ — опредѣленно. Дѣлать же такіе огромные шаги на рискъ — въ расчетъ: авось, угодимъ,—ужь слишкомъ безумно. Представьте себѣ, что... карта сорвется: Россія, все-таки, не признаетъ Фердинанда. Вѣдь мы станемъ посмѣшищемъ всего свѣта.

Вообще, вопросъ о признаніи, такой тревожный и горькій для Фердинанда, пока онъ смотрѣлъ изъ рукъ Стамбулова, значительно потерялъ для него свою остроту, когда паденіе диктатора-руссофоба открыло ему глаза на его новорожденную популярность. Въ сознаніи прочности занятой позиціи, онъ резюмировалъ мнѣ свои мнѣнія по этому вопросу очень опредѣленно и откровенно:

— Если внутренній порядокъ Болгаріи—надѣюсь, вы замѣтили, что онъ повсюду удовлетворителенъ—докажетъ иностраннымъ державамъ, что ея управляетъ не авантюристъ, а государь, облеченный законными правами, и,

¹⁾ Все, выше сказанное, говорилъ и самъ кн. Ф. (1903.)

убѣдившись въ этомъ, державы, и въ особенности Россія, захотятъ меня признать, я буду глубоко благодаренъ, искренно счастливъ, я приму актъ признанія съ низко склоненною головой. Но я не могу дѣлать новыхъ попытокъ, чтобы меня признали, и слухи, будто я дѣлалъ такія попытки послѣ паденія Стамбулова, невѣрны. Отказъ былъ бы для меня новымъ оскорбленіемъ, а я уже считаю за Европою достаточно и старыхъ. Признаніе меня Европою—вещь очень важная и желательная, но все-таки не настолько, чтобы ради нея становиться къ Европѣ какъ бы въ вассальныя отношенія; по трактатамъ, я вассалъ Турціи, но не Европы. Итакъ, все въ рукахъ Бога и будущаго. А мы будемъ терпѣть и ждать.

Пробило полдень: ровно часъ прошелъ незамѣтно. Князь всталъ и извинился:

— Простите, что я долженъ прервать нашъ разговоръ. Сегодня суббота, и, по заведенному порядку, въ полдень бываетъ торжественная смѣна дворцоваго караула... Если вамъ угодно взглянуть на эту церемонію, она должна оставить въ васъ пріятное впечатлѣніе: вы убѣдитесь, что наше войско сохранило ясные слѣды русскаго вліянія. Мы не мѣняли ни устава, ни пріемовъ, ни формы. Болгарскаго офицера трудно отличить отъ русскаго. Согласитесь, что это не похоже на руссофобство.

Я откланялся.

На прощанье принцъ Фердинандъ, крѣпко пожавъ мнѣ руку, еще разъ выразилъ свое удовольствіе видѣть у себя русскаго гражданина и журналиста.

— Не прощайте, а до свиданья,—заклучилъ онъ и вышелъ на балконъ. Навстрѣчу ему загремѣла музыка. Послышалась его негромкая команда... Интонаціи у Фердинанда и въ командѣ тѣ же, что въ бесѣдѣ: онъ то тянетъ рѣчь по слогамъ, то небрежно бросаетъ слово за словомъ тихимъ горловымъ баритономъ и чуть-чуть въ носъ...

Кобургъ недаромъ похвалился предстоящей церемо-

ней: она была выполнена съ большимъ эффектомъ; солдаты, а тѣмъ паче офицеры—живой сколокъ съ нашихъ—народъ ловкій, бравый и молодцоватый. Фердинандъ великій любитель всякихъ парадныхъ церемоній и завелъ у себя во дворцѣ строжайшій этикетъ. Боюсь, не проштрафился ли я противъ этого этикета рѣзкостью иныхъ своихъ вопросовъ, потому что въ концѣ разговора князь замѣтилъ мнѣ:

— Какъ видите, на ваши весьма откровенные и свободные вопросы я отвѣчалъ съ небольшою откровенностью...

Я извинился:

— Ваше высочество, вы, конечно, поймете необходимость, въ силу которой я позволилъ себѣ эту откровенность...

— Не извиняйтесь; я, напротивъ, очень радъ этому. Откровенно говорить случается рѣдко. А между тѣмъ только откровенностью выясняются обстоятельства.

Въ празднества 2-го февраля мнѣ случалось очень часто видѣть князя и много говорить съ нимъ, но самый характеръ торжествъ давалъ въ этихъ бесѣдахъ меньше матеріала для передачи публикѣ, чѣмъ въ первый пріѣздъ. Князь былъ очень счастливъ совершившимся событіемъ, несмотря на семейный разладъ, какимъ отозвалось оно во дворцѣ. Волновался князь чрезвычайно. Не избалованный русскимъ вниманіемъ, онъ все опасался, все пыталъ и приглядывался, насколько искренни тѣ добрыя чувства, какія привезли ему теперь русскіе люди, а русскіе люди отвѣчали тѣмъ же—князю.

Когда на обѣдѣ въ честь пословъ, гр. Голенищевъ-Кутузовъ провозгласилъ тостъ не за князя Фердинанда, но за престолонаслѣдника, Бориса, князь замѣтно смутился, совершенно забывъ, что тостъ за него былъ уже провозглашенъ турецкимъ посломъ, и что, послѣ княжескаго тоста за Государя Императора, графу Голенищеву-Кутузову слѣдовало именно отвѣчать тостомъ за крестника Его Величества—князя Бориса Турновскаго.

Видѣлъ я князя и воиномъ, и дипломатомъ, и на трибунѣ народнаго собранія, и во главѣ своей гвардіи, и среди православнаго духовенства, впервые посѣтившаго теперь его дворецъ: ужъ такая князю судьба, что какое-нибудь духовенство всегда держитъ въ опалѣ княжескую палату—сперва православное, теперь католическое. И нигдѣ онъ не ударилъ себя въ грязь лицомъ. На завтракъ, данномъ въ честь представителей русской печати, онъ сказалъ блестящую рѣчь о значеніи печати, новой «великой державы» въ наше время.

— Вѣрю въ ваше безпристрастіе, господа!—заявилъ онъ между прочимъ.—Когда вы разъѣдетесь и будете описывать событія, коихъ были свидѣтелями, вы не забудете указать и ту силу, которая двигала этими событіями и опочила на нихъ; это—славянскій духъ, всевыносящій, объединяющій народы, славянскій духъ, быть служителемъ котораго давно уже поставилъ я своею цѣлью...

Однажды, въ разговорѣ, я поздравилъ князя съ счастливою перемѣною въ народномъ образованіи: русскій языкъ, исключенный изъ программы среднихъ учебныхъ заведеній при Стамбуловѣ, восстановленъ въ своихъ правахъ обязательнаго предмета г. Величковымъ.

— Знаете ли вы,—возразилъ мнѣ князь, улыбаясь,—что я учился русскому языку прежде, чѣмъ болгарскому?

По-болгарски князь говоритъ блестяще,—всѣ болгары даютъ ему въ этомъ отношеніи самыя лестныя аттестаціи. Природный языкъ высокопоставленныхъ лицъ, какъ удачно выразился какой-то романистъ, не языкъ той страны, гдѣ они рождаются, но французскій языкъ... и, надо сознаться, мнѣ не случалось слышать болѣе красивой, и изящно-разговорной, и литературно-правильной вмѣстѣ, французской рѣчи, чѣмъ рѣчь князя Фердинанда.

— Какой я нѣмецъ? Почему я австріецъ?—вырвалось у него въ одномъ разговорѣ со мною во время перваго пріѣзда.—Если ужъ опредѣлять мою національность, то я

скорѣе всего французъ—и по крови, и по воспитанію, и по симпатіямъ, и по образу жизни...

Князь понимаетъ по-русски очень хорошо, говорить же неохотно, вѣроятно, стѣсняясь произношенія; въ Болгаріи у него не было до сихъ поръ практики для русскаго языка. Но иногда онъ вставляетъ русскія фразы—короткія, разговорныя... Въ помянутой уже выше бесѣдѣ послѣ обѣда экзарха князь, между прочимъ, замѣтилъ:

— Вы присутствуете при историческомъ событіи. Надъ Болгаріей всходитъ, наконецъ, солнце. Впереди еще много темныхъ тучъ, но я твердо уповаю: главное сдѣлано,—и онъ мало-по-малу разсѣется. Я вѣрю въ будущее: оно должно устроиться къ лучшему...

— Ваше высочество, — сказалъ я, — у насъ, русскихъ, на такой случай есть словечко «образуется».

На мою шутку, князь сперва серьезно взглянулъ—по обычаю своему—мнѣ въ глаза, ища въ памяти перевода незнакомому слову... потомъ сообразилъ и расхохотался:

— Ah! c'est le mot, je le comprends... «Nitchevo! nitchevo!» — закончилъ онъ, напоминая мнѣ старое бисмарково слово, подаль мнѣ руку и отошелъ къ экзарху.



О королѣ Александрѣ.

(Посмертная замѣтка).

Покойнаго Александра, сербскаго короля, многіе считали коварнымъ и преднамѣреннымъ политическимъ обманщикомъ, подобнымъ отцу его, Милану. Я не сказалъ бы о немъ этого, хотя—въ разговорѣ при аудіенціи, которую онъ далъ мнѣ въ апрѣлѣ 1901 года, онъ изложилъ мнѣ, съ самымъ искреннимъ и даже восторженнымъ видомъ, множество хорошихъ идей и плановъ о тогдашней конституціи, только что данной, а между тѣмъ оказалось въ послѣдствіи, что конституцію свою онъ ненавидѣлъ и круто отмѣнилъ ее при первой возможности. За это, конечно, онъ и погибъ. Я думаю, что этотъ человѣкъ,—къ тому же очень молодой, —получивъ очень малое образованіе, самое безпорядочное воспитаніе, не обладая большими умственными способностями, вѣчно мучась политическими и домашними интригами,—болѣлъ зыбкостью мысли, при полномъ отсутствіи характера. Увлекаясь чѣмъ-либо, *въ ту данную минуту увлеченія*, онъ говорилъ и поступалъ вполне искренно. Но нельзя было положиться на прочность его симпатій и антипатій, а, слѣдовательно, и словъ, и намѣреній. Онъ говорилъ со мною, какъ твердо убѣжденный конституціоналистъ, но это не самъ онъ говорилъ, а говорили его устами: Павле Маринковичъ, подъ чьимъ вліяніемъ онъ тогда находился, др. Миша Вуичъ и, отчасти, г. Чарыковъ. Когда измѣнились вліянія, Александръ съ такою же легкостью объявилъ войну конституціи, съ какою раньше провозгласилъ ее. Полный упрямства и капризовъ въ личной жизни,

Александръ въ вопросахъ государственныхъ былъ, да и остался бы впредь, вѣчною игрушкою временныхъ любимцевъ или удачниковъ, случайныхъ людей, и хотя, жениясь на Драгѣ, онъ обѣщалъ, что «сюрпризовъ въ Сербіи больше не будетъ», но, по неустойчивости подозрительнаго ума и капризной слабости характера, никакой иной политики, кромѣ «сюрпризной», вести онъ не могъ. Онъ удивительно легко разставался съ друзьями и приближалъ къ себѣ враговъ. Близорукость нравственная едва ли не превосходила въ немъ близорукость физическую. Два прочныя чувства, какія успѣлъ онъ обнаружить за свою короткую самостоятельную жизнь: привязанность къ королевѣ Драгѣ, устоявшая предъ самыми серьезными испытаніями (пресловутый скандалъ 1901 г.), и ненависть къ императору австрійскому, оскорбившему его отказомъ выдать прахъ Милана для погребенія на сербской землѣ. Оба чувства — на личной почвѣ. До человѣка государственнаго и монарха Александру оставалось расти еще цѣлыя десятилѣтія, и сомнительно, чтобы онъ доросъ...

Сербы въ королевствѣ удивлялись, когда я нашелъ, что король Александръ хорошо говорилъ, хотя и на очень вульгарномъ французскомъ языкѣ. Они увѣряли, что, по застѣнчивости, по вѣчно опающемуся за себя самолюбію, онъ и по-сербски-то дурно связываетъ слова. Сербы въ Петербургѣ, читая мое interview съ Александромъ не вѣрили, что онъ могъ говорить такъ складно и послѣдовательно въ теченіе сорока минутъ, и поддразнивали меня:

— Ей-Богу, это вы сами за него написали въ его духѣ.

Но я еще лишній разъ могу по чести и совѣсти подтвердить, что король говорилъ тогда не только связно и складно, но умно и хорошо. Конечно, онъ былъ не блестящій *causeur*, не вдохновенный ораторъ, какъ Фердинандъ Болгарскій, не поэтъ, какъ Николай Черногорскій. Охотно допускаю, что онъ лишь повторялъ заученные уроки Ма-

ринковича и Вуича, тѣмъ болѣе, что въ бесѣдахъ съ Маринковичемъ и Вуичемъ я слышалъ, дѣйствительно, не только тѣ же мысли, но и дословно тѣ же выраженія. Но заучилъ онъ уроки твердо и, «отвѣчая» ихъ, не запинаясь.

Несомнѣнною положительною чертою въ характерѣ короля Александра являлась его личная храбрость. Этотъ маленькій, черненькій, некрасивый мальчикъ, съ безпокойными глазами, много разъ доказалъ, что онъ уродился не робкаго десятка, въ мать, а не въ отца. Да и самая смерть его—смерть рыцаря, а не труса. Будь онъ трусомъ, покорись обстоятельствамъ, какъ покорился имъ Александръ Баттенбергскій,—остался бы живъ. Не знаю, какія мѣры къ охранѣ своей особы принималъ онъ въ послѣднее время, но въ 1901 г. конакъ почти не оберегался, и проникнуть въ покои короля было легче, чѣмъ въ иной аристократическій частный домъ. Отъ меня, когда я пріѣхалъ для аудіенціи, не потребовали даже пригласительнаго извѣщенія. Поджидая, пока позовутъ меня въ кабинетъ короля, я просидѣлъ въ пріемной — одинъ - одинешенекъ — минутъ двадцать, и не только кто-нибудь изъ дворцоваго караула, но хотя бы лакей прошелъ мимо или показался въ дверяхъ. Какъ опасно могъ бы распорядиться столь долгимъ временемъ какой-либо злоумышленникъ, само собою понятно... Король Александръ не боялся, жилъ безъ опаски. Изъ троихъ южно-славянскихъ монарховъ онъ былъ самый доступный. Близорукіе люди, по большей части, бываютъ или ужъ очень трусы, или безумно храбры. Король Александръ принадлежалъ ко второй категоріи. Къ ней же принадлежитъ другой, видный въ настоящее время славянскій дѣятель—нашъ консулъ въ Ускюбѣ Викторъ Федоровичъ Машковъ.

— Еще бы ему не быть храбрымъ!—сказалъ мнѣ о немъ одинъ врагъ его, болгаринъ.—Онъ не видитъ предъ собою и на десять шаговъ.

— Такъ что же?

— Ну, стало быть, и опасности не видитъ заранѣе, а узнаеть о ней, когда уже увязъ въ ней по уши, и трусить некогда, а надо нападать или защищаться.

«Слѣпая храбрость», такимъ образомъ, не совсѣмъ метафора.

1903.



lyh

Stanford University Libraries



3 6105 010 461 593

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
CECIL H. GREEN LIBRARY
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004
(415) 723-1493

All books may be recalled after 7 days

DATE DUE

--	--

